

PC
C 24
КРП 1381613



11/ 2007

Вологда



Глосса



№ 11/ 2007

Издается в Вологде с 1993 года, с 1996 - при содействии Союза российских писателей. Издание зарегистрировано в Тверской РИ, региональный № Т-0219.

Председатель ВО СРП Елена Волкова 72-31-84. Редактор-составитель Галина Щекина Galera50@gmail.com Телефон 75-24-63

Технический редактор – Наталья Бондяева.

Логотип Татьяны Шмелевой, рисунок свечи на титуле – Елены Даниловой

СОДЕРЖАНИЕ

Тема 11 номера: **«ПРИРОДА И Я»**

1. СОБЫТИЯ ГОДА2

2. ПРИРОДА И Я - стихи...5

Валерий Архипов. Вологда
 Александр Волин. Подмосковье
 Юрий Ганичев. Вологда
 Дмитрий Гасин. Вологда-Москва
 Александр Дудкин. Маза-Вологда
 Елена Карева. Тольятти
 Евгения Килиптари. Красный Сулин
 Ростовской обл
 Ольга Кузнецова. Вологда
 Мария Маркова. Кадуй-Вологда
 Андрей Нитченко. Ярославль
 Ник Парусник. Вологда
 Нина Лисарчик. Вологда
 Алла Райдль. Австрия-Москва
 Татьяна Ржанникова. Череповец
 Вологодской обл
 Александр Розанов. Бабаево-Вологда
 Денис Романенко. Вологда
 Елена Смиреникова. Вологда
 Ната Сучкова. Вологда-Москва
 Алексей Ткачев. Череповец Вологодской обл
 Дмитрий Туркин. Вологда
 Наталья Усанова. Вологда
 Александр Чеблоков. Вологда
 Антон Черный. Вологда
 Любовь Чиканова. Барнаул-Москва
 Галина Щекина. Вологда
 Иван Белецкий, Дмитрий Скляр. Москва



3. ПРИРОДА И Я – проза...50

Ирина Василькова. Москва
 Лара Галь. С.-Петербург
 Сергей Донец. Вологда
 Татьяна Калашникова. Канада
 Евгения Килиптари. Красный Сулин
 Ростовской обл
 Евгения Кузнецова. Бабаево Вологодской
 Михаил Зевеке. Городец Нижегородской обл
 Татьяна Масс. Лион, Франция
 Мария Сидорова. Мирный
 Юлия Сударева. Вологда
 Ирина Фещенко-Скворцова. Португалия
 Елизавета Чегодаева. Вологда-Москва
 Галина Щекина. Вологда

4. «ГЛЫБА И СОНЕЧКА» дискуссия...101

5. «ВГЛУБЬ» критика и эссе

Антон Черный о Тюрине. Вологда....112



СОБЫТИЯ ГОДА

фестиваль актуальной поэзии

В январе 2007 на Вологду обрушился фестиваль актуальной поэзии, организатор Даниил Файзов, группа «Культурная инициатива». Из афиши не очень было понятно, кто в какой день выступает. Поэтому пришлось идти в оба дня. Организация фестиваля: избыток поэтов на единицу населения, всего человек 20 на два дня, нестыковки во времени, игнорирование вологодских авторов, которых в программе не было. Если бы Дания Файзов советовался с кем-нибудь, ему бы подсказали эти нестыковки заранее. Файзов не советовался. Но можно сказать и так: здорово, что пришло много народу! А толку? Ведь невозможно же разглядеть никого отдельно, а именно за этим туда и шли! От Файзова требуется одно – навести шурму-бурум. И он это хорошо делает. Файзов говорит: «надотбеядолгомочитьпреждечемизтебячтотополучит ся». А если бы это сказали ему самому? Анна Русс: «Этот вологодский мальчик пол-Москвы поставил на уши».

Запомнился в первый день человечный Юрий Цветков, экстравагантная Анна Русс, эмоциональная Евгения Вежлян, ироничный Штыпель, глубокий Тонконогов. Очень четко вписались в московскую палитру вологодские Сучкова, Архипов и Малиновская. Половину слов нельзя было разобрать из-за пума и суеты. Архипов был просто без ума от Анны Русс и от Евгении Малиновской... А когда назвали Тонконогова, он просто рассвирипел. Но были и такие люди, которые откровенно скучали, уходили.

А второй день фестиваля, был почти сорван по вине областной библиотеки, но зато там была любопытная дискуссия... Как это можно договориться на 17 часов и потом всех позвать на 15 перед самым началом? Немыслимо. Те не менее.

Второй день был интереснее, состав боле женский и боле гармоничный. Поэтов не сразу изучила, несколько книжек ждут очереди. Напа Ната Сучкова выступала во 2 день, как всегда хорошо, лучше всех. Но что ее связывает с этой пестрой группой? Она сама не знает. Еще очень хороша Дарья Суховой из Питера, я ее в инете читала. Мне запомнились поэтессы из Питера, из Нижнего, здорово читали Мария Галина, Данила Давыдов и Дмитрий Кузьмин. Мальчик еще был такой тихий, странный, оказалось это Валерий Леденев, его даже в афише не было...

Говорила с человеком из оргкоманды – Малиновской. Файзов даже к ней притащил на жительство трех поэтов. Говорят, главной частью программы второго дня был пьяный Муравей (Сергей Рудаков) – много бы дала, чтобы никогда его не видеть и не слышать. Но Файзов показал свой выбор, ничего не попишешь. Вы не довольны, что вас не взяли в программу? Делайте свою программу и не зовите в нее Файзова. Так получается.

В дискуссии была попытка наладить обратную связь. Но народ сидел злой. Яша Авербух выкрикивал – «у вас что, фабрика звезд?» Он был неправ, все поэты были резко не похожи друг на друга, и правильно говорил Кузьмин про разные ветви литературы. Но даже попытки построить спор позитивны...

У Давыдова были неосторожные слова о том, что мы сами ничего не проводим. Откуда же ему знать? Я не так плохо отношусь в столичной поэзии в целом и потому пришла. И вот была «Открытая трибуна» у

Шайтанова. И вот тот самый Тимофеев проводил Дни поэзии. И клубы тоже есть. Но гостям это было неинтересно, они приехали себя подать и только... Они разговор-то заявили, но других не слушали. А если вам не надо – так не затевайтесь. Продажа книг был резко положительным моментом: хоть не понял, так дома прочтешь. Кучу денег потратила.

В целом этот фестиваль – явление, которое будоражит, я узнала много нового, даже Кузьмин который не вылезает из телевизора, был явлен мне как простой смертный, даже Давыдов поздоровался лично... Но слишком все переполнено и скомкано. Я предпочитаю другую форму – чтобы автор был один, чтобы в него можно было вслушаться и всмотреться, чтобы уважение было к таланту, а не явление ревущего табуна.

Галина Щекина

семнадцать лет спустя

Александр Закуренько, московский поэт и переводчик, совсем не изменился с 90-х годов. Ну, усы, борода, но лицо то же самое, улыбочное, лукавое. Случайно я столкнулась с ним на мероприятии Ирины Медведевой, летом 2006 была презентация очередного альманаха «Илья» в Чеховском центре... Пятеро студентов литинститута появились в Вологде в далеком 90-м, на пороге нашей квартиры, приехав выступать из Москвы. И что же? Их сразу отправили выступать в Кувшиново... А привел их ко мне не кто иной, как Владимир Андреев, местный композитор и бард. Вскоре удалось сделать небольшую встречу с лито ПЗ, тогда еще цеха и клуб не были закрыты, как на военном ящике... Они выступили, а в «Вологодском подлиннике» вышла целая полоса об этой встрече. Начальство над нынешним «Подлинником» показало бы мне, где раки зимуют, зайкнись я о чем-то подобном сегодня!

Готовясь к этой встрече, я читала на сайте «Топос» биографию Закуренько и удивлялась. Столько всего! Эмиграция, пестрая вереница работ и огромное количество сложнейших, ярких текстов. Я разрывалась между стихами и прозой: стихи привлекали меня обилием деталей, но не выпадающих вон, и только добавляющих пряного вкуса в напиток стиха, а в прозе пронзила меня большая и глубокая горечь. Особенно рассказ «Иринола»: любовь или смерть? – Скорее любовь, которая смерть, - сказал он. Еврей Цыплер, «неправильно» полюбивший проститутку Иринолу, не вынес чувства, которое его разло как кислота, изнутри. Умер, привалившись к дорожному столбику. «Когда все маленькие» - жуткая ангиутопия, которую можно понять иносказательно – человек мельчает так, что даже повеситься не может. Но поскольку, несмотря на увлекательность сюжетную, это писал все-таки поэт, лучший образ - в рассказе «Немая»... Красота до боли, до щемления сердца, совесть, которая не дает опомниться и дергает, все это не сбивает с интонации печали...

Сегодня он преподает литературу московским школьникам, и делает это так интересно, что дети выбирают филологические специальности.

Встреча с Закуренько происходила в Доме Самарина, народу пришло мало, да еще директриса Ольга Константиновна нервничала по поводу билетов. Я продала мало билетов, но голова ведь была забита другим – как поэту быть услышанным. Я читала его тексты и понимала, что публика не дотянется до



беседы. Поэтому публику и ее реакцию изображала я сама. Даже Лена Юпкова умница из умниц, присидела молча. Ведь она одна читала статью «Метафизика напряжения в творчестве Тарковского». Что ж! Александр Юрьевич нашел хороший выход – на фоне старинной утвари дома Самарина в сочельник Рождества он читал духовные стихи. Но Фаустов считает – самое интересное было не в них, а в том, как гость рассказывал о своей жизни, о том, как видел Бродского, как хоронил Тарковского... Вопросов была много, в том числе его хорошо потормошила Татьяна Сопина. Восторженные отзывы о встрече говорили потом Татьяна Царева, литератор из Саратова, Наталья Серова, экс-обозреватель по культуре, Ирина Вениаминовна Хрянина с кафедры журналистики, Иван Беляев, радиожурналист...

Встреча шла два с половиной часа, очень быстро все промелькнуло! А потом он ходил с Фаустовым по Вологде и снимал старые домишки. Все было так, как будто знаем мы сто лет, хотя виделись двадцать лет назад... Мне осталась красивая золотая книга духовных стихов под названием «Дар света невечернего» – христианская поэзия, пять поэтов и среди них Александр Закуренко. Ее я буду постепенно осваивать и поэтому не расстанусь с ним никогда.

театральное

В апрельском конкурсе театральных коллективов «Любимая Вологодчина» приняли участие 22 студии общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, более 650 детей участвовали в 24 постановках. На самодеятельной сцене были показаны произведения многих писателей-вологжан: Василия Белова, Ольги Фокиной, Татьяны Петуховой, Владимира Илюхова и других. По условиям конкурса коллективы выступали в двух номинациях: «Учебная работа» (короткие произведения, композиции, отрывки из спектаклей) и «Спектакль». Гран-при фестиваля завоевала школа № 30 (руководитель Л.А.Смирнова), показавшая музыкально-поэтическую композицию «В гости в Вологду» по стихам вологодских авторов. Среди спектаклей лауреатами стали постановка по пьесе Галины Шекшиной «Девочка Бася и король» театра-центра «Подросток» (руководитель В.Г.Шахов) и «Оранжевая звезда» по повести Владимира Арипина (студия «Острова» школы №13).

Красный Север

«ЗОВ МУЗ»

Начну пожалуй с того, что это мероприятие не должно было состояться. Родившись в моей амбициозной башке еще зимой, оно превратилось в три листочка А4 с заголовком «план-проект» и долго искало себе денег. Я непременно хотел приурочить его к какому-нибудь «словесному» празднику, и когда стал искать в Яндексе, когда отмечают День поэзии, с удивлением обнаружил, что это тот самый день, в который я писал план-проект. Так что рожден этот фестиваль был в День поэзии, а проведен в День славянской письменности. Перечислять всех, кто мне отказал в финансовой поддержке долго. Скажу лишь, что с каждым отказом становилось все обиднее за «никому ненужную русскую поэзию», и в конце концов я со вздохом

зادвинул «план-проект» в ящик стола, сел в уголок, заплакал и решил, что никакого фестиваля не будет. И тут... Мне звонит Елена Волкова: «У тебя, говорят, какой-то проект есть. Приходи. Дадим денег». Естественно, через 15 минут я уже сидел перед ней, зеленея от надежды.

Самое неудобное было в том, что пришлось все делать в четверг – таково было желание Департамента образования, который давал денег. Из-за этого неудобного дня половина запланированных гостей просто не приехала: у всех работа, учеба, семья, дела. Но был в этом обстоятельстве и плюс: цифра «оплата проезда иногородним» в бюджете заметно сократилась. Много денег улетело на мобильнике. Не имея городского аппарата, я вызванивал с родимой «Нокии» всех участников, вел всевозможные переговоры, уточнял, подгонял, увещевал... За четыре дня телефон скушал 500 рр. Самая главная каверза была с помещением. В самый последний момент, когда уже даже были напечатаны афиши, хозяин зала, с которым была договоренность, пошел на попятный. Картина маслом: в четверг все должно состояться, а в понедельник, за час до того, как расклейщик придет за афишами, я остаюсь без зала. В результате удалось найти другой зал. Афиши пришлось переделывать. Но я думаю, это еще один урок мне.

Ну, и, конечно, лучше всех был Кичкарев. Про это даже рассказывать невозможно – это надо видеть. Дудкин сидел настолько тихонько, что я чуть было не забыл его пригласить выступать. Его философские опысы про грибы многим запомнились. Много веселья доставила привезенная им девочка Ульяна Сотникова: такой неподдельный наив редко приходится видеть. Народ веселился от души. Неожиданностью стал Яша Авербух, которого мы буквально вытащили выступать: его знаменитые «Полуангел-полужверь» и «Конь украл цыгана» кое-кому доставили немало ностальгических переживаний по веселым временам конца 1990-х. Ната Сучкова, которую я давненько не слышал в живую, стала ИМХО гораздо интереснее, чем прежде. Особенно о Бутине и Печорине.

Танюша Ржанникова и без своего альтер-эго Блюхера смотрелась хорошо. Песни у нее что надо. Вообще же, мероприятие получилось разноплановое: авторы и сильные, и послабее, и поют, и читают. Но главное – это общение, консолидация творческих людей. Главное не то, кто талантливее, кто круче или кто в какой манере работает. Сверхзадача – цеховое общение литераторов.

Антон Черный

алуся райдль - писатель нового формата

Октябрь ошеломил вологжан встречей с новой литературной звездой – это Алуся Райдль с своим романом «БЛЮДО». Встречу организовали в Доме Пантелеева литераторы из Союза российских писателей – к членам этого союза относятся и сама Алуся. В Вологде писательница из Австрии не впервые, в прошлом году она опубликовала здесь свою первую остросюжетную повесть «МОНЕТКА». – остросюжетная вещь о судьбе русской эмигрантки, в которой угадываются некоторые черты автора. Героиня романа Серафима работает на перевербовке русских мозгов за рубеж, кое-где ей удаются финансовые хитрости, перепадают захватывающие приключения, но главная



сюжетная канва – конечно, любовная. Два разных человека, между которыми пропасть социальная и словарная, два бродяжких сердца вдруг оценили друг друга, это сама Серафима и криминальный авторитет Костян. Что здесь правда, что выдумка – автор умалчивает. "Сюжет захватывает, не оторваться" – прокомментировала Елена Юшкова, преподаватель гуманитарного университета. Поэт Валерий Архипов, говоря о "Монетке", отметил, что в женской литературе происходит настоящий бум, все дамы бросились писать, обнаружив в этом занятии большой энергетический резерв. Начиная же ее путь в литературу со стихов. Стихотворный сборник "Сантименты" отражает большой отрезок времени и поразительные изменения в манере письма. Если в первой части много сладкой романтики, то во второй резче драматические линии, много пейзажной лирики. Проступает ирония, характерна для самого автора. Третья книга «БЛЮДО».

В общем, и первая, и вторая героини Райдл очень сильные личности... Только героине второго романа повезло меньше: она работает в дорогом ресторане... тарелкой. Ее дело – лежать тихо, не дышать, пока богатая клиентура поедает деликатесы с ее тела. Унизительно? Да. Но и Девушка-Блюдо, пока лежит тихо, думает о своих клиентах все, что хочет... Сама писательница – ее полное имя Алла Валерьевна Булгакова-Райдль – родилась и выросла в Северодвинске, но судьбу и мужа нашла в Австрии. Работает в музее Бад-Ишля на реставрации старинных гобеленов, недавно окончила Литературный институт в Москве. Она хоть и красавица, но не из тех кисейных барышень, что ждут милостей судьбы. Сама пишет книги, сама их развозит по московским магазинам.

На встречах в Архангельске и Москве, которые прошли летом этого года с большим шумом, она держалась гордо и весело. Именно так, как подобает восходящей звезде. Статьи о ней вышли в обоих городах. Например в московском издании «На Чистых прудах» ее роман очень хвалит известный спортсмен Сергей Косоротов, познакомивший Аллу с тренером Путина А. Рахлиным. Интервью, выступления на радио – все это признаки славы... А работы впереди еще больше, чем позади...

Встреча в Вологде получилась очень дружеской, не натянутой. Многие уже прочли «Блюдо» в рукописи и задавали каверзные вопросы. Алла все время путила, вспоминала, как начиналась повесть, как она изучала в разных странах работу девушек-блюд, как пришлось побегать по издательствам, делилась новыми замыслами. Оказывается, она уже написала третью книжку: для детей... Если кто-то проворонил встречу, но интересуется крутым чтением, может заглянуть в магазин «Отрада». Там всегда есть что-то новое и модное... Особенно после визита Алуси Райдль. В ее планах – встречи с читателями Кадуя и Череповца.

Галина Щекина

ярославский рывок

Недавно в Ярославле прошел поэтический фестиваль всех стилей и направлений «LOGОрифмы». Сразу признаюсь я – лицо заинтересованное поскольку сама пишу и поэзию люблю. На фестиваль я ездила в составе вологодской группы из девяти человек. Руководил группой Антон Черный – поэт, журналист и просто хороший человек. Оттого, что хорошие люди спать любят долго, я чуть не опоздала на поезд. Мой билет был у Антона и я нервно прыгала по платформе, доказывая проводнице, что еще не все потеряно – «тетенька, опустите ступеньки обратно!» – и мой билет вот-вот подбежит. Антон успел вовремя и мы присоединились к остальным. Добрались мы весело. Поэты, даже трезвые, весьма веселые люди. В Ярославле мы сели на маленький автобус и отправились напрямиком в ДК «Нефтяник», но на сцену мы решили выйти одним блоком и по два человека. Это было необычно и произвело свой эффект. Но публики было мало, может вследствие плохой рекламы. В зале было холодно, и господа поэты пускали коньяк по кругу. Многие слишком тихо читали. Но встретили нас очень хорошо. Комплексные обеды и койкоместо в квартире ведущей фестиваля нам обеспечили. Из тех, кто произвел на меня наибольшее впечатление, был Андрей Нитченко, поэт из Сыктывкара, лауреат «Дебюта» и «Ильи-премии», ныне бедный ярославский аспирант. Удивительно скромный и талантливый, он выделялся на общем фоне мудрыми и размеренными, как сама жизнь, стихами. Андрей получил диплом первой степени за лирику. Диплом второй степени за лирические стихи достался Антону Черному, а я была уверена, что он станет лауреатом. Надо отдать должное ведущей фестиваля – Наде Кудричевой. Очень открытый, доброжелательный человек. Если бы не она, некоторые ночевали бы на вокзале.

Я не буду никого ругать, хотя было много откровенно плохих стихов и занудных поэтов. Сама я выступала в паре с Денисом Романенко. Из-за софитов зрительного зала не было видно и это несколько выбивало из колеи.

Удалось мне пообщаться и с двумя прекрасными ярославскими бардами – Андреем Дворкиным (он мне подписал свой диск) и Юлией Смуровой, которая с мужем в этом году стала лауреатом бардовского фестиваля «Гора» в Шексне. Там же она стала и королевой Ночи поэзии.

Мне понравился город. Я успела побывать в кремле и погуляла по набережной. Очень чистые пляжи, красивые и ухоженные парки. Через город протекают две реки – Которосль и Волга, поэтому создается впечатление простора, удачно вписанного в городской пейзаж. В нашу область, кроме диплома Черному, уехали еще два диплома: третьей степени за социальную поэзию дали Регине Соболевой из Вологды, а второй степени – Игорю Захарову из Череповца в номинации «эпическая поэзия».

В последнее время очень часто в СМИ поднимается тема нужности литературы, и поэзии в частности, в современной России. Нам выдается некий чистенький фасад – формат – за которым черная пустота, сквозняк. Все, что наделено неким смыслом, чаще всего умалчивается. А ведь поэзия, по словам известного московского поэта Дмитрия Воденникова, не может продвигать свой бренд, она существует вне рынка и являет собой неуловимо хрупкую, живую субстанцию. Не надо думать, господа поэты сомневающиеся и взыскательная пресыщенная публика, что поэзия – некий динозавр, чудом сохранившийся в наши дни. Я, как поэт, уверяю вас, что поэзия актуальна, как никогда, о чем свидетельствуют и многочисленные фестивали, проводящиеся на самых разных уровнях – фестиваль в Заозерье, «Гора», «LOGОрифмы», «Плюсовая поэзия», «М-8» и другие.

Мария Маркова



ПРИРОДА И Я. Стихи

В 2005-2006 гг. в Вологде проходил конкурс «Природа и я». В нем участвовали не только вологжане, но и авторы из самых разных уголков России. Тексты продолжают поступать до сих пор. В этом номере отобраны лучшие произведения участников.



Валерий Архипов (Вологда) КРИЧАЛИ ПТИЦЫ В РОЗОВОЙ ЗАРЕ

Ангел мой, ангел, и кровь голубая,
Сломленный ветром тростник.
Белый, пушистый - совсем не взлетая,
Выгнал из облака лик.

Белы пушистый - доверчивы строки,
Словно молебны летят.
Разве поэты уже не пророки?
Белые Пушкины, черные Блоки,
Мысли волшебной каскад.
Белый пушистый ты снег надо мною,
Господи, сколько добра!
Душу свою хоть на миг да открою
И упаду, оглушенный зарею,
Пулею из серебра.

Белый пушистый упал на крылечке,
Силы бы были поднять!
К утру погаснет заздравная свечка,
В полночь чтоб вспыхнуть опять

Какая она, словно выпавший снег,
Дождинка, упавшая капелька воска,
Как двадцать четыре часа до погоста,
С горы ледяной восхитительный бег

Какая она – не узнает чужой.
Лишь только поэту пристало разведать,
Какие нужны ей пиры да беседы.
Она в них иная, и я в них иной.

Вот и опять наступили в миру холода,
Шубу надену, чтоб скрыть роковую
Горбатость.

Белый мой ангел губами прошамкает «да»,
Будто бы вновь отправляет навеки в солдаты.
Белый мой ангел, ты кожи не трогай свои
И не пиши ни чернилами, ни акварелью
Бельми буквами в белую книгу любви
Белую память в альянсе с белесой метелью.

Я приклонюсь сейчас к твоим плечам
И, как оракул свадебный, завою.
Ты для меня - начало всех начал,
От вздоха колыбельного до боя.

И вот иду и думаю, и лгу,
А может, и не лгу, а по-другому
Я вижу мир, где ты на тонком льду,
И ты уже принадлежишь другому

Ах, эта вот поэтова любовь!
Воспрять от сна, в котором - шелк запястья
И гордый гнев прекрасного лица
Чарующей и дикой женской власти.

Пусть говорят, что я лукавый маг.
Все маги от рождения лукавы.
Но на губах моей любимой - мак,
И значит. эти губы не кровавы.

Они черны - нет, синие, как ночь,
Холодные, как утро перед казнью,
Влажны, грешны – они хотят помочь,
Ловя мой шарф, прошитый белый вязью.

Кричали птицы в розовой заре
И разрывали белый снег телами.
А я искал на проходном дворе
Одну их тех, которую не звали.

Мой белый ангел, крылья распахни,
Чтоб я тебя узнал из этой стаи.
Твои глаза горели, как огни,
На самой главной в жизни магистрали.

Мой бедный ангел, силы сохрани,
Пройди хоть мило, падая от боли.
Ты мне всю жизнь дарил цветные сны,
Крупницу счастья да кусочек воли.

Но наконец заботы позади.
Остался лет косматый перед нами.
Еще немного нам его пройти,
Слегка соприкасаясь головами.

Мой белый ангел, силы дай забыть!
Мой бедный ангел, силы дай забыться!
Живой воды из родника испить
И неживой водою мне умыться.



Она сегодня плачет от дождя,
А завтра, может, от косого шрама,
Которым напугает, проходя.
Шурша листвою, артист хмельной из драмы.

И некому ее остановить
И разделить обертку, что на теле.
А на душе - желание любить,
Стрелять валькирий и дрожать в метели.

Заглядывать в окошко, где луна
Щербатым блюдом успокоит раны.
А дальше - голос: «Друг, налей вина,
Любимая, подай-ка нам стакань».

Седобородый старец января,
Лингвист душевных ран необоримых
Мне говорил – смотри, опять заря
Сердца сжимает у твоих любимых.

А где мои любимые, бог мой,
В каких они причудливых пределах!
Одни, наверно, прячут паранджой
Горящее от вожделенья тело,

Другие пьют кипящее вино,
И ноги их так невозможно белы!
А кажется, что это все давно
Сгорело и погасло до предела.

Но все равно, в сиянье белых лун
Пока живу, имея вид, оснастку,
Одну тебя люблю, как жертву гунн
Или паяц, срывая с лика маску.

Вот снова дверь –
там заморожен опыт
Моих любовей, страхов и страстей.
Там звуки злы: то хлопанье, то рокот,
То пьяный танец от любви моей,
То страх державный по равнинной зоне,
По зорям достославным на дворе,
По злым оскалам псов на посторонних,
По смрадной белке, умершей в норе,
И по моей единственной, красивой,
С которой не сравнится и река.
Вздохнет за мной и содрогнется ива,
Пришедшая в мой мир наверняка.
Гуляем до утра, играем в платя,
Пьем пунш. Иной нам кажется своим.
А ночью обнаженные объятия
Чужим стрелкам мы все же не отдадим.

А может, вы нагая мне близки.
Блится грудь, и брови – полумесяц.
Объятия и руки - как листки
Календаря, в нем столько окошечек,
Неправд и кривд, и разной суеты.
А где любовь? Она там ночевала!

Изгибы все, все род инки - черты
чертенка, что с похмелья после бала.

Вот я с тобой, раскладывая пасьянс,
Грешу на вещи, на температуру.
Как разнится наш бурный мезальянс,
Как будоражит нас твоя фигура!
Без фиговых листков стоишь любя,
Шумливый ор среди горячей случки.
Ты Случай мой, ты Подвиг короля,
Влюбленного в танцующие тучки.

Как развиты плечи твои не по-детски!
Ах, ты не ребенок, пьешь кофе турецкий,
Читаешь Коран и стихи на фарси.
А я пожалел для тебя на такси

Сказал лишь «мерси»,
Но с рязанским прононсом,
Заправил желудок не виски, а морсом.
И этим горжусь, не стыдясь, не любя.
А впрочем, я врал это все про тебя.

Про плечи, про кофе, про в ушках сережки,
Про то, как мы пели частушки немножко,
Про все это врал я и врать не устал.
Я целую вечность, родная, не спал.
Кричал я и бил от отчаянья вазы,
Пока меня за руку кто-то не взял.

Ты снова в Вологде, опять не будешь спать,
Ты будешь плакать, ждешь развязки новой.
Ты, выпив кофе, станешь рисовать
Высокий храм над речкой бирюзовой.

И чтоб тебе никак не помешать,
На цыпочках я выйду на террасу.
А ты с любовью крикнешь мне «стоять!»
И я замру, в закат впиваясь красный...

Александр Волин (Подмосковье) ПТИЦА ГОРНЕЙ ПЕЧАЛИ

Проснешься декабрьским утром –
Тоскливая тьма за окном,
Тоскливо и стрелке минутной,
И сонный взъерошенный гном
Уносит мешок сновидений,
И, хочешь не хочешь, – вставай!
И сразу же мной овладели
Движенья, предметы, слова.
На улице между домами
Светлеет подобье зари.
Как долго осталось до мая!
Как быстро бегут декабри!



Дымы, как призрачные башни,
В звенящем воздухе висят,
И улица, как день вчерашний,
В морозе растворилась вся,
И лед на брови, на ресницы
В дыму дыхания naros.
Как зверь, лютует и резвится
Январский яростный мороз!

Опускается с неба
Нескончаемый снег.
Ощущение снега –
Это видишь во сне,
Ощущение жизни –
Это в сердце зима,
И сплошные снежинки
Тихо сводят с ума,
И сплошной белизною
Весь насквозь занесен,
Толком так и не знаю:
Это явь или сон.

Февраль прошел за половину.
Пора прелестных облаков
Глаза души заполонила,
И до весны недалеко,
И до любви, и до печали, –
Февраль волнительный таков.
Жаль, если вы не примечали
Прилив прелестных облаков.

Пусть город натужно хлопочет,
Меняет в обменниках курс,
Ведь главное – лопнули почки
И скоро распустится куст
Не знаю какого растенья,
Он тем, что живой, знаменит,
И радостных птиц свиристенья
Как музыка жизни звенит,
И зелень мечтает начаться,
А люди – остаться вдвоем
И что еще нужно для счастья?
Да просто подумать о нем!

Купите мимозу –
Подарок весны!
Не скоро цвeсть розам,
А вы влюблены,
Купите скорее –
Смешные цветы
Вам душу согреют,
Разбудят мечты,
Как легкие слезы,
Как ласки во сне,
Купите мимозу
В подарок весне!
Москва сверкает и грохочет,
Теснит и мчится напролом,
И только за городом ночью
С печальной вечностью вдвоем

Вы можете себе представить
Отраду полной тишины:
Собаки лаять перестали,
Ворчанья крыши не слышны,
Пропали шорохи и скрипы,
Но жизнь безмолвная жива,
И в тишине отрадной скрыты
Судьбы заветные слова.

Краше нет природы летней,
Но в Москве, не в Сомали.
Если спросят, сколько лет мне,
Я отвечу: «Все мой!»,
Все, что в метрике небесной
Ни узнать, ни угадать,
Буду зимы все и весны
Лета ждать, как благодать,
Буду осенью прощаться
С летом, как в последний раз.
Кто там спрашивал про счастье? –
Это чувство лета в нас.
Одарит живым нектаром
Лета благодатный букет.
Измеряется недаром
Жизнь вопросом: «Сколько лет?»

Считайте, не было июня –
Одни дожди да холода,
А это месяц полнолуныя,
И соловьиная страда,
И самый светлый мeсяц года,
И свежи листья и трава,
И, представляете, сегодня
Июль вступил в свои права.
Сухой и жаркий, как нарочно,
Раззеленился, запестрел,
Но дни становятся короче
И убегают все быстрей,
И август, тихий и печальный,
Стоит, вздыхая, за углом.
Как лета не было вначале -
Не наверстать его потом.
А если детство не сложилось,
Пришлось до срока повзрослеть,
Души чувствительность и живость
Не наверстать в расцвете лет.

Ветер сосны качает
И надолго задул.
Птица горней печали
Пригнeздилась в саду.
Машет крыльями птица
И кружит на ветру.
Ничего не случится,
Ничего не верну.
Только дольше бы длилось
Счастье долнее – жить!
Как небесная милость,
Птица в небе кружит.
Я душой высоко с ней,



Общий ветер у нас,
И качаются сосны,
Как в молитве, клонясь.

Бессмысленно льется дождь,
Бессчетно стучит в окно,
Бесстрастно, как старый дож,
Ты смотришь в давным – давно.
Катятся капли вниз
По гладким склонам стекла,
И кажется – в каплях жизнь,
Которая протекла
По каплям чудес и чувств,
Когда-то кидавшим в дрожь,
Осталось еще чуть-чуть,
Пока не кончится дождь.
Ты смотришь взглядом вождя,
Подвластный только векам,
И две капли дождя
Бегут по твоим щекам.

Дачи одичали,
Астры постарели,
Пальчики печали
На струнах настроенья.

Медленно линяет
Месяц поутру.
Осень осеняет
Песенный мой труд.

С утра сегодня пасмурно,
И холодно, и сыро.
И молчаливым пасынком,
Нескладным, некрасивым,
Осенний день насупился
И неотрывно смотрит,
Как взад-вперед несутся все –
Машины, лица, морды.
С привычным ноль - вниманием,
Что вот он – день осенний.
Не разберешь, видна ли им,
И коль видна, то всем ли
Вообще вся осень поздняя,
Слышна ли, не во сне же,
Печальная мелодия
Прощального предснежья?

Нет, не видна, наверное,
Нет, не слышна, конечно.
И осень – лишь мгновение,
Напомнившее вечность.

Юрий Ганичев (Вологда) СВОЙ ОСТРОВ ОТКРОЮ

Паруса “Одинокой звезды”,
Корабля экспедиции в детство,
Ждут приказа покинуть посты,
В беспокойстве штормов завертятся.
Нам осталось проститься с тобой,
Берег слякотных взрослых страданий.
Поплывем, там веселый прибой
Загрустил в корабля ожиданье.
За кормой пропадают огни.
Впереди исполненье желаний.
С океаном остались одни,
Салютуем земле на прощанье.

Много дней и ночей по спокойному морю
мы скользили навстречу чужим берегам.
И твердил капитан: “Я свой остров открою,
Дивный остров открою и милой отдам”.
Развлекались шторма сумасшедшей игрою:
нас кидали в объятья к продажным волнам.
Но шептал капитан: “Я свой остров открою,
Дивный остров открою и милой отдам”.
За настырность Нептун наградил нас
цингою,
В лихорадке больной умирал капитан,
повторяя в бреду: “Я свой остров открою,
Дивный остров открою и милой отдам”.

Скрипел фургон, и пара лошадей
Тащилась по расхлябанной дороге.
Бродячий театр, устав от королей,
Искал свободы, натирая ноги.
И, выбиваясь из последних сил,
Паяц толкал вперед фургон разбитый
К мечте, которую в душе хранил,
К мечте, которая не позабыта.
До вечера костюмы в сундуках,
И терпеливо куклы ожидают,
Когда при свете факелов, в стихах
Комедию Шекспира разыграют.
Они сейчас безжизненно пусты,
Неважны им старания паяца,
Но вечером, когда зажгут костры,
Заставят куклы плакать и смеяться.

На красное солнце на белом коне
Он мчится зеленой дорогой,
И капельки пота по желтой спине
Стекают соленой тревогой.
Сомненья развеяны гривой коня,
Пусть каяться скоро придется,
И пусть впереди его ждет западня -
Он гонит туда иноходца.



По воде, да аки посуху,
 Не смочив ступни увечные,
 В пропыленном одеянии
 Шел старик на остров каменный...
 Пролетели веки вечные
 Над развалинами острова,
 Только помнят камни дряхлые
 Удалого свет - Владимира,
 Что хозяином на острове
 Жил с рождения до гибели -
 От руки не богохульника,
 Но родного брата меньшого...
 А когда спустились ангелы
 За душою убиенною,
 Брат не вышел, не покаялся,
 Не упал к ногам заступников.
 Он в седого старца вечного
 Превратился в миг назначенный.
 И с тех пор, да аки посуху,
 Держит путь на остров каменный.

А толпы страждущих стояли
 у обочин,
 Просили помощь, тянули руки.
 Но мимо жрец шагал, подагрый
 озабочен.
 Он был усталым, зевал от скуки.
 Хламида цвета обнаженного заката
 Скрывала тело - сплошную похоть.
 Он знал приемы утонченного разврата
 И душу женщин весьма неплохо.
 Зачем ему страданья нищих у обочин?

Когда пирамиды зачахли под водами Нила,
 А Ной с сыновьями ковчегом царапал Кавказ,
 Ты с Зевсом, метаящим молнии, мне изменила,
 И волоокая дочка у нас родилась.
 Она была очень красива,
 Печальная дева
 С голосом горнохрустального эхонапева.

Когда крестоносцы брели по пустыне уныло,
 И Киевской Русью правил не киевский князь,
 Ты с Дракулой, Тепешем Владом, мне изменила,
 И девочка с телом пантеры у нас родилась.
 Она была тоже красива,
 Дикая дева
 С фигурою тоньше ствола восьмилетнего древа.

Когда разомлевший "Титаник" водой затопило
 И чистили Трою, столетья копившую грязь,
 Ты с нищим последним в подвале мне изменила,
 И надо же - снова дочурка у нас родилась!
 ... Да, черт возьми, сколько же можно?

Когда будет парень?

Слушай, родная, слушай!
 Я не хочу быть танком,
 Дряхлым больным идиотом,
 Мечтающем о любви.
 Напрасно ты говорила
 О тихой семейной жизни,
 Наши с тобой дорожки
 Давно уже разошлись.
 А та, с которой я рядом,
 Похожа на ивовый пруттик,
 Правда, немного стерва,
 Но это и хорошо.
 А ты, моя старая крепость,
 Живи одинокой печалью,
 И пусть твоя жизнь уходит
 В прекрасное далеко.

Мы пропустили ночь над этим миром,
 Уже пора троллейбусам проснуться,
 И ожидаем солнечного блюда
 Пора заняться первым пассажиром.

Мы полюбили ночь не в этом мире,
 А в области иных цивилизаций,
 Где важно было нам не затеряться
 В загроможденном вечностью эфире.

А мы с тобой паденье Вавилона,
 Рождение и гибель Атлантиды,
 Величие садов Семирамиды -
 Все видели, плывя в ладье Харона.
 Давай и завтра будем жить
 не в этом мире...

Я сожгу наивные иконы,
 Подпилю надежные опоры,
 Кто-то никогда мне не знакомый,
 Будет слушать наши разговоры.
 Ты оденешь старенькое платье,
 Приласкаешь кошку на диване,
 Будешь мне рассказывать о брате
 Или о зацветшем вдруг каштане.
 Станет обнимать тебя за плечи
 Тот, кто назовется твоим мужем.
 Не сказав привычного "до встречи",
 Я уйду, я больше здесь не нужен.

Ветер ерошит сердце трущобы, чтобы
 Вымести чувства никчемности, ярости, злобы,
 Выдать бесплатно билеты на ясность погоды,
 На обаянье беспечного счастья природы.
 Ласковый ветер- ветер рождения лета -
 Высушит слезы отчаянья, слезы тревоги.
 Душу наполнят надеждой ветросонеты,



Мягко шуршащие мусором старой дороги.
Ветер, ветер, ветер ерошит трущобы...

Ты подожди хоть немножечко, каплю.
Я для тебя превращусь в эту цаплю.
Стану горою и пропасть разверзну,
Ввысь поднимусь, во вселенной исчезну,
Там запылаю сверхновой звездой,
Ну разреши мне быть рядом с тобою!
Да, алкоголик, развратник, бездельник,
Жить начинаю всегда в понедельник.
Да, все наврал, но красиво и складно.
Я остаюсь? Ты простила? И ладно.

Я уеду, уйду, расстреляю пространство,
Растворюсь в бесконечном смещении черт.
Стала ты не моей, жрица непостоянства.
Зачем королеве настойчивый смерд?
Я осмеян тобой, брошен в реку забвенья,
Я стал частью засохшей опавшей листвы.
Но знай, я вернусь, и в минуту прощенья
Ты вспомнишь меня, обращаясь на Вы.
И будет, право, крайне не смешно,
Когда в своей безбожно дикой вере
Я пред тобой закрою эти двери
И сяду пить разлужное вино.
Я не смогу простить твоей измены.

Днем, когда случится это,
Будет сильный гром.
На пол упадет монета,
Решкой, не орлом.
Зазвенит в шкафу посуда,
Запоет хрусталь.
Я приду к тебе оттуда,
Где не спит печаль.
Улыбнешься ты устало,
Скатерть обмахнешь,
Скажешь: "Я давно мечтала,
Что не ты придешь.
Может, принц,
А может, рыцарь,
Может, чародей,
Да любой из миллиардов
Неживых людей...
Но не ты!.."

Я приду, наверное, приду,
Разорву нечаянные нити.
Сквозь провалы дряхлых перекрытий
Я тебя увижу. Как в бреду
Неизвестной жизни чехарда
Заставляет вспомнить о минувшем,
Позабытом, может быть, уснувшим

Времени, когда ты шепчешь: "Да".
Перекрестки городских окон
Замирают в форме царской свиты.
Стекла же, которые разбиты,
Тренькают: "Смотрите, с нею он!"
Завсегдатай пыльных чердаков -
Кот - выводит вечные куплеты,
Ну а мы с тобою не одеты,
Зажигаем вату облаков.

Мне улыбается город умытый
Чистыми стеклами окон своих...
Брожу по городу в час предрассветный,
Пустынных улиц заманчив вид.
Твое окошко, как плод запретный,
Еще мерцает, еще горит.
Тебе не спится, ты вспоминаешь,
Закутав ноги в мохнатый плед.
А на коленях стихом лохматым
В измятой книжке лежит поэт.
О чем раздумья? К чему сомненья?
Зачем же снова слова, слова?
Изящным буддой в день Просветленья
Застыла кошка, всегда права.
Я у подъезда, зайти не смею,
Тобой забытый давным-давно.
А если честно, боюсь услышать
От неприступной: "Мне все равно".
Чистыми стеклами окон своих
Мне улыбается город умытый...

Растворилось солнце, затянуло небо,
Набежали тучи-облака.
Почему на свете хорошо, где не был?
А где был - не ладится пока.
Да, искал я долго, но судьбу не
встретил.
Просмотрел, наверно, проморгал.
Почему, где не был, хорошо на свете?
А где был - никто не помогал.
Замер на развилке между "был" и
"не был",
В точке между небом и землей.
Кто-то ищет зрелищ, кто-то просит хлеба.
Я хочу увидаться с тобой.

Я падал нежно в лоно грязной речки,
Желая расквитаться без мучений
С судьбою, что несла одни страдания
И чернотой непроглядной ночи
Окутала полжизни. Головою
Уже касался я молекул влаги,
Снующих по поверхности потока,
Когда почувствовал, что невозможно
Уйти вот так - легко, не попрощавшись.



И, вопреки земному притяжению,
Я полетел над меркнувшей водою,
Чуть задевая полами одежды
Изгибы покореженного рула.



Дмитрий Гасин (Москва) ПОПИРАЯ ЗЛАТО ОКТЯБРЯ

Электричек сны полупустые.
Инея густая седина.
Осень выплакала очи золотые,
До дна, до оцинкованного дна.

Тишина висит куском невзрачной,
Мокрой, размахрившейся пеньки.
Призрачно-прозрачной жизни дачной
Последние ноябрьские деньки.

Что же, подытожим то, что сможем,
Соберем страницы со стола:
Большинство в линсечку, положим.
И в клеточку какая-то была.

Часто я марал на обороте
Слов чужих безвестного жильца...
Словно телеграмма в дом напротив -
Листок прозрачный в луже у крыльца:

*здравствуй... до свиданья... я приеду...
передай, что буду... не смогу...
в среду... в понедельник... точно, в среду...
пожалуйста... желаешь и врагу...*

Кто мы? Чьи слова на амальгаме,
Чей зеркальный почерк не понять?
Не хочу в одной чернильной гамме
Ни с кем свою судьбу объединять:

*не пиши мне... позвони... подумай...
я подумаю... и наших угощай...
как всегда, встречаемся... угрюмый...
словно и не я писал... прощай...*

Что хорошо - так это роша, озеро и клены,
И утки суетливые, и листья - на воде,
И мы с тобою - зяблики, продрогшие гулены,
И долгий день. И пригород. И нас не ждут нигде.

Что хорошо еще - маршрут по дачному поселку.
Одолжен фотоаппарат, погода - в аккурат
Такая, чтоб запечатлеть собаку, утку, елку,
Бриллиантовую паутинку в тысячу карат.

Тропинка упирается в заброшенный участок.
Старушка ветхая пасет козу навстречу нам,
Или коза ее пасет, оглядываясь часто,
С тоской во взоре, свойственной
завзятым ворчунам.

А главное, что хорошо в погоде и пейзаже, -
Спокойное течение по жизненной стезе.
Нам нравится осенний день, а мы - ему, и даже
Наш скромный фото-бутерброд -
взыскательной козе!

Оле

И вот час ночи. Сажу на кухне. А ты уснула.
Листаю книжку. Чешу лодыжку о ножку стула.
И если было все то, что было, а не приснилось,
То вот вам чудо, и божья сила, и божья милость!
Звени - комарик, вращайся - шарик,
струись - прохлада!
Читатель, веришь? И я не верю. А и не надо!
Проснусь пораньше, тебе заварки
залью пакетик.
Венец творенья пьет чай с вареньем.
Завидуй, скептик!

Шут в человеческом лесу
С огромной смертью на носу,

Играю шариками слов,
Всегда жонглировать готов,

А для кого? Камней, зверей
И для спокойствия морей.

Для жизни, тонкой на просвет,
Которой не было и нет.

А в пятницу (пришла б она скорее!)
Мы выдвинемся в парк, где два пруда.
Я буду пиво пить, а ты Андрея
Жвалевского почитать. Туда,

Где город позволяет передышку,
Где смог - прозрачней, выхлопы - свежей,
Туда возьми с собой смешную книжку.
А я возьму сражения, пажей,



Вельмож с кинжалами, их госпожу с короной,
Укрытых под кругленьким корешком,
Под кружечку (и не одну) с "Короной",
Кружкова перечту над бережком.

Так хорошо, что лучше не бывает!
Ты жмуришься, на солнышке сомлев.
Попросишь пива. Спросишь: «Томас Уайетт...
Так было принято - влюбляться в королев?»

Так было принято. Давно, в краю далеком,
О, Сокол лирики, над башнями кружись!
Пора нам в замок, слуги заждались -
И Холодильник, и Диван-под-Боком...

В загробной жизни киноперсонажей
Все, как у нас, но только лучше нашей
За титрами Элизивуд - страна.
Местами черно-белая, немая,
Картина далее сама себя снимает,
Сдается мне - комедия она.

Вот Амели Пулен бежит к Афоне,
Который служит в видеосалоне.
Бежит, бежит, печаль ее легка.
Все счастливы, все хорошо и просто,
И человечек маленького роста
Торгует кольцами на улице с лотка.
Вот за витриной бравый ресторатор
(Известный более как старый терминатор)
Принес меню клиенту показать.
Он, правда, иногда впадает в детство
И входит в бар, слегка забыв одеться,
Припоминая, что хотел сказать.
Иван Васильич и Василь Иваныч
Заглянут к Петьке, там застрянут на ночь
И в супермаркет Шурика пошлют.
Вот Изя Бэтман в скверике на лавке
Ждет Штирлица, но устарели явки -
Бойскаут отдает ему салют.
Вот Деточкин стоит у банкомата,
Застенчиво и как-то виновато
Ломает монтировочкой замок.
Прощай, кино - рай видеопирата,
Искусство прошлых лет, попкорн и вата,
Погас телеэкран и звук умолк...

А в будущем, стерильном и спортивном,
Миниатюрном, сплошь интерактивном,
Ох, будут зрелища... Да, кажется, не те.
И в виртуальном зале, может статья,
Потомки будут плакать и смеяться,
Но - эх! - не целоваться в темноте.

Ни ума, ни денег, ни здоровья
- Где былые выпад и замах,
Всеволод Большого Безгнездовья,
Мономах, который Минимах?
На Тверском, на ветреном бульваре,
Попирая злато октября,
Княжичи поэзии, в угаре,
Мы божились «жить» прожить не зря.

Разливали по шеломам Дону
И ковали ямбы горячи+
Ныне же слоняешься по дому,
То пенсне теряя, то ключи.

А про Ярославну скажешь, княже,
Стоила ли ратного труда?
Лепо ли нелепо, но не бяше.
И не будет бяше никогда.

Троянская лошадка-вагонетка,
Поскрипывая, стрелку проходи.
Цитатная харонова монетка
И холодок предательский в груди.

В краю хронического безбилетья
Из перестука рельсов скроен дом.
Какой кусок текущего столетья
Для нас отрежут праздничным ножом?

Какой вокзал щербатый с черной аркой,
Где археологический сквозняк,
Нас примет грязно-белой санитаркой
В холодный день, похожий на синяк...

И стул распатанный, и книги, и побелка,
Рассыпавшись, плывут куда-то вбок...
А жизни суетливой злая белка
Все пробует монетку на зубок.

Ты в кофте (полосатой - дивно!),
До дырочек протертой на локтях,
Уже давно не ходишь при гостях,
Надеясь доносить ее интимно.

А сам-то, сам! С упорством нездоровым -
Подклеивать расколотый мундштук!
Нас окружает столько старых шпук
И всякостей поломанных, но новым

Не заменить мой шарф - не тот покрой -
И коврик замусоленный мышинный,
Как не заменишь «лисапед» машиной
И фотоснимок в паспорте второй.





**Александр Дудкин (Маза
Кадуйского р-на Вологодской
обл)**

**МЕЖДУПРОЧЕ
ЛЕСНЫЕ СТИХИ**

(отрывок)

Я был в лесу. Зашёл туда по тропке,
которую, пока она петляла
по дну и склону лога небольшого,
сжимали с двух сторон кусты
черники, можжевельника. И ёлки.
Потом, обхлёстанный ветвями и травой,
я оказался в светлом сосняке.
Под соснами на влажном покрывале –
махровом и зелёном – кое-где –
брусника красовалась и блестела.
А слева от тропы,
за чёрным из штакетника забором,
цвело пластмассой, мрамором, железом,
крестами, звёздами и ликами умерших
простое кладбище. Я шёл по тропке.
Смотрел на синие и серые могилы,
смотрел на небо и вершины сосен...
Смотрел, смотрел, не видел ничего.
Опомнился за кладбищем. Дрова
в поленицах, сухие сучья в кучах,
последние огромные грибы -
все на одно лицо (вернее, шляпку,
темно-коричневую, мятую, гнилую),
покрытый мхом валёжник старый
и свежий – скользкий, иногда в коре –
да гул цивилизации, что за спиной осталась,
бросались мне в глаза, под ноги, в уши...
И я подумал:
вот если так – всегда – смотреть:
на небо – сквозь деревья – мимо цели;
вот если так – всегда – идти:
не ощущать ни землю под ногами,
ни воздух – рыхлый иль тугой –
ни волосом, ни ртом и ни руками;
и если жить – всегда – вот так:
в себе самом – внутри себя – в коросте –
самодостаточно – спокойно – отрешённо,
зачем тогда весь этот белый, белый, белый,
белый свет,

и тьма зачем, зачем зима и лето,
и лес сосновый, жук навозный, дождь
крошечный?
Ведь – всё равно – всё то, на что ты смотришь,
и по чему идёшь и чем живёшь
(не смотришь – не идёшь – не существуешь),
мертво в глазах твоих,
не видимо, не ведомо, не знамо.
И я подумал:
при чём здесь белый свет?
при чём снега и ветер?
при чём букашки, ветки и трава,
ночь грозная, солнечный денёк,
весенний щебет птиц и зимний треск деревьев?
Ведь это ты с глазами да не видишь,
ведь это ты с ушами да не слышишь,
ведь это ты с мозгами не поймёшь,
что это ты, придурок, не живёшь,
а маешься да мечешься, мешаешь
и мстишь, и мстишь, и мстишь, и мстишь, и
мстишь...

Сквозь стёкла грязные очков и окон
я вижу, как несутся облака,
и просто так – надменно и высоко –
качаются электропровода.

И просто так вот этот шумный ветер,
и этот вечер, этот день, та ночь
останутся на этом белом свете,
вот в этой памяти. Как фон для вещей снов.

1
Чёрно-белый зимний лес
без листвы, без цвета, без...
Без того, что было...
Пасмурно и сыро.

2
Ада первый круг, наверно,
этот лес пустой, безмерный,
влажный, но скрипучий,
сонный, но могучий...

3
Неожиданный впотьмах
окрик тихий, звон в ушах
смертного покоя.
Погибаю стоя.

Длинные-длинные тени,
бьющее солнце в глаза.
Я ничего не умею
и ничего мне нельзя,

но ощущаю пространство,
время и небытие,
Божье непостоянство
да и величие Его.



Закипает мелкой дрожью
в чайнике вода.
Этим миром сила Божья
правит иногда.

Иногда в объятья света
тьма заключена,
а добра над злом победа
на фиг не нужна.

И бывает, что не хочешь
ничего, ни с кем.
Этот мир, как всякий прочий,
без опор и стен.

Печка топится. Мышь пробежала.
За стеной верховодит мороз.
Одинокое года начало,
одинокий неявный невроз.

Печка топится. Чуть обогреюсь,
буду книги листать, а потом
напишу письмоцо Одиссею
иль в сгоревший библейский Содом.

Печка топится. Завтра поеду
воровать у природы стихи,
ворочусь я, наверно, к обеду,
замолить попытаюсь грехи.

Печка топится. Слово не дело,
целый день разорялся народ.
От него (не от Бога) всецело
я завишу, лишённый свобод.

Печка топится. Мысль убежала.
Прибрела за получкой тоска.
Печка топится. Прожито мало.
Смерть, как в детстве, нестрашно близка.

Кот забился в тёплый угол.
Свет мигает. Тьма растёт
и сжимает туго-туго
глаз и небо. Горизонт

задрожал, исчез. Не видно
ничего и никого.
Лес покинутый шумит, но
не хватает одного

грома этой непогоде.
Побежали по окну
капли, реки. Как природе
вольню в эдаком плену.

Вспыхнули ручьи, отяжелели реки,
смылся снег с полей и из лесов,

покосился срубленный навеки
дом, снутри закрытый на засов.

Всё внутри. И дождь сегодня дикий,
в книгах молчаливые слова...
Трепет и бессонница улики
одиночества... Касается едва

Стылый дождь немытого крылечка,
неумытой рожки и живой земли.
А в итоге то, что есть предтеча,
есть и завершение. Иди.

Девять вечера. Я вышел
за пределы окоёма,
окоёма твоего,
и увидел кое-что:
наслаждаясь исступленьем,
изверженьем, излияньем,
бравый ветер поперхнулся,
рыхлый воздух облизал,
а потом, чуть-чуть смущаясь
и смущённо улыбаясь,
он, усталый, нежный, грешный,
растянулся по болотам,
по болотам, по полям...

Я хочу немного –
продраться
сквозь ельник непроглядный,
на тропинку выбраться,
и всё.
И достижение цели.
Цель.
А ходьба
глухой лесной дорогой, выход в свет
(иначе: на асфальт),
голосование,
молчаливая езда
в кабине трактора
минут пятнадцать –
сверх цели
и за целью.
За мишенью.
Божья милость,
благодать.

Снег идёт и жёстко правит
этим светом, этим мной,
бедной и самодержавной,
необузданной страной.

Он проходит смирным лесом,
сонной чёрною рекой.
Я ж стою как будто в тесном
мире и с протянутой рукой



то ли к Богу, то ли к смерти –
то ли слёзы, то ли смех.
Что со мною будет, если
не растает этот снег?

Я рад дождю, ещё я рад тому, что холодно и
зябко, что надо печь топить.
Ведь дождь, не задевающий меня, ведь пламя,
которое тушить не надо мне,
способствуют рождению спокойствия, детей.
От мороси на грязных стёклах сыпь -
преграда любопытству и ко мне и моему...
Я повторяю: рад такому дню.

Дождём облизанный, униженный (опущен
хвост), ворчливо лает пёс и рад до дрожи
явлению обычности, привычности, приходу на
север севера, повтору всего, что было глупого,
смешного, дурацкого, пустого. И может, может,
в итоге, после всех дождей и снегопадов,
желаний, жалоб, клятв, итоги все оспорю,
уюмоу руки, замету следы и кану в Лету...
Пусть дождь идёт, пусть шествует, пусть долго.

Проснулся поздно. Всё проспал на свете:
угар ночной и утреннюю свежесть,
стучавший в окна и наливший сотни
бездонных луж мгновенный хлесткий дождь.
Ещё не видел я, как ветер южный
юродствовал в лесу - срывал листву
и ели выворачивал с корнями.
И только после этой истерии
далёкий гулкий гром очистил небо.
И я проснулся. Было всё спокойным
над тяжестью и брэнностью бытия.

Молчит, умирает деревня,
и солнце упало во тьму.
Иду. Спотыкаюсь. Деревья
уснули в щемящем дыму.

Иду. Спотыкаюсь. Срываю
с берёзы последний листок.
Иду. Но не вижу, не знаю,
где север, где юг, где восток

где запад, где я и зачем я
в пространстве оглошшем, немом,
и в бурное, стрёмное время
без цели, без веры – пешком.

б. Т.

1.
Слепая хлопочет молва,
и молвит глухая старуха
о жизни своей, что мертва,
с улыбкой и внятно, и глухо,

с крестьянской сухой правотой
и мудростию безъязыкой...
В советской она, крепостной
Деревне, в бесправии диком

жила и бесстрастно любила
и небо, и землю – меня.
С ней истина и простота
и старческой немощи сила.

2.

К старухе, как смех или прихоть,
при белой кромешной погоде,
по - божьи – бесстрастно и тихо –
последняя вечность приходит.

Приходит, как жизнь её, скудная
блаженная благодать.
Как, Господи, это и трудно,
и радостно осознавать!

отцу

Крестьяне копают картошку
и весело жгут на полях
ботву и пекут понемножку
огромные клубни. Но всяк

опять недоволен погодой,
и временем, и бытиём,
собой и своим же народом.
И Бога ругает тайком.

Тайком же и молится Богу.
И любит Россию не вслух.
Деревня глядит на дорогу
глазами наивных старух.

На воле дерева корявы,
на воле растут они вширь.
Под ними культурные травы
и прочий неравный им мир.

Живут они тут беспримерно,
шумят на чужом языке,
не знают дерева, наверно,
совсем ничего о тайге.

Не знают высоких объятий,
над ветром скрипучих побед,
и будет позволено вряд ли
от старости им умереть.



Елена Карева (Тольятти) ТЮЛЬПАНЫ В МАРТЕ НЕ ЦВЕТУТ

Как красиво парят шары
в темном облаке зелени хвойной!
Что-то в этом есть от игры
и от службы – зауспокойной.

Как блестит за окном снежок,
как в глазах прибывают слезы...
Что-то в этом всё есть, дружок,
кроме жалости и мороза.

Как ты смотришь, как ты молчишь...
Как все в жизни сложилось скверно,
как все в ней от лукавого, лишь
от любви немного, наверно.

Нет месяца длиннее февраля –
И тянется, и тянется безбожно...
Безмолвная, промерзшая земля,
вороньи свадьбы. Просто невозможно.

И сердце бьется в этом феврале,
но если ждет, то, верно, уж не чуда.
Немытая посуда на столе.
на лоджии – несданная посуда.

А на окне – единственный цветок,
но взгляд, не останавливаясь, мимо...
Февральские дороги, как каток.
Все катится к чертям неумолимо.

Ты знаешь, я плыву – плыву на льдине:
любовь – весна, и значит – ледоход.
Жизнь треснула. Сперва посередине,
крошится дальше. И – несет, несет...

Пространство наполняет запах вербы,
и сердце – радость, а кругом беда.
Да, жизни не бывает без ущерба.
Оглянешься – ни звука, ни следа.

И потому ловлю хотя бы слово,
хоть взгляд, сверкнувший, словно лед,
и в сердце прячу, зная: жизнь сурова.
Замучает до смерти. Отберет.

Твое равнодушие ранит всегда.
Ничем не унять это горькое горе.
Течет сквозь февраль неживая вода,
и март превращается в мертвое море.
Оно караулит меня у дверей.

Я слышу дыханье его ледяное.
Начало каскада нездешних морей
у ног. Равнодушие твое за спиной.

И я не железнее многих иных,
оставивших берег, чужих и постылых.
А волны... Что ярость холодная их
пред яростью жизни, струящейся в жилах?

Тюльпаны в марте не цветут,
но все равно уже весна,
и гром грядущий тут как тут,
и цель, как молния, ясна

на много сотен лет вперед.
На глубине бессмертных ид

я вижу: время часто врет,
а сердце правду говорит.

Может быть, это был поздний цветок,
и расцвести не успел – холода.
Раннее утро. Последний глоток.
Схвачена взглядом небесным вода.

Может быть, ты согласился любить.
Вдруг. Наконец. Только время ушло.
С огненных губ – лишь последнее «пить...»
Ночь пролетела, и в окнах светло.

Лучше бы вовсе не помнить о том,
что было сделано жизнью со мной,
и не изведать того, что потом.
Старые сказки под старой луной.

Мелькнул серебряною пулей
в опасной близости чела,
сосредоточен, как пчела,
летающая со взятком в улей.

(Такая жизнь: дела, дела,
и лишь святой доволен долей,
а грешному и мед раздолгий
горчит, и воля не мила.)

На этот улей посмотреть! –
из зала реплика – как в воду
глядел сказавший. Пчеловоду
хвала. Врагам пчелиным смерть!

Конечно, смерть. Ничто не вечно.
Все будем там. Твоя сердечно.

Любимый мой! Что делать – между нами
разверзлась ненадежная земля,
политая слезами и словами
проросшая: лилейные поля



теперь остались только на бумаге – там между лилий ходит Соломон, и множится печаль на каждом шаге... Любимый мой! Скажи, что это сон!

Вдруг оказалось, что люблю цветы,
Похожие на раковины, и
(о, это «вдруг»... так оказался ты,
и следом – ощущение вины
в прошедшем) – и оклеившие стебли,
как раковины, милые не тем ли,
и схожие с тобой не оттого ли,
что сдержанны, как ты, мой друг, до боли...

Памяти Веры Крейд

А на улице дождь.
А на сердце печаль.
А закутаться в шаль,
хоть немного забиться.
От себя не уйдешь,
не сумеешь, хоть плачь.
А накидывай плащ:
в храм, душе, - к плащанице.
Ты, душе, не одна -
вся природа больна.
Словно осень, весна.
Словно стихотворенье,
сходит в душу дождем.
Что же, мы подождем.
Жизнь до боли ясна.
Впереди - Воскресенье.

Подходим. Священник Димитрий стоит на
крыльце,
и снежные звезды кружатся, легки и неярки.
Проходим. С порога вручаем детишкам
подарки.
Поем "Рождество" перед образом Бога в венце
терновом.
В две тысячи пятом по – старому или же в
новом – шестом.
Беседа за чаем; о том,
что, кажется, промах свой поняли грегорианцы,
хоть поздно.
И правда, уж поздно. А небо морозно,
и кружатся снежные звезды в серебряном танце.

Стихотворение, которое написала Елена Карева

Красивая женщина с распущенными волосами,
золотыми с рожденья, и вьются которые сами,
которая с чашкой прозрачного, как лепесток,
фарфора
и желтым закрытым тюльпаном, и все это –
фора,
которая щедро дается многим другим,

которые все это белое, млечное время
несут и несут, не сгибаясь, нелегкое бремя,
различное формой, одно и то же по сути,
которых глаза подобны окрашенной ртути,
торгующие обожженными кем-то горшками,
которые их обжигали своими руками
и пламенем сердца. Глаза у которых, как дым.
Как женщины этой. И как умереть молодым.

Евгения Килиптари (Красный Сулин Ростовской обл) РОДИТЬСЯ, ЦВЕСТИ, УВЯНУТЬ

...Умылась природа весенним дождем.
...Прикрылась от солнышка летним плащом.
...В осенний и пестрый оделась наряд.
...И стала под саваном белым дремать.
Все в жизни идет по такому же кругу:
За детством торопится юность - подруга.
Мелькнула и скрылась. За нею сама
Серьезная зрелость вступает в права.
Усталая старость угрюмо молчит.
Итоги подводит, о прошлом скорбит.
Во всём этом логика вечная есть:
Родиться. Цвести. И увянуть. И смерть.

Отливали волны
Серым перламутром.
Угасал незримо
Свет звезды под утро.
Стряхивало солнце
Блеск росы с лучей.
Уплывал под парусом
Месяц в мир теней.

Прилег немного отдохнуть,
Укрывшись тучкой-покрывалом.
Растаял в небе Млечный путь.
Над миром утро наступало.

Замерзла осень в желтых тополях,
Разносит эхо буйство водопадов.
И утопают реки в проливных дождях.
Холодная зима уже не за горами.

Чернеют вдалеке на пастбищах стога.
Не слышно пенья птиц в лесных дубравах.
Лишь омрачают душу крики воронья,
Трескучим карканьем окрестность оглашая.

Ползет в ущелье сумрачный туман,
Осеннюю красу от глаз моих скрывая.
Уж не веду я счета прожитым годам,
По векам жизненным судьбу свою сверяя.



Вздремнула осень на лесной поляне...
Вокруг березки вместе с тополями
О чем-то шепчутся желтеющей листвой,
Боясь нарушить осени покой.

Вдруг ветка скрипнула под ветром суетливым.
С полей доносится вороний гвалт крикливый.
Скользит по небу вестник холодов -
Малиновая кипень облаков.

Огромный ствол зеленого каштана
Насквозь раздвоил толщу валуна.
Стоят, обнявшись, пара великанов...
Но кто они – враги или друзья?

Я слышу в шорохе листвы
В любви признания и вздохи.
Перекликаются дрозды,
Мелькают дальние всполохи...
Вот пискнула в кустах пичужка,
Залился трелью соловей.
Считает медленно кукушка
Количество грядущих дней.
Березке дарит ясень стройный
Любви заветные слова...
А ей по сердцу клен безмолвный,
К нему прижалась бы она.



Ольга Кузнецова (Вологда) ЛОЖУСЬ НА ЛЕВОЕ КРЫЛО

Мне лапку, хотя бы одну, из болота выгашить,
Соломинку ею нащупать.
Курили мы в детстве соломинками,
Поджигали их от головешек,
Не жалели соломинок, вечно жить собирались,
А мечтали не больше - не меньше:
о трубках мира.
И ресницы себе палили.
И на щеке потом долгий жар хранился,
и горечь во рту.

И клялись не рассказывать родителям
- больше не пустят к кострам,
без которых - ну что там за счастье?
Где вы, соломинки детства?
Хотя бы одна,
самая короткая...
- Дымом, туманом, полями далекими...

Буду сбитой бабочкой мучаться -
Долго таращиться на свет в конце тоннеля
и поднимать уставшее тельце,
и морщиться до боли в глазах,
и слезы нечем вытереть,
и царапины на брюшке не замечать,
пока добрые руки йодом не смажут.

Смогу - я ведь крутая, это сальто крутить
без поддержки.
«Привет», - сказать сухо, будто и не рада,
и в глаза посмотреть - почти равнодушно,
и сердце заставить биться ровно, и легко
руку подать,
и тебя усыпить, успокоить, словно все
так и будет,
и выслушать все, и замечание вставить,
кстати и ловко - всегда так умела,
А эта благодарность моя - за то, что
уйдешь, знаю,
ровно за миг до того, как заплачу.

Последнее яблоко,
счастье горьковатое,
среди потемневшей листвы,
Манит.
А мне уже -
не дотянуться.
И на чужих заборах
штаны рвать -
не забава теперь.

Ракушку
нашли в отложениях ила,
сверху времена на ее
пластами слались,
метрами.
Геологи возраст сказали,
но я не поверила -
350 тысяч лет
какая душа
без света вытерпит?

Вот так и будем искать тепло наощупь,
Вслепую тыкаться в молочко дня,
Блаженно не замечать ухмылок.



ОСЕННИЙ ДЕНЬ

(восемь стихотворений одного дня)

Весь в иглах парк. И ветер укололся.
Собаки опасаются железок,
И что-то нюхают,
надеясь не вступить....
Секвойя проросла сквозь эти страхи,
Над гаражом ее упрямый зонтик засветился
Как раз на уровне окна.
И в доме утро.

Черета домов - деревянных со ставнями.
И резной палисад - не из жизни - из песенки.
Будто музей под открытым небом!
И бабушка на скамейке - как экспонат.
Но она - экскурсовод по минувшему времени.

У реки выступили ребра - нет дождей.
Серые отмели царапают ветер пересохшим
языком.
Старому мосту чудится,
что затонувшая весной лодка -
всплывает.

Студеная вода светлеет с каждым днем
от желтых листьев,
упавших в черноту и вечность.
Жирный налим с трудом нашел
темную яму и счастлив.

Босиком - слишком холодно.
А в резиновых сапогах ходить по воде
никак не удастся.
По дну хожу,
Оставив мутный след от поднятого ила.

Встать на крыло как гадкому утенку
Отчаянья недостает.
А завтра станет лед на нашей речке.

Осенний день. Иголки сосны и те
в задумчивости - пора лететь.
Только куда, куда?
Ложусь на левое крыло.
Последний раз летаю кругом.
И завтра, завтра..

Люблю губами трогать
твои волосы русые.
Знаю, счастье - есть.

Оно - рядом, вот в этой комнате
с тюлем как облако, холодным от форточки.
Рядом с хищной собакой рыжего цвета,
уши которой похожи на две рукавицы.
Милый, меня знобит.
Лоб горяч, губы сохнут.
Что это - любовь, страсть?
Студить лоб о стекло?
Дышать, зная, что никто не поможет?
Никого еще не смогли спасти от сердцбиения...
Ловить капли тишины и не знать, и быть
неловкой.
И этот мед на душе, и нечаянная радость от
встречи руками.
И губы ищут слепые, и руки становятся
слепыми.
И воздух вязким. И ты светлый, и лицо твое
вблизи не вижу,
но узнаю. И пальцы хотят быть нежными.
И ты ловишь руки мои, изучаешь судьбу по
ладони,
И врешь, и зовешь улетать - вместе.
И я смеюсь - зря и совсем некстати.
И даже успеваю вспомнить или
подумать - такого уже не бывает.

22.09.99г.

Против течения.
Инстинкт?
Против течения.
По...- скучно!
По...- кому это надо?
Поборотся хочу, побарахтаться, познать.
Кожу упругой струей побаловать.
Рыбой побыть,
Камнем,
Облаком.
Ивой, осокой стать успею - руки мягкими
будут еще.
Потом - пусть судьба меня тащит,
Вернусь, когда сил не останется.
...Как меня отнесло!

Цыганята купаются, синие, как баклажаны,
И мне кричат: "Девочка, перевези".
За руку цепко держатся,
И глубины боятся,
И обратно просятся.
Девочка, перевези.

РЕЧНОЕ

Где твои пароходы,
Седой мальчишка,
Друг теплого ветра
И скрипучих уключин.
Где те береговушки,
чья норки знаешь на ощупь? Где?



На том берегу садится солнце,
 На этом остывают камни.
 Старую лодку спускаешь на воду,
 Ржавую цепь привычно
 Зачем-то берешь с собой.
 Пора, раздвигая травы,
 Свои поднимать сети
 И, взвешивая на ладони,
 Пересчитать улов.

Что будешь делать с речкой
 За поворотом
 Она каждой весной намывает
 Новые острова.

Беззубкой безмолвной рисовать
 По дну песчаному своим путем узоры.
 Ловить тот миг, когда
 Облако, чайку и
 неровный жемчуг под створкой моей
 нанижет острая иголка - солнечный луч.



**Мария Маркова (Кадуй
 Вологодской обл.)
 ОСЕНЬ НА ПОИСКИ
 СМЫСЛА**

Будет утро совсем не такое,
 как я думала встретить его.
 Я окно очень рано открою.
 Утро белым встревоженным роєм
 загудит у лица моего,
 зазнобит. Но такой тишиной,
 ослепительной, полной, белесой
 вдруг окатит. Беззвучной волной
 утро схлынет и пеной густой
 на хребте одичавшего леса
 закипит и осядет. Зима
 будет долго глазами моими
 провожать голубые дома
 и губами моими ломать
 свое острое льдистое имя.

А я руки засуну в карманы
 и вернусь в остывающий мрак.
 Моих ласковых снов караваны
 поползут к окоёму дивана
 на невидимый глазу маяк.

Снова август идет темноглазый
 по следам моим в травах густых.
 Он смертельно, смертельно опасен.
 Мы вот-вот перейдем с ним на «ты».

На поваленных сосенках знаки,
 и повторно цветет зверобой.
 Кто-то ждет меня в хвостом мраке
 и протяжно зовет за собой.

Долгим эхом оленьего рога
 зазывает в холодный туман.
 Серым мхом зарастает дорога,
 испещренная змейками ран.

Никуда мне от зова не деться.
 Темный лес расточает свой яд.
 Гулко бьется горячее сердце
 и, слабея, колени дрожат.

Час рассветный томительно долог.
 Березняк придорожный продрог.
 Гибкий август тяжелым подолом
 собирает росу с моих ног.

Вот и первые листья в траве,
 Листья желтые, листья больные.
 Я прозрею, и вещи иные
 мне дадут запоздалый совет.

Натолкнется охотник на след.
 Этой истине в смерти спасенье.
 Время скроется в сумрак осенний,
 в еле видимый тонкий просвет

время выльется. Выйдут часы,
 отведенные дичи на бегство.
 Я исторгну вчерашнее детство
 и порожные трону весы.

Что тогда перевесит мой стыд,
 мою первую страшную зрелость?
 Я в себя ослепленно смотрелась
 и не знала, что где-то болит.

В этих травах, сырых от росы,
 в этом холоде, зябком, прозрачном,
 мое время растерянно плачет,
 выплетая тесьму из косы.



Как осень подходит для поисков смысла!
Бессменная классика. Читка до дыр.
Неясные сны и случайные числа.
Прохожий – предвестник беды – поводырь –

мне смотрит в глаза и глаза не отводит.
Он морщит свой лоб, начиная гадать.
Узнав, забывает и мимо проходит,
и больше не встретится мне никогда.

И мне бы – за ним, но упущено что-то
незримое, след у границы небес.
Пространство борьбы поглотила природа.
В груди поднимается сумрачный лес,

и маленькой девочке, в нем заплутавшей,
пока не стемнело, пора поспешить.
Она очень быстро становится старше.
Она очень медленно учится жить.

Косые, блеклые дожди
к землистой тянутся груди.

Податливый, беззубый рот
вслепую воду смерти пьет.

Ложатся травы в темный зев.
Протяжный слышится напев, -

то жница северной тоски
поет, срывая колоски,

и тусклым золотом подол
усеян. На ее ладонь

салятся черные грачи.
Их бабка выпекла в печи.

Льняное семя. Желтый воск.
В сердечко бес лукавый врос.

А в кпове птичьем бузина –
проклятье красное она.

Осень с сухими губами,
с горькой полынью во рту,
в голосе терпком купала
дудок речных пустоту.

Плакали рыбы и бились
сердцем в ребро камыша,
и на свободу просились,
воздухом ржавым дыша.

Быстрые стрелы распада –
черные тени стрекоз –

над муравейником сада
в сладком беспамятстве слез

рыбьих, немых, в пустотелом
легком речном тростнике
прошлого Осени пели,
прятались в желтом песке.

За дверью среда – середина недели.
Кончается лето. Близки холода.
За зеркалом черным все та же вода,
а дни превратились в подводные тени,

а дни превратились в блуждающих рыб
с бездонным зрачком и крючком рыболова
в губе. Потяни за последнее слово,
за краткость конца, за отчаянный всхлип,

и зеркало дрогнет, покроется рябью,
сухой чешуей говорящих осин.
Какой-нибудь старый седой господин
слегка приподнимет в приветствии шляпу

и дальше пойдет. Так минует среда.
Зачем у дверного звонка тушеваться.
Давайте, давайте, давайте прощаться,
давайте прощаться уже навсегда...

Среда не зашла в эту комнату, значит,
ты все еще там, на нетопленной даче,
среди достающей до неба травы,
среди пустоты заведенного быта,
где собраны вещи и книга закрыта,
но ты не готов еще бросить, увы,

ни этой коробки, зовущейся домом,
ни черной тоски, что в груди метрономом,
свое отмеряя с неделю, не врет.
Ты ищешь на полке последние сроки,
и моешь в тазу свои пыльные ноги,
и долго сидишь в темноте у ворот,

где слышно, как брешет собака чужая,
и видно, как выше, по млечному краю
вселенная рвется, и близко гроза.
Скрипит флюгерок, и качаются ветки.
Так редко грустишь ты и плачешь так редко,
что кажется слишком горячей слеза.

Оттого, что край света так близко,
наше общее связано с риском,
постоянно нас тянет сбежать.
Несуразный паук-косиножка
по стене, как по книжной обложке,
обозначил, кого из нас звать



будут долго по имени. Впрочем,
все я вру – неразборчивый почерк,
нечитаемый буквенный код.
Мы с тобой убегаем, как строчки
по веревочке в мелкие точки,
в сургучом запечатанный рот.

Оттого, что стоят вавилоны,
люди к спорам бессмысленным склонны,
языки их разнятся во всем.
Мы с тобою друг друга не слышим,
только письма без адреса пишем
и в почтовое чрево суем.

Андрей Нитченко (Ярославль) ЯБЛОКО – ОБЛАКОМ, ОБЛАКО - ЯБЛОКОМ

Рань моя, безлюдный дождь,
Ламп оранжевых слипанье.
Подобрал язык название! -
Ранит. Лучше не найдёшь.
А предметы как легки -
Ложечка, постой на милость!
Из стакана на носки
Тянется - переломилась...
Это яблоко в окно
Может облаком улпуть,
Это облако давно
Хочет яблоком побыть.
На велосипеде мимо
Пролетел Екклесиаст.
Рано встал: неповторимы
Этот город, воздух, час.
Он вращает колесо,
В абсолютной тишине
Освещается лицо,
Обращённое ко мне.
На щеке твоей узор.
Бродит сердце налегке.
Лёг последней в коробке
Белой спичкой горизонт.

Ты ли бежишь над собственным отраженьем,
или оно над тобой с той стороны?
Может, не отраженьем звать - притяженьем?
Тонкой преградой разъединены.
Стоя на берегу, с токонтуры облаков, ивы,
себя чуть-чуть.
Но не смогу ступить, там повториться. Ты же
вечен, малыш: стоит перевернуть,
точно часы, если иссякнет лето,
маленький пруд с ряской у берегов.
Так потечёт назад жизнь твоя незаметно
до наступления холодов.
Дрогнет в кустах, крыльями вспыхнет птица,

в небо листу, навзничь плывя, смотреть...
Место в лесу, странное место снится,
где обитателям некуда умереть.
Значит, прощай - я не приду обратно...
Рядом упала капля шаром большим.
Ты отбежал, соприкоснулся с братом
и отражением поменялся с ним.

ДВА ОТРЫВКА

1.
Я думал - он воздуха горного имя,
где выстрел ударит и эхо, шатаясь,
обходит ущелья, срываясь, взбираясь,
бросается вниз, исчезает в стремнине -

вот Лермонтов. Да перекрёстком пустым
он веткою выкинет из темноты.
Ещё он - те валенки, полные снега,
светила январские в чёрной оправе,
еловые пагоды, сердце от бега -
во что нас, уснувших, земля переплавит -
в стихию и форму, в растения, в ветром
гонимую стаю, иначе б не вынес
язык, что при жизни - одежда на вырост,
но тесен для родины новой, посмертной

2.
Стрелялся. Опасен. Есть выбор - в двух странах
нам нужен посол (чтобы не возвращать),
и вот Грибоедов катит к персиянам -
Америку позже начнут выбирать -
почти добровольно. К Парижу, к Берлину,
в какую коня ни направишь чужбину,
любую дорогой - на ней повстречает
повозка да два молчаливых грузина.
На каторге этой два века до сих.
И их не спасло то, что не было их.
Событие, вымысел время связует,
в нем три состоянья стремятся друг к другу,
и снова ездок, с сыном, стиснувшим руку,
дороги короткой сквозь лес не минует.

Помнишь девочку? Ту, что кольцо
На площадке – играли в футбол –
Обронила? Десяток мальцов
Ворошили листву. Не нашел
Ни один из нас. Может, и там
Ничего не терялось тогда,
Но и все же – работа ногам,
Пища зренью... Пришли холода.
Пал снежок, и никто не узнал,
Было что-нибудь или она
Спихнулась не там. Подобрал
Кто-то после? Никто. Тишина.
Мы ли Бога забыли? Да ист.
Мы всю жизнь проискали Его,
Как колечко в листве, как предмет,



В мире спрятанный лучше всего.
 Близко, Господи мой, горячо?
 Как найти – не открыл, не сказал.
 И невидимый – был за плечом.
 И не найденный нами – спасал.

Как лес погас, как облик поменял!
 В нём перед окончанием листопада
 страх пустоты. Как смотрит на меня
 осинка в четверть детского обхвата!
 Спаси меня. Последний лист. Возьми.
 Скажи меня. Не упрекай в уроне.
 Будь временем. Будь нами. Будь людьми.
 Я лист беру. Обожжены ладони.
 Как бы больной, лежавший много дней,
 лежавший, головы не поднимая,
 я возвращаюсь. Мы в сто раз бедней,
 мелодии утрат не понимая.

И с удивленьем я смотрю на всех:
 как чисто всё! Как Богу удалась мы!
 Уже невиданный ложится снег.
 Как наша память в следующей жизни.

Почему в очертаниях лиц предпоследних царей,
 предпоследних царей и цариц
 обречённость ясней,
 чем в последних? Как будто они
 на себя её взяли
 и остались в тени,
 чтобы дети не знали.
 В этом южном дворце
 влажный воздух прохладен.
 На стене, на крыльце
 созревание больших виноградин.
 Этажи. Зеркала. Монограммы. Костюмы.
 Кто поверит, что здесь кто-то жил
 или умер?
 В низком зале вдоль стен
 в полутени портреты.
 На оконном кресте
 выступы позолотой одеты.
 И во всем – неотчетливый звук
 нарастающей зры.
 В императорском книжном шкафу
 сочиненья Вольтера.
 И еще донеслось, будто женщина произносила:
 ...Что бы там ни стряслось,
 Саша знает, как править Россией.
 Больше ста лет назад не говорила,
 Не держась за перила, сбегала в сад.

Костистые кусты, бесстрашные деревья -
 Какая благодать в моём окне!
 Какой безмерный вид! И он внушает мне
 Доверье.

А в комнате моей - кровать и гряда книг,
 Лежащих на полу, листки, одежда.
 Я в ней не задержусь. Добавлю: и в других.
 А те, что

Здесь после будут жить (добавь: уже сейчас),
 Быть может, все расставят по-другому.
 И только эта даль останется - как часть
 Их дома.

Сильнее тянет нас, верней всего ценимо
 Лишь то, к чему не тянется рука,
 Что высказать дано, домолвить языка
 Помимо.

И если там, куда нацеливаем жест
 Рук, сложенных на грудь, - простят грехи,
 обиды,
 То были мы хоть раз для света этих мест
 Открыты.



Ник Парусник (Вологда) РАДОСТИ ГЛОТОК

Растровая женщина - конкретная женщина
 векторная женщина - абстрактная женщина
 растр в виде вектора - вполне так достижимо
 вектор в виде растра - почти невозможно.
 цвет и толщина контура (возможно прозрачный)
 Вы про женщин говорите или
 про графические форматы?
 Вектор в отличии от растра хорошо ресайзится.
 Твой фотоаппарат делает
 векторные фотографии?
 Женщины. Многоугольники. Окружности
 и эллипсы. Кривые Безье. Безигоны...

То время,
 когда жду сигнала, -
 о нет, не девушки,
 а светофора жду зеленый свет -
 я предпочитаю думать,
 а иногда заглядываю в лица,
 что в автотехнике сидят.
 Сегодня решил устроить
 задачу посложней себе:
 решил рассмотреть я даму



сквозь затемненное стекло.
 Я вижу стройное лицо,
 брюнетный милый
 короткий волос,
 и вот включился этот
 светофорный свет,
 а между нами
 всего лишь метр,
 а эти черные очки
 и поворот ее прекрасной головы,
 пересечение наших взглядов -
 да, знаю эту я миледи
 не только зрительно,
 не только отзывы друзей,
 а то, что помогает видеть
 сквозь стекла черной пленки
 авто, и смога, и очков,
 да, это чувство -
 мне чувство помогает знать тебя.

я жидкость перелил в пробирку,
 что с химии урока была уведена,
 теперь сквозь группу капель
 смотрю я в монитор.
 Еще не знаю, будет кислой она от яблок
 или горькой и спиртом отдавать.
 Еще момент - и сделаю я маленький глоток.
 Волнуюсь даже перед этим.
 Мгновенье - раз,
 мгновенье - два.
 Теперь сижу я улыбаюсь,
 название бы теперь я должен дать.
 О боже мой, пусть будет это радость,
 да, радости глоток мне довелось испить.

она продолжала улыбаться.
 он смотрел ей в глаза и находился
 в глубоком смятении.
 он хотел закрыть свое лицо руками.
 она продолжала улыбаться.

он сбивался вихрем,
 он крутился в беспорядке,
 он окутался замешательством,
 он крайне волновался,
 он значительно порастерялся,
 он озадачился,
 он поставился в тупик,
 он впал в нерешимость,
 она продолжала улыбаться.

Торговец красками мне продал только желтый
 цвет.
 Теперь все чувства - этого оттенка.
 А в роли этого торговца

Моя любимая шатенка.

Ту ю
 со скоростью
 в одну милю
 в минуту
 я мчусь,
 но, видимо,
 промахнусь.

Да, привет передаю,
 да, тебе,
 но не как у Вики
 и не Вике,
 да, почти отцу,
 но не отцу,
 не Сереже
 да - да, тебе,
 учителю моему,
 на которого я злость таю.
 Ты украдкой читаешь,
 режиссером называешь,
 и великим и могучим
 тоже называешь,
 привет тебе
 ночью прочитаешь!

число родинок
 на теле у Вики,
 хотел было я сказать,
 но жадность берет свое.
 жалко просто так отдавать
 это немислимое
 количество телесного кофе.
 как она говорит,
 если взять их, размешать в стакане,
 а потом на тело выплеснуть,
 мулаткой в итоге можно стать.
 Ну да ладно,
 а родинок-то 200 штук...

Про женщин давно хотел написать,
 есть что сказать.
 Но рука не пишет,
 скрывает маркером по картону.
 Вчера я силою своей
 и могуществом мужским
 довел до слез женщину
 за проступок ее мелочный,
 принижал и жестко плетью бил
 оголенную душу хрупкую,
 любящую.
 Ничего, думал я,
 "наказанье мир спасет" -
 с оскалом вырывалось.
 Господи, и откуда ж



шла это дикая злость?
И вся-то разность
мужского и женского.
Но как же так
научиться мне
женщиной быть -
не мстить, не бить,
не унижать,
не обижать,
не оскорблять.
Этот слабый женский пол
не собирался завоевывать
здесь никого.
и от сильных
и требуется лишь
слушать, беречь и любить.

сереженька бабкин
такой классенький
ведь он артист мастерский
и жена у него блондиночка
лиличка.
сиджу на концерте
диссонансы слышу
от стен отражающиеся
ругаю, пытаюсь.
ничего не понимаю
мужчина в маске клоуна
на высококого ревом походит
на следующий день диск его слушал
доходило
а еще на следующий день
три песни ставил в течение
трех часов. Понимал.

Яркая Вика у яркого Матисса,
а я румяный, пораженный убранству
царскому, шикарному.
Количеству объемного всего вокруг
в этом эрмиtage,
скажем,
из полосочек подушки,
ведь оттуда все идеи, мысли,
разложенные в трех этажах
вокруг трона царей
и висят и спят тетки
хранительницы музейные
а Вика проникая в картины
заработала 160 ударов сердца в минуту
а я взволнованный-довольный фотографируюсь
на фоне самого себя множественного
руками из чьей-то головы выложенный.

Нина Писарчик (Вологда) БЕРЕЗЫ В ЗАПЛАТАННЫХ ПЛАТЬЯХ

С жемчужинкой серое небо
Просвечивает насквозь
Зубчатые абрисы елей,
Ажурное ню берез,
Роняет на снежное поле
Голубоватую тень...
Такое для взора раздолье,
Что думать о чём-то лень,
А только смотреть в окошко,
Как стекленеет река,
Как невесомой порошей
Секутся облака...

Обмелела реченька, обмелела...
Улетела доченька, улетела, -
Дальняя сторонюшка поманила,
Чужеродна мальчика полюбила!
Молодца красивого, небогатого,
Неучёного, зато тороватого...
Будет ли та реченька наполняться?
Как-то будет доченьке поживаться?!

Босячки-березы
В заплатанных платьях,
Не внемля прогнозам
Недавней зимы,
Забыли про стыд и
Готовы в объятья
Неверного лета...
Их лето листвою дарит!..
Гнездясь в поднебесье,
Грачи на весь лес
Раструбили про это
С подачи кукушки-кумы!

Совершенно чудесное утро!
Краше этого – и не бывает!
Новорожденный мир как будто
Из купели, - росу отрясает...
На рассвете совсем не верится
Неизбежности вечера!
Будет лучше, - наивно надеешься,
Чем бывало всегда и вчера...
И надеждою этой спасаешься,
Ожидая сумбурного дня.
В стародавних грехах раскаешься,
Пока утро стоит у окна.

Медно-красная денежка солнца,
Продырявив небесный карман,



Озарив напоследок оконца,
Провалилась в лесной океан...
О потере такой стонут выпи,
Повторяясь: «Ах, выпить бы, выпить!...»
Закурилась туманом река,
И горят от стыда облака.

Черно-белая графика

Ах, как белеет снег
Под черной пустотою...
Луны фонарь померк
Пред этой красотой:
Фигурный, словно пряник,
Собор в простой оправе
заняты Высоковольтных линий...
А люди ходят мимо
И беседой,
Не замечая даже
И не внимая также
Торжественности этой...



Алла Райдль (Австрия) ОТПРАВЛЮСЬ В ОСЕНЬ

Я пожелаю перемен -
Отправлюсь в осень.
Мне ливень нужен, а взамен
Дождь в малой прозе.
И я собью его тона
Оттенком дыма,
Чтоб сжечь и письма, и тома
Необратимо.
По мёртвым буквам разорву
Живую крону,
На землю павшую листву
Огнём затрону.
Эпохи жёлтый манускрипт
С порывом ветра
В последний раз заговорит
И станет пеплом.
Природы изменяю вид
Чего же ради?
Но белый слог уже летит
На грязь бумаги.

Бабочка тихо пела мне песню
О том, как была влюблена,
О том, что куколкой жить интересней,
Да те уж прошли времена.
Ещё рассказала, как кто-то старался
Поймать её в жёлтый сачок.
О том, что кузнечик в любви объяснялся,
Но мир подарил жучок.
И платье из шёлка давно износила -
Поблёлка на крыльях пыльца.
Она бы пыльцу золотую купила
Да слишком большая цена.
А ночью вчера залетела в окошко,
Но неба в стекле не найдёт.
Шептала, что жить ей осталось немножко
И вскоре, засохнув, умрёт.

И снится мне,
Что я в Китае
Бреду по улицам Парижа...
Логичность сна
Двояка,
Тает,
И не пойму,
Зачем я вижу
Бутоны расцветший орхидеи,
Что нарисован был
Пастелью
Столь пасторально!
Грифель нежно
И мягко вывел на бумаге
Его черты,
Его дыханье
И театральной
Деталью
Украсил свод небес
Базальтом.
И звёзды вспыхнули,
Как сталь,
Раскалены
Желанья ночи.
Но...
Утро будит,
И нарочно
Размыло краски -
Блекнет сон,
И смысл цветочный
Утаён.

Ихтиология

Сегодня - первое,
Месяц - январь,
Две тысячи третий год...
Наверное,
Надо сменить календарь.
Нет. Календарь подождёт.



Вспоминаю:
 Верно -
 Я не летаю,
 А жаль.
 И повторится, как встарь, -
 Каждой летающей рыбе
 Найдётся сачок и рыбарь.
 И лов на неё пройдёт.
 И полёт.
 Да...
 Беда...
 Не везёт
 Даже тебе - «нерыбе».
 Ты оттиск на гипсовой глыбе -
 Ты просто по форме отлита,
 Копия ихтиолита:
 Плавники -
 Крылья -
 Руки погрязли
 В ихтиолово - горной мази,
 Чтобы запах был, как у рыб,
 Святым молчаньем проник,
 И божественен, и велик.
 Только РЫБА - ЕГО реликт.
 Но не твой.
 Тогда развлечения болтовней
 Немой,
 Накорми,
 Ихтиолом брызги -
 Святою слюной,
 Умри,
 Рот, как рыба, открой
 И вой
 У себя внутри.
 Пусть зачтётся тебе за стихи -
 Грехи,
 Они всё равно глухи.
 Да и кто твой рыбарь?
 Возьми в женихи!
 По-семейному рыбой молчать.
 Календарь повесить
 И, плкнув, начать
 Год или жизнь опять.



Татьяна Ржанникова
(Череповец Вологодской обл)
ФЕВРАЛЬСКАЯ СКАЗКА

Электричество снежных путей
 По кистям обнаженных берез,
 По сырой обреченности крыш
 Пробралось в мой замшелый покой.
 Я уже не ждала новостей.
 Мирно дрых обленившийся пес.
 Я сказала предчувствию «кыш!»
 И махнула на все рукой:

Нам с отчаяньем по пути -
 Не буди меня, не буди!
 Только ветви рвались в окно
 Незашторенное...

И однажды, в разгаре вьюг,
 В снежных завертях колеся,
 Странник в мой постучался дом,
 Чтоб остаться в нем навсегда.
 Помню ухнувший сердца звук,
 Цвета стали его глаза
 И веселый хрустальный звон
 Льдинок, падавших с рукава.

Он весну мою - по пути -
 Разбудил-таки, разбудил!
 Только ветви рвались в окно
 Незашторенное...

Он пришел из старинной страны,
 Той, что даже на картах нет.
 Он был старше меня на сто
 И мудрее на двести лет.
 Показал, как раскрашивать сны,
 «Голова - это лишь мольберт,
 Чистый лист, на котором все
 что угодно напишет поэт.

Электричество снежных путей
 По прожилкам сплетенных рук
 В нас струилось из века в век,
 Словно вирус, вплавляясь в кровь.
 Вместе жить, вместе ждать новостей,



Вместе – вплоть до предсмертных мук ...
После нас - бледнолицый снег
Под другой перебрался кров...

Я приглашу Февраль в свою квартиру
Погреться перед затяжной весной.
От долгого скитания по миру
Он был такой уставший и больной...

Он чай хлебал, рассеянно вздыхая,
Потряхивая пегой головой.
Он чем-то был похож на самурая -
Но только без меча и с бородой.

Он сыпал снег из пригоршней на блюдо -
Тот превращался в сахарный сироп.
Он сетовал на то, что все смеются
Над ним. Мрачней, морщил лоб...

А я сказал ему: дедуля, хватит!
Ну что с того, что рьяная Весна
полонила в спелые объятия
Мальчишек вздорных и свела с ума
Моих сограждан, жаждущих капли,
Уставших кутать нос в воротники,
Упрятавших пуховые постели -
На целый год - в кладовки под замки.

Пойми, никто Тебя не осуждает,
Но передышка все ж не помешает.

И в долгих спорах наших дни струились,
До той поры, пока не зазмеились
По стенам кухни сочные лианы
И пол расцвел диковинной поляной.

Стволы травинок щекотали ноги
Стозимного дряхлеющего бога...

И радость забрела в жилище наше
И, блик метнув в глазницы старика,
Разбрызгалась по дому полной чашей
Чудесного на вкус шиповника.

Страхнув с одежды крохи стьлой глины
И в бороду ромашку заплетая,
Ушел Февраль с лукошком за малиной
В зеленый лес. Гулять. До Января.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Волокна дождя на стеклах -
Как ниточки серебра.
Вчера все казалось блеклым.
Вчера...

Стигматы души врача,

Я залпом природу пью.
Воздушные поцелуи
В дождливую шлю струю.

И радуюсь, как ребенок,
И шлепаю босиком
По насту сырых пеленок
Травы, окружившей дом.

И радостно-хрупо где-то
Внутри...
Я ловлю Любовь,
Ссыпающуюся с неба
На кручи моих голгоф.

А завтра – наступят будни,
И просеки вновь рубить...

Но голоса этой лютни
Небесной – не позабыть.

Хранимы единой тайной
Травинки сплетутся в сноп.
И будет над ним венчальной
Мелодией петь Любовь.

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Отдать все, чтобы быть
Зеркалом в доме твоём...
Лелеять изгиб ресниц. Стыть
Изморосью стекла от
Ошпаренного дыханья.

Пройти по росе вещей слов,
Теплом лоскутным укрыть;
Лишь бы тебе – сон тих,
Незамутнен, покоен.

Отдать все, только б взгляд –
Этот гимнаст скользящий...

Загнать отторжение внутрь,
В сердцевину падальца – яблока.

Жизни срок мотать,
Удвоенный счетчик включив...
К чертям тормоза!
В пол педаль – и ...
Пусть – обрыв...

Все отдать...

Лишь бы песням Твоим – высь,
Духу – яблочный спас.

Погоди.
Позволь



Вызвать,
Выболеть,
Вызволить,
Выговорить Тебя...

Ах, да – как могла забыть –
Волен Ты...

Недолго
еще

я.

Занавешена ночь черным облаком.
Лик звериный на облаке том.
Где твой путь?
Слышишь, мечется колокол -
Это твой несотступный фантом.

Ты с рожденья повязан с дорогами.
В сноп взаимных и верных страстей.
Байк да ветер попутный. А много ли
просит плоть?..
Ни чинов, ни мастей
Ни регалий...
Какие там доводы!
Сбиты пломбы с насиженных мест...
Молодая луна ходит по воду,
В те края, где ночует норд-вест...

Только жизнь в бесконечном кружении
Не простит тех, кто верой ослаб.
Восприми эту боль как спасение,
Распрячься - ты не шут и не раб!

Александр Розанов (Бабаево Вологодской обл) СНЕГ - ЭТО СОЛЬ

вискозная зима опять
к тебе протягивает взгляды
посеребренные наряды
ты начинаешь примерять
на завтрак кофе с молоком
метаний летних нет в помине
блаженствующий ковкий иней
за подмороженным окном
и непреклонностью границ
блестит раек с оттенком стали
тебе еще не целовали
засахарившихся ресниц

...Когда от тебя потребуется чудо, стань как стоишь и
вникни в одухотворенность линии - именно линия
связала обнажающий свет с плотью и глиной. Поймай
кривизну ключицы, подреберных впадин,
обозначенных скул, уже спешащую, ползущую в
небытие. Обведи, удержи пальцем - нужно быть
художником, чтоб точно повторить в воображении
рожденное природой. Очисти душу от сострадания и

жалости, сентиментальность бесплодна - это
подтвердит всякий хороший хирург - пусть зависть,
жадность и алчная ревность раздерут сердце, и пусть
будет непротивление непоправимому. Теперь говори:
встань и иди!

до времени бессонных капель нацедили,
еще б отпить студеных темных слов,
на лебедином корабле, минувя мили,
плыть краешком земли и крепких снов.
Скрипит механика сапфирового неба -
звездчатый шарик на стигийских берегах.
Чернее солнце - камень, пасмурная нега -
расплавит воду в ключевых руках.
Поплачет над собой красавица-химера,
под полотном льняных крахмальных парусов,
со дна бессмыслицы в паскалевскую сферу
течет песок расколотых часов.
Раствор оседет шепотом у изголовья,
в хрустальной склянке отстоится суть.
В чужой душе потемки, как в глазах воловьих,
своя темнее будь и естество забудь.

Порочность принимать за красоту
влюбляться в цвет надменной поволоки
искать звезду среди корней осоки
со скуки утонувшую в пруду
и грустным снам предаться без оглядки
причудливых фантазий нищете
А чуткий сфинкс в тщеславной суете
введет в соблазн шемяшею отгадкой
волшебный плод вкушает бедный ангел
в недоуменном пропадая трансе
и счастлива в угаре на лету
лизнет плечо истонченная лапка
такой досрочной бескорыстной лапкой
что плата за нее потом в аду

снег это соль
соль это праздник
пылью рассыпанный по польным ладоням
промеж искристых волосков
до локтя и выше
на плечи
снег тает в царапинах
синие реки каскадом
несут свою воду
наружу на камни
пар от дыхания
ложится на горечь травы
иголками каменной соли
подснежное сердце
свернулось в клубок
на открытой степи ладони





Денис Романенко (Вологда) СНЕГА, ДОЖДИ И ВЕТРЫ ГОРОДА

Город, околдованный
Серым холодом –
По колдобинам
Ранняя мгла,
Змеи-колокола
Расползались звонами
Над домами сонными;
А не солоно –
Спать века
Всем, да не ворочаться,
Думать – ночь долга,
Верить – солнцу не хочется
Всё петь да парить,
Греть нас да жить,
Да гореть, что от боли –
Все жилы в нить.
А не трогай солнце – ему не в счёт
Ни позоры наши, ни свой почёт,
Не зевай,
Не выбить сна из тупой башки,
Вставай
Да собирай поди камешки,
Что судьба забросила в огород –
В свой, соседский ли, а всё – твой черёд
Головой трясти
Да поля мести,
А огонь в горсти
Стиснуть да спасти.
Да только ты его теперь на волю выпусти.
Знаю, это словно душу вытрясти,
Свой-то пламенек, сердцем вскормленный,
Подарить свободой – чужою волею,
Своею дурью - теменью накормить,
Чтобы после по миру отпустить –
Пусть гудит у каждого в злой печи,
Искры-то на памяти горячи,
Пускай все камни за пазухой жгут –
не стынут, как в огне кирпичи,
Сгодятся тем, кто всё ещё зубами стучит,
От зла ли, холода – грей, не ворчи,
Да о радости своей не жалей, не кричи,
Раздай, кому надо,
Да присядь тихо рядом
У чужого костра,
У вольного огня,
До белого утра,
До светлого дня,

До тёплого звона,
До ожившего сердца
Солнцем – стоном,
Помоги разгореться...

Беззвучно и страшно падает снег,
Крутит колбочие калейдоскопы.
А на дворе – начинается век,
И человеку вослед человек
Торит звериные тропы.
Жарко становится в лютый мороз,
Жалко непонятых маминых сказок.
И за кого-то обидно до слёз;
А может – за все сразу.

Сыном ли Божьим для этого быть?
Чтобы любить, не убить... не забыть...
Не возжелать, не украсть... не купить,
Да не продать святое.
Богом ли быть – Человека молить
Не расставаться с душою?

В мире заснеженном,
Болью изнеженном
Жить

Город за зиму привык
К подвенечной снежной пряже,
Белой вьюги воротник
Нежен, словно пух лебяжий.
Город кутается в снег
И не верит в день весенний.
Зря замёрзший человек
Ждёт зелёное веселье.

Лучше опять
Всё позабыть во сне.
Рано вставать -
Город не рад весне.

Паутиной ледяной
Город заковал дороги.
Точно лёд над головой,
Звёзд холодные остроги.
До земли колочий снег
Перерезали тропинки –
Ждёт упрямый человек,
Ищет первые травинки.

И снегири
Не о любви поют.
Он до зари
Смотрит с тоской на юг.

Падал снег - осторожно и вечно.
Падал снег, создавая сугробы,
Заметая весь мир человеческий.
Человечек прокладывал тропы.

От дверей - до душевных скамеек,
От церквей - до заснеженных речек.
По затянутым ветром аллеям
По сугробам шагал человек.

Беспорядочно с виду, без цели...
Но взглядишь в этот путь снежно-млечный:
Здесь он с другом встречал метели,



Здесь с любимой смотрел на речку.

Будет День - и прогонит вьюгу,
Будет День - и случится счастье.
Потому по снегам друг к другу
Человечки идут в ненастье.

Пусть не в силах разогнать
Холод пламя человежье,
Человек не может ждать –
Он встаёт и топит печку,

Варит кофе на огне
Для себя и для любимой.
Значит, всё идёт к весне,
Как всегда, неумолимо.

Город от сна
Очнётся и всё поймёт –
Будет весна,
Если душа поёт.

Не поломать,
Не изменить закон –
Не избежать
Весны, если ты влюблён.

Летящий снег наполнил перламутром
Февральского рассвета акварель.
Это утро! Наступает утро!
Мы не спим, мы слушаем метель –
Не страшны февральские сказанья,
В них тоска по гомону ручьёв.
Кажется – от нашего дыханья
Со снегов исходит семь потоков.
Знать, сегодня маги мы с тобою –
С крыши уже срывается капель...
Всё, как нашей первого весною.
Посмотрите, в феврале – апрель!

Последний день, последний день Зимы
Цветы на окнах превращает в слёзы.
Последний день, последний день, когда беспечны мы.
Последний день... А завтра мы серьёзны.

Уходит снег, уходит навсегда,
Краснеют губы, и теплеет ветер.
А в мире, всюду в мире - неуютная вода.
Уходит снег, а солнце всё не светит.

Последний день, последний день Зимы,
Последний день танцующей метели.
Последний день, когда идём навстречу ветру мы
В предчувствии весенней канители.

Последний день снегов - о чём грустить?
Последний день - и это тоже праздник.
Снегам дано один лишь раз весь мир заворожить,
И снег в неповторимости прекрасен...

Последний день, последний день Зимы
Цветы на окнах превращает в слёзы.
Последний день, последний день, когда беспечны мы.
Последний день... А завтра мы серьёзны.

Час ветра

1.
Видеть, как летят птицы,
Слушать пенье акына
На распутье-границе
В шалаше паладдина.
Жечь побегу тревоги
В костерке-без-печали,
Ведать сказки Дороги
О конце и начале.
Не тревоги, но травы
Плети гибкие плещут.
Здесь нам, пьяным, но правым
Сон привидится вещей.
Тихо шепчутся сосны,
Где-то прячется ветер,
Здесь песок самый тёплый,
Самый медленный вечер.
Опустись на колени -
Море кинется в руки,
Волны в розовой лени
Убегают от скуки.
В их фарфоровой пене -
Пенье тени рассвета,
Блеск твоих отражений...
Час ветра.

2.

Стань мишенью улыбки -
Грехи так забавны...
Мудрость - в каждой опибке
Поющего фавна.
Мудрость - в каждой улыбке...
Отнесись благосклонно!
Безмятежный и зыбкий,
Твой цветок на ладонях.
Томный хмель аромата
Трав, сожжённых в огне,
Нас ведёт от заката
К обнажённой луне.
Сто туманных намёков,
Пыльный шёлк, как броня...
Повернувшись к востоку,
На дорогу огня
Пыль немых одеяний
Сбросить - платья и плети,
Дверь любви и желаний
Распахнуть на рассвете.
Дверь зелёного дня,
Сон, что может присниться...
Но, глаза закрывая, -
Видеть, как летят птицы...
И луна ушпывает.

ДОЖДИ И ГОРОД

1.

Промокший Город с вялой нитью
Когда-то ярких фонарей,
Горящих больше по наитью,
Чем для кого-то из людей,
Поскольку – ночь, немного света
Любому сумраку должно
Быть придано. Вдали – темно.
Вдали, должно быть, даже лето.
А здесь – закончился июль.
Промокший Город с фонарями
С дизайном, слизанным с кастрюль,
Умылся горькими дождями.



Его безумно тянет в сон,
И все жилищцы его уснули.
Какое солнце?! Моветон!
Спят тучи в хмуром карауле.
Пройди сторонкой этот край –
Ему не горе жить в покое
Дождей, ты не переживай,
Но для себя ищи другое...

2.

Дождь означает необходимость
Зонта, ботинок; непроходимость
Знакомых тропок – теперь там лужи.
Дождь означает – могло быть хуже.
Дождь, если вдуматься, благороден –
Он не заходит в дома без стука.
И дождь естественней по природе,
Чем Город. Так говорит наука.
Наука знает, как сделан Город:
Стена, дорога, бетонный короб,
Стекло, железо, простые краски...
Наука знает, какие маски
Наденут люди, какие чувства
Их маски значат, но вряд ли сможет
Им объяснить, почему так грустно
Смотреть на дождик...

3.

Кому-то покажется сумрачно быть таким:
Дома, тупые булыжники мостовой,
Пустые церкви, развалины вдоль реки,
Улицы, площади, скверы, мосты над рекой.
Вялые тополя, трава марсианского цвета. Жара.
Глухие фонтаны, крикливые продавщицы
Горячей воды (в жару и она «на ура!»),
Забывшие урны, пыльно. Бомжи. Девицы.
На этом блаженном фоне – толпа. Её
Вряд ли пугает старый небритый Город.
Пёстрые юбочки, шорты...

Человеческое воронье.

Ей что-то надо, толпе, каждый час ей дорог.
В этом – счастье толпы. Суета сует.
Не стоит изобретать вечный двигатель – вот он,
Здесь, живой и воняющий. Миг – и его здесь нет.
Он в очереди за мороженым где-то за поворотом.
Пустой перекрёсток. Стадо пустых колесниц,
Именами напоминающих кто гору, кто реку.
В сером тополе – груды усталых птиц,
Поющих про “That’s All Right”,

что слышно как «кукареку».

Мне надоело. Свинец городской реки
Говорит о непознанных элементах
Таблицы Менделеева. Уголки
Отдыха там – что мумии в позументах.
Надоело. Я вызываю дождь.
Холодеют нервы канализаций.
Это старость. Ветер рождает дрожь
В членах улиц. Мне некому в том признаться.
Слава Богу! Так хочется ураган.
Я устал за кулисой хмельных заборов.
Если б Город мог выпить, я был бы уж точно пьян –
Постоянно, мертвецки. Вот так и топил бы норы
Свой бродяжий в сумрачных миражах
Берегов и прибрежных скал, кораблей, повозок,
Не качал бы стены в своих домах –
Просто спал бы... Поздно. Бог видит – поздно.
Этот дождь идёт, настоящий пквал,
Я молил о нём – день за днём, столетья,
Лучший врач для Города, что устал.

Всё. Спасайтесь, Люди, чужие дети...

4

Post Vitum

Ну вот, я почти Атлантида... Хуже –
песчаный замок на старом пляже,
который не будет никем разрушен –
это просто некому сделать, даже
ветер, кочующий вдоль прибоя,
и тот давненько меня оставил
в покое, в полном, глухом покое,
без музыки флагов, дверей и ставен,
без парусов – шлюп, болтавшийся у причала,
теперь на дне, там живут моллюски,
ну, а им – хоть потоп, лишь бы не мельчало,
что совершенно не по-французски.
Мусор, счастливый своим покоем,
не торопясь засыпает улицы;
даже мусор станет культурным слоем...
И море, при мысли об этом, хмурится.
Единственный символ непостоянства,
Море, граница забытой жизни.
Я ощущаю себя иностранцем,
пытающим счастья в чужой отчизне.
Нелепо. Попросту бесполезно.
Чужбина – место, откуда стоит
лишь возвращаться. Но я отрезан
от мира тех, кто меня построил.
Для города родина – это люди,
их очаги, их родные лица,
их... У меня их уже не будет.
И я свободен, самоубийца.

Может быть, кофе сварить?
У меня получается вкусно –
На костре, чтоб с еловым смолистым дымком.
Жалко, с утра уходить...
Нам ведь будет чертовски пусто –
После тысячи зим с одним на двоих костром.

Прохладно уже, подкинь можжевельника пышную
лапу,
Чтоб колочий огонь раскидал свои искры меж звёзд.
Ветер ищет струну, видишь – дождик тихонько
закрапал,
И туман заплясал, отражаясь от белых берёз.

А ручей, где кололи лёд
Чтобы воду добыть, оттаял.
Весь до дна, а вода – всё равно со льдом.
Слышишь, как он поёт,
Как будто уже скучает
По нам, после зим с одним на двоих теплом.

Раскидала заря окрест серебристого инея пламя.
Первый солнечный луч всё окутал морозным огнём.
Холода и дожди все уйдут в аккурат за нами.
И начнётся весна. Время жизни. Пора нам, пойдём!





Елена Смиренникова (Вологда) ДОРОГА ДОМОЙ

В синеве окружающей ночи
Появляются поодиночке
Отголоски давних пророчеств -
Белый, белый, красная точка.

Лишь оранжевые квадраты
На коричнево-желтых стенах
Да шуршащие мимо раскаты
Говорят обо всем откровенно.

Паутина сжимает дорогу,
Вырастает причудливой аркой.
Здравствуй, юный мир-недотрога,
Самый лучший из всех подарков!

Снова он ходит по крыше
И ничего не слышит,
Но оставляет следы
Стеклам в потоках воды,
В шорохе ветра и стуке,
Что говорит о разлуке,
В смехе раскатистом грома -
Снова не выйдешь из дома.
Он отделяет от мира
Смертных простых и кумиров,
Но переносит по нитям
Тех, кто друг другу не виден,
Соединяя в пространстве
Те ощущения странствий,
Что так стремятся к покою...
Быть мне рядом с тобою...

Я разбегаюсь, и вот я - ветер,
Открываю твои секреты
И, растворяясь в небесном свете,
Я в тенях повторяю все это.
Я наполняюсь морской водою
И несусь корабли теченьем.
Я растекаюсь по стеклам слезою
И становлюсь для тебя вдохновеньем.

Я - в звуках и тишине,
В отсветах на стене.
Я - в ваших душах, на море, на суше,

В воздухе и воде, я почти везде.

Я распускаюсь цветком на поляне,
Падаю с ветки сосновой шишкой.
Я - твои мысли и то, что в кармане,
Слезы, смех, записная книжка.
Я - твои чувства и сомненья,
Оглядишься - я рядом где-то.
Я - это ты и твоё поколение,
Внутренний голос и голос планеты.

Что я люблю

Люблю огромное закатное небо с переливом в радугу на горизонте. Люблю смотреть на водоросли в канавах и застывшие капельки под сосулькой. Люблю сидеть в дождь на подоконнике в темной комнате и смотреть на улицу. Люблю слушать тишину, лежа на сцене. Люблю запах печеного лука. Люблю «отрабатывать» слова до предела. Вырывать из них все возможные и невозможные внутренности, лобовые, потайные и несуществующие смыслы. Люблю в спорах доводить вопрос до предельной конкретики и оставлять многоточие. Люблю покой в состоянии движения. Люблю состояние любви. Любви, влюбленности, любимости, нелюбимости, любвеобилия... Каким бы оно ни было: реальным, нафантазированным, подсмотренным, додуманым... И просто люблю...



Ната Сучкова (Вологда-Москва) И В КАЖДУЮ СТРОЧКУ ВПЛЫВАЕТ РЕКА

ты идешь по небу, ветров ловец,
и швыряешь оземь
с рукавов монетки - золотой тунец,
рыбий паровозик,
а в садах прибрежных инжир, миндаль -
полные карманы,
и на листья сыплется киноварь
из твоих дырявых,
примеряешь, где повыше залезть



и куда забросить
золотое солнце за сухой конец,
как арбузный хвостик.

На этом месте в книгу заложена бумажка -
Обычная бумажка, истертая до дыр,
На этом месте в книге еще немного страшно,
И гречневая каша на вилле Бельведер.

На этом месте жизни еще надолго хватит -
Двадцатая страница, но Ян уже болел,
На этом месте парус качается, как платье,
Как шелковое платье вокруг твоих колен.

На этом месте мир, как окна, занавешен,
На этом месте дом бамбуком обнесен,
А снится, что нашла большую сыроежку
В Малаховке, в бору, и мокнешь под дождем.

И ищет целый двор великую пропажу -
Заблудшую тебя в нахмуренном лесу,
И ясно, что найдут, и страшно, что накажут,
Но сладко, что разбудят не раньше, чем спасут.

Девятое, мистраль, больной соленый ветер,
Затихли голоса ушедших в синема,
Наверх несут письмо в коричневом конверте,
Потом звонок. Потом – зима, зима, зима...

Печорин выходит на леса опушку,
Садится на «Е» из поваленных бревен,
И слышит, как в чаще кукует кукушка,
И теплые листья украдкой целует.
Листаем картинки: Печорин - в Париже,
Печорин - в Тамани, лист вырван - украден,
Печорин уходит сквозь заросли ижиц,
А мы по спине его маленькой гладим.
И я спотыкаюсь на гласных нечетких,
И чувствую - голос, как ветер, замерз.

И видно, как в мазанке дремлет Печорин,
Пока мой директор летит в Пятигорск.
И я заслоняюсь от сильного ветра,
И в каждую строчку вливает река,
Когда отпускает такси мой директор
И слышно, как в небе дрожат облака,
И взгляд его мутен, и лоб его черен,
И между страниц утонула рука,
И смотрит слегка побледневший Печорин
На белую-белую тень Машука...

**

Там, где река повторяет изгиб руки,
скачут и мельтешат блики, флажки, буйки,
и у опоры моста в ледяной воде
крылья и плавники, больше уже нигде...
Легкой бамбуковой воду неслышно тронь,
там, где она повторит, разожми ладонь,

и на воде, от которой насквозь промок,
сердце твое забьется, ухнув, как поплавок.

Много ли нынче воды в Московии?
Много ли льдов к берегам намерзло?
Крепко ли спится за толстыми стеклами
Стеклопакетов окон московских?
Односторонних дорог неверных
Серый асфальт все такой же гладкий?
Сколько теперь поворотов левых,
Не запрещенных на Ленинградке?
Так ли на Соколе воздух орехов,
Так ли темно, как бывало?
Сколько минут тебе нужно ехать.

Учитель причудлив, учитель учен,
И по цепи ходит по кругу,
Я вижу тебя не зрачком, а плечом
Сквозь вязаной куртки кольчугу.
Я слышу сквозь воздух, стоящий стеной,
Твой выдох, как сон неглубокий,
Я знаю - не многие видят спиной,
И я среди этих немногих.
И я среди этих, пронзенных тобой -
Безвольно, бездумно, холодно -
Блуждающим взглядом, случайной стрелой
В сутулую слабую хорду.
И камень дорожный не будет прочтен,
И меч не согреют ладони,
Лишь только усталый учитель учен,
Молчит и не чувствует боли.

Ибо речь прерывается, точно выдох,
Поцелуем, глотком или новым вдохом.
Потому что все, что было, ты выдал.
Потому что все, что сделал ты, плохо.
Остается только взмахнуть руками,
Остается просто поставить точку,
Ибо речь прерывает свое камлание,
Ибо речь превращается в детский почерк,
Ученический - круглый, но угловатый,
Под диктовку в тонкой, как жизнь, тетради,
Ибо речь затыкает собой, как вата,
Ваши уши, не слушайте Бога ради!
Это так же просто, как выпить воздух,
И глотком небесным себя поранить,
Но она остановится только после,
Непрерывная, как дыханье.

Мы делали лодочки на трудах,
Мы мыли руки в твоих прудах,
И если я говорю теперь «да»,
То это все так же невинно,
Как ранцем с веток сбивать листву,
Как мякиш хлебный держать во рту,
И ртом набитым твердить: я расту,
Я как пластилин, как глина.



И можно читать меня наизусть,
 Держать на ладони, пробовать вкус,
 Но я не каждому в руки даюсь,
 И этим в себе повинна!
 А что остается еще? Прозреть,
 Понять: я всего лишь птенец в гнезде,
 И тянется прямо к твоей земле
 Небесная пуповина.

Море, которое помнит, как было огнем.
 Черное море, к которому долго плывем,
 В шатком купе, как на белом большом корабле,
 По российской земле и по малороссийской
 земле.

И проплывают деревни – глухие, немые,
 И проплывают товарные и узловые -
 Снежные, темные и нежилые на вид,
 И понимаешь: оно все сильнее горит.

Жарко горит – развеивается пепел по ветру,
 Мальчик украдкой потрогает за эполеты
 Благоговейно твой китель, не стоит при нем...
 Море, которое помнит, как было огнем.

А, выходя на перрон, ты преклонишь колени,
 Поезд попятится задом по одноколейной,
 И, прикоснувшись к земле, обжигает ладонь,
 Не понимая, где иней на рельсах, где соль...

*Как бы такую штуку на берегу проделать:
 Верное слово галькой выложить на песке.
 Доктор идет в купальню, доктор проснулся
 в девять,
 И преломляют солнце стекла его пенсне.*

И пусть последним станет слово: будем!
 Я это море, точно книгу, перечла,
 Меня, как прежде, умиляют люди,
 Которые купаются в очках.
 Которые прикладывают ухо
 Послушать хрип в его больной груди
 И смотрят так печально - близоруко,
 Что непременно нужно их спасти.
 И вдоль волны за ними вплавь бросаться,
 Ловить очки: держи, держи, уноси!
 И трогать след, который вот остался,
 Как маленький рубец, на переносье.

Алексей Ткачев (Череповец) ГРОЗА ГРОХОЧЕТ НАДО МНОЮ

Люблю грозу вечернею порой,
 Когда она проходит стороною,
 То, черканув надломленной стрелой,
 То, полыхнув оранжевой волною.

А гром летит минуту, две и три,
 А долетев, без силы замирает...
 И мог бы я, наверно, до зари
 Смотреть туда, где молнии играют.

Но тут гроза направилась назад,
 Под тучами зарницы заплесали,
 А гром, как стопудовый самокат,
 Рвет тишину, и спрячешься едва ли.
 А дождь гудит и льет, как из ведра,
 А гром трещит, все небо полыхает...
 Я весь промок, и мне давно пора
 Домой, где в печке угли прогорают.

А утром снова солнце, окоём,
 Безоблачен на синем небосводе.
 Все страхи позабыты, а кругом
 Все хорошо, и радуется погода.
 Люблю грозу вечернею порой,
 Когда она проходит стороною...
 Но также я люблю, когда порой
 Гроза грохочет прямо надо мною.

Июнь

Поет, цветет и светится июнь.
 На землю смотрят тучки изумленно...
 И я себе сказал: - на все наплюю
 И поспеши куда-нибудь на лоно.

Сияет лето солнцем у ключа,
 Глоток воды холодной сводит зубы.
 А ручеек, тихонечко ворча,
 Бежит в свою бобровую запруду.

В лесу холмы уложенной хвои
 Подсчитывает вещая кукушка...
 Но это все трудяги - муравьи
 Устроили от чащи до опушки.

Звенит июнь, прекрасен летний день,
 На все лады насвистывают птицы,
 Горячий свет, спасительная тень
 И этот миг – судьбы моей частица!

Но день проходит, меркнут небеса,
 В лесу смолкают трепетные птицы,
 А на траве жемчужная роса,
 В которую не мог я не влюбиться!

За рекой луна встает -
 Красно-желтый блин,
 Наполняя небосвод
 Обликом своим.
 И становится светлей,
 Выше, выше путь.
 Посмотри, не пожалей
 Нескольких минут.



Посмотри на ясный свет -
Он заворожит...
Пахнет дымом сигарет
И костер горит.
Вот и не о чем жалеть
Ночью у костра -
Под гитару песни петь
Будем до утра!

Подснежники

На светлой полянке, в сиянии дня
Подснежников стайка встречает меня.
Улыбка природы, момент красоты,
Под мартовским солнцем живые цветы!
Как жаль, что не часто увидишь в лесу
Подснежников хрупких земную красу.
Они, словно дети, кружатся у пня,
То снега белее, то ярче огня.

* * *

Чага-Чага-Чагодоша,
Быстротечная река.
Ни жена ты мне, ни теща,
Дно песчаное полощешь,
Подмывая берега.
И весенние разливы,
И осенние дожди,
Светлых песен переливы
По деревьям, молчаливо,
Оставляешь позади.
По веселым перекатам,
Покидая города,
Ты бежишь, бежишь куда-то
Вдаль, откуда нет возврата,
Никуда и никогда.
Но не буду править тризну,
Ты же вспять не потечешь,
А, вернувшись к новой жизни,
Теплым ливнем снова брызнешь
На пшеницу и на рожь!

Дмитрий Туркин (Вологда) КРЕСТЬЯНСКАЯ ДУША

На кухне моей жизни
Кормится всё человечество,
Я никогда не устану
И не покину своё отечество.

А хлеб чёрств, как ваше сердце.
Холодильник пуст, как наша сума.
И горит, как телевизор,
Моя крестьянская душа.

Бедная женщина косит
Для бедной коровы траву,
Слепней и солнце поносит,
Будто в похмельном бреду.

А я стою на крыльчке,
Слушаю смело осу,
Хочу искупаться в речке
И творить безумно хочу.

Смотрю на мужающий стог
И на женщину бедную в белом
И знаю, что так же бы смог
Стихи устремлять свои в небо.

Я мог бы музой-косою
Косить светословья трав,
И рёвом ревмя порою,
И так же губы поджав,

На удивленье коров,
Смог бы в святом вдохновении
Сметать из копен- из строф
До туч стог-стихотворенье!

Но всё на крыльце я стою,
И слушаю песенки ос,
И давно уж найти не могу
Дороги на свой сенокос.

Мы гуляли с ней поздней осенью.
Я шёл и смотрел на деревья,
А она – в полы своей юбки.
Я сорвал с дерева один увядший, тухлявый
листочек,
И вручил его своей попутчице
На память об увядшей осени.
Так и сказал: «На память об увядшей осени».
Она озорно улыбнулась, и мы пошли дальше.

Мы гуляли с ней поздней осенью.
Я смотрел на прохожих,
А она – в полы своей юбки.
Я вдруг увидел дряхлого, безжизненного
старика с клошкойю,
Я подошёл к нему и схватил его

вместе с клошкойю
И вручил его своей попутчице
На память об увядшей юности.
Так и сказал: «На память об увядшей юности».
Она озорно улыбнулась, и мы пошли дальше.

Мы гуляли с ней поздней осенью.
Я смотрел в небо,
А она - на того изношенного,
причмокивающего старичка,
Которого несла в своих руках,
А старик держал тот тухлявый листочек,
И смотрел на него,
И лил на него свои последние слёзы.



Горю, горю, горю,
Смотрите!
Вот сгорела последняя нога!
Ждите, ждите!
Будет гореть и большая голова!

Горю, горю, горю,
Зырьте!
В дыму раскаяний догорает туловище!
Оно, гнойное, верьте –
Обязательно попадёт в чистилище!

Горю-сгораю,
Видите!
Рукам не схватить, не задушить пламя,
Я знаю свои руки,
Привыкшие держать только пламенное знамя!

Горю, в огне горю,
Гляньте же!
Вот и голова волосами забилась,
Огонь пляшет на коже,
Из русой голова моя в рыжую превратилась!

Горю немилосердно!
Горю я беспощадно!
Смотрите-ка, и верно!
Горю я беспощадно,
Горю немилосердно!

Горю, сгораю, догораю,
Ждите-ждите!
Будет пепел, будет пепел.
А пока смотрите,
Как разгорает меня доктор - ветер!

Вот сгорел, сгорел,
Можете не смотреть.
Я – пепел без большой головы,
ручек, ножек и тела,
Идите по домам, ведь
Танец кончен, и нет у меня никакого дела!

Я горел беспощадно,
Я горел немилосердно
Для вашего же внимания
И для вашего наблюдения
Горел!



Наталья Усанова (Вологда) БОЙСЯ ПРЕВРАТИТЬСЯ В СНЕГ И ЛЕД

Земля

Ты родился красивым.
Был, мне помнится, май.
Я цвела с полной силой –
вся - тебе, принимай!

И играл ты со мною,
собирая цветы.
Ты был чудом, не скрою.
Нежный, умный... Ты.

Ты родился богатым.
Ты богатству не рад.
Взялся ты за лопату.
Чтобы мной управлять.

Что ж, я даже довольна.
Подчинюсь. Я твоя.
Мне нисколько не больно.
Всё отдам тебе я.

Но какой-то ты странный:
Под глазами – роса.
Утром солнечным, ранним
Ты глядишь в небеса.

А ночами ты жалок.
То кричишь, то поёшь.
Неспроста ты, пожалуй,
Долго смотришь на нож...
Знай, ножи не спасают.
Оставайся в миру.
Там, на небе, нет рая.
Я тебя заберу.

Раздавить я могла бы
И тебя, и твой нож...
Я люблю тебя, слабый.
От меня не уйдёшь.



Плакун-трава

Недавно у дома вдруг вырос цветок иван-чая.
Он, видно, решил, что нашёл
подходящий пустырь.
Пожалуй, он прав: здесь кого-то
всегда не хватает.
А он симпатичный и очень украсил кусты.

Потом, через день, выхожу – он уже на пороге.
Цветёт и доволен. Красивый. Не буду срывать.
Но к вечеру начал он в кухне расти понемногу
и вскоре пророс через стулья, диван и кровать.

К полуночи он зашуршал у меня в изголовье.
Тут стало мне страшно, и я закричала: «Хорош!
Уйди на пустырь и цвети-расцветай на здоровье,
ведь я здесь живу...»

А неправда, ты здесь не живёшь.
Ты всё ещё там. И по-прежнему
жутко скучаешь.
Зачем эта боль? Ненавидеть, забыть, не скучать!

Наутро проснулась. Роскошный цветок иван-чая
растёт из меня. Аккуратный такой... Из плеча.

Вода

Радуйся: по цвету ты – вода.
Ты безукоризненно прозрачен.
Потому любая грязь извне,
Если попадёт, испортит всё.
Должен ты успеть себя отдать
До того, как цвет твой станет мрачным.
Бойся превратиться в лёд и в снег –
Их весной по слякотям несёт.

Не жалея: по форме ты - вода.
Не пытайся выйти из посуды.
Впрочем, если тянет, выходи.
Просто я хочу предупредить.
Если выйдешь, каждый шаг туда
Будет превращаться в шаг отсюда.
А о том, что будет впереди,
Не по силам смертному судить...

Сквозь вялую мякоть дорог
Ищу клёны.
Во мне сегодня листок
Болит монотонно.
Дико, больше, чем боль –
Снова, снова...
От запястья кленового – вдоль
Жилки багрово.
Лист, протянутая рука,
Сжат агонией.
Я его слышу издалека
В своей ладони.
...Вот он, изрезанный по краям,
Гладкокожий.

Как непростительно мне: я
Не художник!

Мне часто кажется – в очередной забег –
Будто наш город
Недодумали и недоделали.
И всё же я
Люблю, если с неба снег,
Всюду на крышах
Лежит безмятежно белое.

При снеге хочется
В рифму любить незло,
Чтобы стихи кого-нибудь успокоили.
И я даже думаю,
Что мне вполне повезло,
Что ради снега
Однажды родиться стоило...

Гроза

Что? Было слово?
Не стало слова.
Орём, не можем сказать.
Здания выгнулись в рёве.
Деревья качнулись в свисте.
По лицам и листьям
ныне и присно
ГРОЗА!
Из комнаты – в лужи,
такая прихоть.
Молнии локоть под боком вспыхнул.
Гром-призыв.
...Минута – и входом назад стал выход.
Тихо, и тихо, и тихо, и тихо
после грозы.

Море сделалось слишком полным.
Морю сделалось тяжело.
Оно наморщилося в волны
и пошло.
Оно билось лбом о камни, чувствуя наперёд,
что груз не сдержать руками –
разорвёт.
Волны рванулись с ходу
в пляж пустой,
не желая принять свободу
ни за что.
...В два человеческих роста...
...О берег себя дробят...
Волнуется *море?*
Просто
волнуюсь *я* за тебя.

Тихий омут

Один. Замёл свои следы.
Я, наконец, нашёл покой.



Стою, счастливый, у воды.
Наедине с самим собой.

Вода - как белое вино.
И листья плавают в вине.
И пальцы-водоросли дно
К кому-то тянет... Ведь ко мне!

Ветка от ветра
Легче, чем листья, опала.
Видно, попала в опалу
За то, что сухая
И слишком многое знала.
Ветка дошла
До самой крайней отметки
Величаво.
Для неё на пределе
Нет страха и нет печали,
Но есть ещё право
Протрещать под ногами резко.

Берёзовый сок

Тонкая да стройная,
Слабая да гибкая.
К каждому с поклонами,
К каждому с улыбками.

После стала гордая,
Сильная, практичная.
Обрастаю твёрдыми
Кольцами годичными.

Помню: все хорошие,
Верю: все полезные.
Но кору нарощую
Сдёргивать болезненно.

Мне легко в метелицы,
А от вёсен с грозами
Под корой шевелятся
Слёзы – сок берёзовый.



Александр Чеблов (Вологда) **ВЕСНА, БЛИН**

За окнами город скис,
Падают фонари и башни,
Городское хозяйство и прочая гадость
Приходит в упадок и расплзается на глазах.
Это осень. Перед зимой природный страх.
Сереет асфальт, и чернеют папши.
И я, такой один и такой вчерашний,
Вместе с городом кисну и тихонько впотьмах
Крадусь с автоматом Калашникова
Стреляться в придорожных кустах

Дайте свободы цепной собаке,
Отойдет немного и ляжет рядом,
Кошка домашняя домой вернется
И голубь назад прилетит

Дайте же мне от меня свободу,
На веревке меня держать не надо
Может, вернувшись в себя обратно,
Я снова себя найду.

Продуло. Горло расперло колючим комом,
Словно крик прорывается
да никак не может пробиться.

Что же дома опять не сидится?

И это я называю домом?

Прогнили ступени, окна разохлись,
Сквозь щели выдуло тени вчерашних мыслей.

Штор незадернутых паутина –

Жизнь на ладони.

Что же дома тебе опять не сидится...

Чем нехорош вкус ветров за стеклом

На аккуратно обшитом и застекленном балконе?

Пришла, наконец, весна. Дождались.

Птицы запели, блин,

народ витамины покупает в аптеке.

Сугробы черны, всюду грязь и гадость

И в грязные лужи,

подскальзываясь, падают мокрые человеки.

Хватит матом ругаться, послушайте,

Если снег тает, значит, это кому-нибудь нужно

Да кто ж называет такие плевошки лужами?



...Тьфу ты, блин, а вот это лужа так лужа!

Полнолуние

Луна над горизонтом. Полная.
Куда там вервольфам
То ли тигр, то ли птица в теле бесится,
Наружу рвется, делает больно.
Боль терплю. Брежу. Несу окоlesiцу.

Кто я такой, скажите мне прямо.
Зеркало криво, и образ какой-то стёртый.
Лики рвутся наружу,
Хочется крикнуть «МАМА!!!»
Третий лик, четвертый...

Разрывают когти противоречий,
Грызут изнутри сомнения зубки,
Триста двадцать пятый лик -
Не знаю, даже сравнить нечего,
Что-то вроде амебы какой-то или губки...

Что делать, стираю краски,
Обезличиваюсь, становлюсь невесомым
Лик гладок,
Теперь я тоже луна
Над сумасшедшим домом.

Поломано

Лед тронулся.
С треском ломается ледяная равнина
Наростами изломов и перевалов.
Проплывают мимо следы неизвестного лыжника,
прурбь манит обтаявшим по краям овалом.

Они вчера еще были речки единой крышей,
А нынче снялись и - поди поминай потом!
Из глобально единого
наломали отдельных льдышек
С отдельным изломанно - жизненным опытом

И каждая грезит о своем «Титанике»,
Каждая просится в море открытое,
Только опыта не хватает.
И несут с собою мечты несбыточные-несбытые
И тают, тают...

А я пойду на тот берег
по льдинам поломанным – такой шут.
Через трещины черные насилу перепрыгивая,
Не останусь здесь, плевать, что сзади ропщут.
Фигу вам!

Пройду поперек неровную боле равнину
И, если я не дойду, утону, поломают глыбами,
Стану в другой жизни такой же льдиной
И тупо растаю, отколотый и забытый.

Образ птицы.
Рвань крыла, простыня на полосы оперенья.
Петь не могу, горны горла нет силы раздуть
легким – мехам.

Путь далекий. Перелет.
Днепр. Середина. Паденье.
Когти направо – пассатижи налево.
Мысли, помыслы, чаянья – в хлам.
Тьма. Пустота. Перерожденье.

Образ рыбы
Течение в никуда. Хвост – помело,
за ушами хлопают жабры.
Рот разеваю, не слышно ни хвалы, ни жалобы
На то, что снова мелка судьбы ячея.
Нет ходу вперед и нет ходу назад.
Бьюсь на месте.
Взлет. Свободы глоток. Нет спасения.
Удушье. Тьма. Уха. Перерожденье.

Образ кошки
Сонмы грязных и гладящих рук.
К вечеру только дай бог языком отмыться.
Подвалы. Коты.
Вместо голоса снова какой-то матюг.
Опять не годится.
Свора собак. Обратное б мое оперение.
Лай, труп на асфальте. Перерождение.

Вышел на улицу.
Перьев перелетных горсть ветер в лицо кидает,
не уклониться.

Этой ночью
по каким-то одним им известным причинам
В городе умерли все до одной птицы.
Дроби в небе не стало больше
Коты и дети за ночь не стали злее,
Мороз не мороз, разве по коже...
Тем не менее все до одной околели.
Иду по тропе, трупы бурые с грязью смешивая,
Мертвых глаз стекляшки в лужи втаптывая,
Словно это «ничто» никогда и не жило,
Не летало, не пело, не радовало.
Отчего же вы умерли, грязные твари пернатые,
Что нам, грешным, этим сказать хотели?
В чем перед вами опять виноваты мы,
Где ненароком снова нагадить успели?

Чу, голос слышу негромкий, а может – глючит
Ответ на вопрос
дымком в мозгу натруженном курится.
Надежда и вера потеряны.
Судьбы решает случай.
Зима будет долгой. Надо успеть окочуриться.





Антон Черный
НЕВИДИМЫЕ СТИХИ

*Самое важное – это та фигура, которую
нарисовал в воздухе палкой мой дядя Тоби.*

*Лоренс Стерн
«Жизнь и мнения Тристама Шенди»*

ПОДАРОК

Мальчишка несет под мышкой
в потрепанной папке
из художественной школы
зыбко проведенную острым карандашом
линию горизонта.

1 июня 2007

WASSERLEICHENPOESIE*

Плыло пол - луны.
Блеск клякс звезд.
В шуме волн ишу ритма –
Впадаю в грех филологии.
Знаю: что-то мне силится ими сказать
Тот, которого уже трети сутки
Ищут на катере люди в оранжевых куртках.

8 июля 2007

* (нем.) – «Поэзия трупа в воде»

ПРУД

Рыба холодным телом своим
Колеблет воду.
Утихает последнее слово ушедшего
Над ветвями
ив.

Воск на воде.
С поля стекает туман,
Словно блеклая жижка.
В страхе застыли белые листья.
Перст на губах – замок немоты.

Чьи-то
Шаги.

4 мая 2007

НОЧЬ НАД ЛУГОМ

Черные сливки тумана погребены в излучине
реки.
Тень пастуха обходит заросли в золотых
одеждах.
Редкая птица вспарывает хлопками крыльев
тьму,
Испугавшись собственного крика.

Слова, сказанные днем,

Тяжело опадают вместе с росой.
Последним тает над поймой
Едва различимый плач
Со дна реки.

11 мая 2007

НА БЕРЕГУ

На глине берега
Расселся вширь остов разрушенного цеха.
Стены мироточат смазкой и копотью.
Недвижность и покинутость столь густы,
Что, кажется, съедобны.

Сверху – крышкой – небо,
Как тяжелая ладонь божества.
Тяжелее всей тяжелой промышленности,
вместе взятой.

19 июля 2007

ВОЕННОЕ

Аксельбанты, погоны, петлицы,
Оркестры, флаги, присяги,
Черно-красные однойцевые «суворовцы»,
Ум, честь и доблесть

И тут же
Без всякой паузы и плавного
Перехода

Рваная рана предплечья,
Ошметок детской ноги в дорожной грязи,
Разводы крови на траках танка.

От тишины закладывает уши.
Только где-то сверху и правее
Мерно дрожит воздух.



Это добрая война гогочет
Над плохим миром.

30-31 июля 2007

ГУЛ №1

Мыслей нити, ускользающие, висясь.
Воздух, с грохотом смешанный, с гомоном
птичьим сплавленный.

В облаках, зданиях, растениях --
Тени невиданных фигур.

По заплыванной, издырявленной,
Сокрушенно-покорной мостовой
Перекачивается, пыля,
Вещь в себе.

21 мая 2007

ПЕЧАЛЬНАЯ СВАДЬБА
в пионерлагере

Морось ниспускается, благословляя трещины в
асфальте.

Водная мелочь – не разобрать аверс и реверс
Драгоценностей сих.

Искрящийся рис на свадьбе памяти и боли.

Полупросохшая, мягкая, если наступить, лужа,
В которой я ловил жука-плавунца
Пятнадцать лет тому назад.

Гулкие коридоры, пахнувшие отсутствием
людей.

Скрипучий пол, хранящий холод моих детских
шагов,

Почти смытый несколькими поколениями
уборщиц.

Тропинка –

Там поганки и клещи.

Теперь туда уже можно ходить, но не хочется.

Воздух секут листья, прохладно плача.

Глаза закрываются.

Пропадает дорога, деревья –

Скорбные гости на моей свадьбе с самим собой.

Последним исчезаю я.

7 июня 2007

НА УЛИЦЕ

Когда дом выдавит тебя на улицу,
В сумерках ты найдешь пристальный взгляд
прохожего.

Не тот ли это Галилеянин?

С нездешним оловом взгляда?
С речами-загадками?
С израненными руками,
Заботливо спрятанными в рукава серого пальто?
Не сомневайся –
Тот.

19 июля 2007

ЯМБ

Круженье балагана распростертых улиц.
Круженье пылицы, грязно-желтой рамкою
окаймившей лужи.
Круженье умов и ветров вокруг растекшейся
точки.
Круженье вьюнков мятных воздуха запахов –

Громадная гаркнула, багровея, гроза,
Надо всем этим.

Тишь..... взрыв!

Непостижимый ямб
Над чахоточной прозой прямоугольных улиц.

23 мая 2007

ГУЛ №2

Синее величие в серебре.
Как спокоен сон утомленного Бога!
В протянутой руке –
Камень.
Совсем другой.
Не тот,
Что мгновение тому назад.

21 мая 2007

В СКВЕРЕ

Погладь холодную изгородь –
Неживую, железную:
Плавность линии перил, бурые струпья сварки.
Пожалей ее.
Пойми
Необязательность бытия этой вещи,
Созданной, чтобы означать преграду.

19 июля 2007



ВОДА

... *Und ruhig fließt der Rhein.*
Heine*

Ветер сеет весть о берегу.
Месть и весть наперекрест.
Вдаль бултыхающим сонно веслам
Улыбается осклизло утопший.
Солнце с шипением
Вжигается в море.

Мертвые рыбы.

19 мая 2007

* (нем) – «И медлительно Рейн течет». Гейне.

В ПРИГОРОДЕ

Прохлада крон. Тихое слово облака.
В серебряной сини – точкою – тает птица.
Теплые ладони окунает
Смерть в юдоли пруда.
Воздух колеблется, будто идет кто.
Но пусто.
Никого нет.
Лишь трава обреченно ржавеет.
Время влывает в лес,
Оставляя прошлое в поле.
Дыхание застывает в немоте.

Чу! Мертвый ангел аукает тебя в чаше...

4 мая 2007

ВЫСШАЯ ВОЛЯ

Верченье жернова времни.
Мука и мука распростертых тел.

Теченье вод.
Волнение ветра.
Им нет разумного объяснения.

Густой запах ладана

Вместо ответов на все твои вопросы.

29 июня 2007

КОНЕЦ ДНЕЙ

Холодный Господь закроет ворота сумерек,
Плывущие на дне,
Подобно черному огню.

Мысли

Прогрызают себе ходы изнутри головы.
Волосы ждут вязкого прикосновения.

Святая! Отчего твои руки в крови?

Медленный покой.
Таянье голосов в накренившемся небе.
Чужая рука закрывает все двери
В нашем потухшем доме.

9 мая 2007

Любовь Чиканова (Москва) НАЗЛО ДУШЕВНОЙ ДРАМЕ

В который раз летит мотив в окно
«На теплоходе музыка играла».
Программа повторялась - заодно
Соседская собака выбегала.
Народ, пьяня, музыку любил
И, по чернеющей реке плывя,
Выделывал такие кренделя...
Я запила бы здесь, как он запил,
Кто берега землистые любил,
Вечерний огонек в плавучем ресторане,
Улыбку Кати молодой,
Мотив рябины скучный и простой
Назло, назло душевной драме...

Пчелы кружатся над садом,
Пчелы летят на покосы.
Над полем медвяным осядут,
Вопьются в цветочные косы.
Вопьются мне в сердце живое,
В кровавое сердце мое.
До свадьбы, ты шутишь, такое,
До свадьбы *такое* живет.
Нет, лучше с холодной росой,
В заросший осокою пруд
Карасиком с рваной губой
Меня из ведерка плеснут.

Осень

Было поле. Пела и плясала рожь
В поле – рыжая лисица.
А теперь над ним шаманит дождь,
В серое жнивье стучится.

Все беднее в небе и полях.
Все серее и печальней вечер.
Все чернее избы в деревнях...
Кровли не выдерживают течи.



Подставляй скорее плоски и тазы,
Сырость разводите нам ни к чему с тобою.
Тихо мне пропой, как лошадь под уздцы
Вел казак напиться к водопою.

Ты на поле с грустью не смотри.
Было поле. Поле отивело и отшумело.
В отсыревших пролежнях зари
Рыжее перо в полях дотлело.



Славянки прощальные звуки
над кожным вокзалом
Мне сердце встревожат, печальнее музыки нет.
В теплушках, храбрысь, молодняк
заводского Урала
На плечи набросит шинели на вырост,
на смерть.
Так что же, курортником сидя
в плацкартном вагоне -
так трубы встревожат, - слезу рукавом я утру.
Прощай же, славянка, не плачь
на гудящем перроне.
И здравствуй, славянка, в России я буду к утру.
За мутным стеклом, протирая глаза, я увижу,
Разбужена ранним попутчиком в красном Орле:
На станции рдеет и рдеет рябина, все ярче
и ближе.
Я болью встревожена, может, виною на мне.
Я вспомню скалистого берега узкие тропы.
Прости и прощай на соленом приморском
ветру...
О счастье кричал попугай, без труда и заботы.
Так, глупый, заврался, что я никогда не умру.
А я не умру, когда запах полыни медвяней.
Люблю георгинов мягущийся дух в сентябре.
И поздних цветов красоту, чертыханья
в бурьяне,
И трепет огней на мелющей черной реке.
Взволнована встречей, в просторы
я родины въеду.
За синей оградой солдат с побеленным лицом.

Кивая ему, пью за русский народ, за победу,
А утренник клены сильнее охватит огнем.

Что хочу я узнать и увидеть,
Все открыто давно и известно.
Спелась самая грустная песня.
И меня так непросто обидеть.

Вот и все. Прогрели трамваи.
Замерзает их гул на морозе.
Затерявшись азбукой Морзе,
Напевает всем баюшки-баю.

Засыпайте в кроватке, дитяти.
На заснеженных елках и елях
На земле лежит снег, каруселях,
Комья снега - не сахарной ваты.

Вот и ты, раскрасневшись с мороза,
Улыбалась на пороге, искрясь.
Так снегирь на зиме - русский князь.
Ты - пожар, маскарад, ты - угроза.

Над соломой тенью, на исходе
Уходящего вечера, года.
Твоя елка рождественской одой
Под звездой, что на небо восходит.

Что за карлица, елка такая,
Так распахлась морковкой, петрушкой,
И смолой, и березовой стружкой.
Ничего я не знаю, родная.

Ничего уже знать я не буду.
Мое сердце горит, как солома.
В рождество ни борьбы, ни урона.
Только сказка, воздушное чудо.

Давай споем о том, что песня отзвучала,
Но голос все еще плачет и звенит.
Простая песня, звонкая, как жизнь в начале,
Где, облетая, сад под окнами шумит.

Давай споем песню грустную, мама.
Месяц гуляет на небе в тумане.
Иду то ли так, то ли просто пьяной
Через сад, заросший бурьяном.
И стою перед окнами, теми, чужими,
Не помня, что значат слова и слезы.
Шумят мои слезы, шумят листья сырые,
Дождь моросит на меня, на березы.

Нет, не стой, не смотри, эти окна - чужие,
В них не помнят тебя, забыли давно.
Но по-прежнему верю и с прежнею силой
Я люблю и плачу в саду под окном.

И если ни верить, ни любить больше, мама,
Мне не дано, давай же споем о том.



Месяц свое отгулял, молодой и пьяный,
И сад загорается грустным огнем.

Кто-то ходит у черной реки.
В темноте, мой друг, спичкой чиркни.
Я не вижу тебя, это ты?
Чертыхаясь в бурьяне, вскрикну.

То не ласточка чертит круги
И кричит над зеленой водой.
Что-то, мама, случилось в ночи,
Что-то случилось со мной.

И теперь не пойму, на земле
Я живу или просто в аду,
Та же осень и грязь на дворе.
И потом подморозит к утру.

Я сорву у калитки цветки.
Много синих цветов на кусту.
Но ничьей не коснусь я руки,
Пойду к чужому окну.

Простою до утра под окном,
От обиды спички сжигая.
Буду плакать и думать о том,
Что нет больше ада и рая.

Сидела грустная собака,
Стояла скорая карета.
Звезда полночная из мрака
Тогда смотрела на все это.
Когда печальными глазами
Ее я видела на небе
И понимала - все отчалят:
Собаки, люди в вечном беге.
Она мерцала без сомненья,
Она дрожала в небе черном.
Она – как пристань, как уменье
Быть лучше, чище в том позорном
Огромном мире, где собака
Грустит, и я грущу с ней рядом.
Звезда, сияй сильнее из мрака,
Нам, смертным, ничего не надо.

СТАКАН КЛЮКВЫ

I.

А к ночи снег пошел сильней.
В деревне и на пашне черной
Так глухо стало и страшней.
А снег шел полосой упорной.
Живой земли печальный вид,
Деревьев бедственный наряд.
С утра на водах лед дрожит,
Сороки голосом бренчат.
Пока ты безмятежно спишь

Под деревенскою иконой.
В Ростове я десятку нищей
Дарю у храма Исидора.
А снег пошел уже блистать
И сыпаться известкой белой.
Но снова жизнь мне не начать,
Я говорю себе несмело.
Я говорю себе несмело.
Я лишь куплю стаканчик клюквы
Да яблоч у старухи древней,
Чтоб ей не мерзнуть на углу бы.
От нежности и от любви
Лекарство – снежная закрутка.
Разбила осень колени,
Зима же задымила трубки.
На маленьком автобусе
Качу от станции дорожной.
Снег закружил, на робу сел
Лесов святых, лесов острожных.
Иду в деревню я одна.
Снег уж покрыл поля и дали.
Кричу в озябшие поля,
Что жизнь прекрасна, как в начале.
Пьянея от свободы вмиг,
Бунтуя, поцелую травы.
Белеет снег, белеет лик
Тысячелистника печальный.
И верно то, целуя в губы
Цветка увянувшую плоть,
Дорожный бог меня полобит,
Меня вообще полобит бог.
И жизнь встряхнется, заживет.
Лишь жаль чернеющей крапивы.
А к ночи снег все занесет -
Все наши беды и обиды.

II.

Купить клюквы стакан
На углу, на углу бы.
Увидать балаган
И медведя в раструбе.
Высок воротник,
Расшиты сапожки.
Голуба поник,
Нажевьвал вожжи.
Он звонил бы колокольцем,
Бренчал трещеткой.
Но хозяин - пропойца
Наливался водкой.
-«Он уже здорово будет,
Пропивает зря.
Колокольцы, бубен,
Заодно меня.
Испужал бы богомольцев,
Крестились бы шепоткой.
Были б колокольцы,
Была бы трещотка».
А румяные бабы хохочут
«Вот ведь мишка каков.
С испугу обмаралась лошадь
И рычит на мужиков».



Бежать в лесу,
Качать сосну.
Глотать слезу-
Все, что могу.
«Дайте клюквы стакан»- говорю.

Гаси огонек свой, звезда.
Ведь незачем больше гореть.
Гаси свой окурок, сестра,
Мне больно на это смотреть.

Как гаснут осенние листья,
Как сердце мышинное гаснет.
Ни последнего крика, ни мысли
Во взоре ее неясном.

Закрыв же глаза, уплываю
За детскими снами, огнями.
Отрывает вишню, съедает
Бог над земными садами.

Скажи, ты не светел, не ярок,
А теплы ли руки твои?
Пропшумят высокие травы
И качнутся ночные сады.

И скорбно смолчит богородица
Высоко в красном углу.
Гаси огонек, не намолишься,
Звезда, на землю свою.

Всхлипнет пара весел натужных,
Разрывая синьку воды,
Всхлипнет, с треском пойдет по дужкам,
Как разошедшейся бочки углы.

Что ты хочешь, кого конопатишь?
Засмолюешь кого в темноту,
В эту сырость, в весну, в эту зависть,
В эту призрачность и красоту?

На земле, словно в памяти где-то,
В запыленном углу чердака
Сохранятся, как корни без света,
Корневища черновика.

Лишь по осени поздней, горячей,
Ночью изморось резко берет
За грудки георгины, не мучась,
А любуясь, как воздух поет

Песню грусти, я тоже сумею -
Этот возраст и эту молву -
Побороться и выждать затею
Чуда жизни сквозь сырость и мглу.

Росли, серсли сумерки
И темный город выростал.
Шумел и ширился без умолка,
Шумел, не умолкал.

О чем поют, о чем бы спели,
Распеленавшись, небеса.
О том, что в облачной купели
Разбрызгивается роса

И скоро, скоро влажным блеском
Ни чем иным, как дождиком московским,
Прольются в этом душном месте,
Над этим городом в обносках.

В коричневых, из плотной ткани,
Как платья школьниц прошлых,
Стоят деревья, а в карманах
Ютят скворцов - подростков.

Но холодно еще, на вырост
Держу без сроков и без пользы
То, что уже и Бог не выдаст,
Ту жизнь, о чем и думать поздно.

Грозится, право, громом, блеском,
Как на Валерике, блеснуть.
Казацкой пашкой, словно леской,
Укоротить мой путь.

Скажу, наговорившись вволю.
Забронзовеет голос мой.
Звучавший тихо, но с любовью,
Но все-таки еще с тоской.

«Не быть в долгу, а расплатиться
За этот город, этот шум.
Пропеть над грязною столицей,
И всем простить, кто обманул».



Галина Щекина (Вологда) МОТИВЫ ЛЕТА

Сиреневый рассвет и медитация.
И звон воды, и холодность сосуда,
И следует смотреть, но не касаться
Того, что зарождается покуда
За этим зыбким заревом над крышей,
Из темени дерева вырезая,



Тяжелым сердцем подниматься выше,
Внезапными неслышными слезами -
Где золото рассветного напитка
сердитой синевой тебя остудит.
Сладка ошеломительная пытка -
касания небес страшатся люди.

Майский, майский - маета
и смущение привычек:
вился поцелуй у рта
и пропал, боясь приличий.

Вился - вился мотыльком,
и как будто ветром сдуло,
он не замер ни на ком,
трепетал на спинке стула,

то на ветку, то на куст,
то на свежую могилу...
Дань для этих бедных уст,
необласканных и милых.

По зеленой - зеленой траве
Разливались волос золотые ручьи.
Двести родинок - это внове,
Но они не твои - и ничьи, и ничьи...

На каленый - каленый асфальт
Променяешь и шелест, и смех на лугу,
Запоет в переходе простуженный альт -
Мне б остаться, но нет, не могу, не могу...

Зашипят под дождем фонари,
Как упавшие луны в Неву.
Не убий, не кради, на мосту во хмелю не дури.
Серебристой трубой, как судьба, я тебя позову.

Не вишневым пожар георгин,
Не календул летят светляки.
Говорят тебе - смолкни и сгинь,
Далеки мы теперь, далеки.

Накренен облепиховый ствол,
Руки яблонь заломлены вниз.
Весь туман заблуждений прошел,
Невозможное, с нами вернись.

А когда прогорит этот ад
И завянет обид вихревая метель,
За шумит надо мной листопад,
Расстилая златую постель.

Ветке одной не подняться,
выпрямившись в веках, -
пестрое веткино платьице
черное на локтях.

Ливень ее растреплет,
пешие оборвут,
веткин наивный трепет
веником обзовут...

Встать стволом, как стеною,
беды отгорода:
ветка, расти за мною
и плыви, как ладья.

А. Дудкину

Если долго лежать на спине,
свежей хвои беречь отпечаток,
а потом, повернувшись на ней,
потянуться медлительно-сладко,
утонуть в шелестенье листа,
понимая рукою и глазом -
потаенные эти места
для тебя раскрывались не сразу.
Здравствуй, лес, что не выше травы.
Этим соснам, пока годовалым,
и расти, и потом не сносить головы,
лет полста будет мало.
Им придется, как людям, болеть,
под пилой воровскою валиться,
загнать в дровяник или клеть,
постареют корою их лица.
Вот запрятала и сберегла
тишина мягче ситца и шелка -
место, где упоенье и мгла,
и крапива не колкая.
С высоты не видать волшебства!
Но, лицом утыкаясь в покровы,
Ты, поверженный верой в слова,
станешь глупо доверчивым снова.
Вознесясь, эти травы - хвои
над тобой головой закачают...
Ты ищи это место, ищи -
за поляной с глухим молочаем

Вот оно, счастье, неожиданное - веское:
утро с холодным обстрельным дождем,
ветер бросает в тебя занавескою,
Бог с ним! Гостей мы сегодня не ждем.
За занавеской упрямый, колючий
прет и толстеет отважный цветок.
Счастье мое, как пожар, неминуемое,
Мысль любовных шумящий поток.
Только бы дня не заметить крылатого,
только б никто невзначай не пришел.
Молча укрыть досыпающих сладко...
Чайник и булка, и все хорошо.
Светлые будни осени и яркие,
пишется быстро, как с горки летит.
Где-то гремят оркестранты у парка,
музыка снова в начале пути.
Речь ожила так горячее - невнятно,
чтобы ее никому не украсть,



Дюны

Нет ничего, что могло бы привлечь внимание. Голый песок, не давший за эти века ни намека на жизнь. И на этой окраине мира без изменений. Издалека слышится шум – то ли прибой, то ли волн песка, разбивающихся одна о другую. Это местность, которая не устает умирать. Потому-то на эти холмы опускается океанский воздух, смешивая свои речитативы с вязким холодным танцем серых песчинок. Заблудившийся и забредший сюда не удивляется ветру, морю, отсутствию леса или людей. Но ступни, воспитанные паркетом, все-таки тонут в песке. Везде – в том числе здесь – можно найти причину лечь, раскинув руки, на ровный скол дюны и наблюдать, как сырая овчина этой земли покрывает тебя песком.

Треск отрывающихся от стены обоев; черед компромиссов, начатых словом «буду» и законченных словом «здесь». Напускная простуда (или близость ж/д) приучает дрожать. Поневоле мысли рвутся к огню. Отгонять предрассветный холод лучше не им, а заклинаньем рода «so-gi-to er-go...». Я собираю с пола антрацитовый мусор, шаря во сне; свобода выстроить жизнь из камешков значит не меньше джаза, или Шопена, или шестидесятых прошлого века. Крэпш ставит пленку в ADAT и спит под шипенье двоичного кода. Сразу начинается утро. Или не начинается - скорость приближения к миру не слишком зависит от цвета неба, полуприкрытого матовой пепельной штормой, переходящей прямо в продолговатый ветер.

Представить, что здесь еще не был, что эти места еще не имеют названия и борозда улицы слишком упрямо похожа на хмурый завтрашний день; эти куски гранита, вросшие в землю; сумерки – парменидов твердый мирок, страна, в которую сдуру прибыл, чтоб навсегда остаться. Отныне глупо хвалить пейзаж – его тусклый иней плевал на все это, только деревья как-то пытаются отвечать. Поэтому больше не с кем встретиться или проститься. Поэтому резкой болью в глазах отзываются эти акры одинокой поверхности.

Creation

В мае? В июне? Впрочем, не важно. Сейчас, осенью. Глобус скрипит дугой Гринвича. Из-за чужого плеча все представляется картою – никакой не ландшафт, а ровный бумажный лист. Белье пятна движутся от экватора к полюсам, затирая пространство. Храни этот мир как зеницу ока. В нем нет ни Ла-Платы, ни Парижа, ни Дели. Мир из воды и скал

не огорчает отсутствие Магеллана или Колумба. Через слои песка ты выпарагываешь – «постоянно низкое небо выглядит твердым», или – «горы приблизились на пару метров к морю». Шхуна, легшая дальше по берегу кверху килем, служит ориентиром для ветра. Все-таки стоит выйти из дома, сделать пару шагов, предсказать погоду на завтра, выплеснуть гущу в волны, видя, как медленно гнется дугой линия горизонта. Ты думаешь: «Это сущий пустык. Надо будет достать кирпича, запечатать бутылку». Мир застывающих форм становится старше на новый весомый час. Пусто. Порой звонит телефон.



Дмитрий Склад (Москва) ВРЕМЯ ЛЮБИТ ГУЛЯТЬ

Любовь к порядку

Любовь к порядку – это его конек, меловой отпечаток на рукаве – причина обрушить известь со стен, верный пунктир снопов выводит из поля, и если щебенка вылетает из-под колес – то в сторону озера. Прежде чем отправиться в путь – заруби себе на носу эту любовь, запомни, что стертая челость холмов, бледная лысина пустых полей, дряблое тело стянутых мхом болот следуют друг за другом. Время любит гулять, и, встретив его в лесу, – не ори

Памятка

Вспомни сквозняк в новой школе (больше никогда так не поддувало), запах в квартирке, к которому лишь спустя несколько лет принохался, и вояж к матери по расплывающейся дороге, будто навсегда вклеившейся в подошву. Болезнь с безысходным названием вспомни, нитье ледяного дождя пять суток кряду – некуда было скрыться, и слова споров моментально делались бронзовыми; сырой тупик подворотни в любом месте братца-города. А вслед за тем непрерывно вспоминай недели, в которых нечего вспомнить.



Ученическое

Осенние парковые аллеи выглядят не хуже старых деревянных линеек с выбоинами от пальцев. Штанцы с растянутыми коленками и потертым задом плещут листвой, разгребая тропинку, схожую с той, по которой убежал из одной коробки в другую. Виды сквозь опустевший предзимний воздух ничто не напоминают отчетливее, чем чтение под фонарем в подворотне – непонятно, от чего именно шуришься. И деревце, на которое забил мяч N-лет назад (что приравнивалось к последнему шагу в жизни), все еще растет.

Достигнешь того, что...

Достигнешь того, что вежливость расплывется, свист под окнами зачистит, перемахнет на суровый оклик, на чечеточный стук подошвой по шаткой парадной. Окольный выход не забрезжит, соберешься с духом, просеменишь; этот поступок будет не так уж стопган; примолкнет опасливый треп соседей, сам нервно оглядываться и вздрагивать перестанешь. Что ж, скажут - ты был неправ там-то и там-то, не выполнил уговор, не послушал тех, что желали тебе добра,

воротил нос, был заносчив. Невесть откуда рассыпшат совесть, ни на минуту не прекращающую пищать.

Оголтело зыркнешь туда и сюда, кивнешь, "да, приму к сведению, да". "Верю, что можно исправить, заменить гардины в зале для наших встреч". Блеснешь свернутой шеей. Пусть не смущает тебя дыхание за плечом, сосредоточься, жизнь без скоропалительных трюков станет достойной манерой, или, как сказал бы Бергман, долго думай, прежде чем сделать свой последний ход болванчиком из слоновой кости.

Не снимай пальто - здесь по-прежнему холодно, приложи к батарее ухо: шум волн, крики чаек. Или крик под мостом, заставляющий веко нервно дергаться, - он большее время года, чем все четыре, вместе взятые. Не выпускай рук из варежек. Спи у окна, обняв металлическую гармошку, бредя о тепле воды подо льдом, о горячем песке на дне.

ПРИРОДА И Я. ПРОЗА

Ирина Василькова
(Москва)

ХУДОЖНИК ПО СВЕТУ

**Художник по свету**

Женщина познает мир на ощупь, через прикосновения, плотность материи, текстуру и фактуру, текучесть и вязкость. Так устроена жизнь – кто еще проследит, чтобы манная каша была без комков, складки в промежности младенца присыпаны тальком, крахмальное белье помогало уютно бежать без сцепления, а рыхлая земля давала дышать цветам. Швейная машинка монотонно стрекочет – под пальцами то шелк, то кожа, холодные спицы ряд за рядом достраивают спинку колочего свитера, тесто упруго возвращает усилие кулакам, и блестят вымытые стекла. Это счастье – лепить действительность, дарить жизнь несуществующим вещам, осязать явленное.

И только одного немного не хватает глазам – света. Будто неумелая рука не ту подсветку установила, не тот фильтр – то он багровый, то мертвенно-синий. На сцене движутся фигурки, и пьеса течет своим ходом, и актеры не сбиваются с реплик – а что-то жмет в груди, и хочется спросить кого-то – неужели не видишь, все не так, не так!

Этот сон снился ей три раза, с разными вариациями. Больше всего они напоминали черновики недописанного рассказа – общий контур ясен, но что-то уводит в сторону, и начинаешь снова, и не



понимаешь, где самая коварная точка траектории, где сбиваешься с курса, чтобы окончательно заблудиться.

Сон был про непогоду в Крыму. Начинался он всегда с тоски и жгучего желания, оно превращалось в тягу и маниакальное стремление – туда! туда! – и непонятно, зачем. В первом сне дорога была мучительной: на обшарпанных автобусах, с ночевками в облезлых гостиницах, холодным чаем и надоедливymi попутчиками; потом пешком сквозь фантастические леса с монолитными стволами, обросшими бархатным мхом; потом по дуге, окаймляющей круглый залив, и, когда уже цель была достигнута, – со свинцовыми тучами, холодным дождем и полной невозможностью купания. Время поджимало, надо было уезжать, и последней мыслью было – никогда, никогда, и какая нелепость...

Второй вариант был мягче, там долго приходилось кружить по улочкам желтого приморского городка, искать вывески каких-то контор, о чем-то с кем-то договариваться, и когда вся эта тягомотина отпускала, можно было выйти на берег, свернуть налево и найти каменный мыс, где густая морская зелень казалась наконец достигнутой целью. Но черная гроза налетала внезапно, ветер выл, волны швыряли медуз на песок, не давали подойти близко, и опять почему-то надо было срочно уезжать.

В третий раз снились скалы и стеклянная вода меж ними – прозрачность такая, что ракушки на далеком дне просматривались насквозь. Через парк вились скрученные лабиринтами дорожки, море плескалось рядом, но выйти к нему никак не получалось. Ветки то ли гигантских секвой, то ли кедров свисали до земли, заполняя пространство кулисами зеленых мочалок, махровой паутины, липких ловушек. Мучительное продвижение кончалось вспышкой света в конце тенистого туннеля, но бирюзовая гладь уже начинала кипеть, взрываясь брызгами о черные камни. Страх глубины сливался со страхом волны, войти в воду даже помыслить было страшно – и все кончалось пыльной дорогой, дальше и дальше уводящей по водоразделам прибрежных холмов от обманувшей радости.

В этом году вдруг обнаружилось, что им нравится отдыхать вместе. Сойдя с поезда, они сели в маршрутку у феодосийского автовокзала и двинули наугад, но почему-то не в сторону Коктебеля, куда рвалась курортная толпа, а в другую – куда желающих оказалось немного. Оставалось вылезти в самом неприметном поселке и, проплывав некоторое время среди дачных курятников, найти место столь же тихое, сколь и странное. Если центр поселка состоял из домиков, заросших виноградом и ало цветущими кустами, то окраина, выходящая на мелкое соленое озеро, едва начинала приобретать жилой вид. На еще не вымощенных улицах ветер взметал пыль, недостроенные коттеджи зияли оконными проемами, горбились кучи кирпича и керамзита – пейзаж после бомбардировки. Один из домов почему-то выглядел вполне жилым. На воротах висела табличка «Улица Волошина» – наверное, только это и убедило их постучаться. Открыла смущенная женщина лет сорока, виновато объясняя, что комната есть и очень дешево, но только пятиместная – впрочем, можно жить там вдвоем. Курортников было мало: погода стояла вовсе не июльская – каждый ценился на вес золота. Не глядя согласились, потому что было абсолютно тихо – не долетал ни один шлягер из пляжных кафе. Предоставленная жилплощадь казалась нелепой – точь-в-точь комната в общежитии, пять казенных кроватей, пять тумбочек и столик в углу. Но им уже было все равно, им хотелось моря, моря, моря – того, о котором мечтали всю зиму, долгую и на редкость злую. Они бросили рюкзаки и почти побежали на шум и шипение.

Ветер дул все сильнее, рваные тучи ползли с юга, песчаный пляж был почти пуст – пожалуй, скорее напоминал Прибалтику, чем июльскую Тавриду, и все-таки грел душу, как любое исполненное желание. Полчаса сидения на выброшенной морем крышке и бессмысленного созерцания чайечки суety хоть и размягчило их, но уже и под ветровками ветер шарил, и мурашки пошли по спине. Решаться надо было, лезть в воду. Светка, уже слегка посиневшая, первой бросилась в волны и теперь уже, ровными рывками выбрасывая руки, таранила воду как торпеда. «У-у-х, холодно!» – долетал ее голос до Алены. Алена холодной воды совсем не боялась, но плавала неважно, особенно если море неспокойно. Так и бултыхалась, не заплывая далеко и отплевываясь от мутной пены. Изредка косилась в сторону и как бы невзначай отслеживала вдалеке ныряющий поплавок, голову подруги, о которой, в общем-то, и беспокоиться не стоило – что за мастера спорта беспокоиться! – но чувствовать ее присутствие хотелось.

Художник по свету сегодня сработал классно. Солнечные столбы то тут, то там прорывались сквозь разрывы туч, небо опиралось на воду призрачными колоннами. Там, куда они опускались, море делалось густо-зеленым, пятна зелени перемещались, перетекали с места на место, отражая все градации света – от слюдяного мерцания до блеска почти уже алмазного. Вот еще один луч пробился сквозь пелену, осветил тяжелую малахитовую волну и ослепительно рыжую голову на ней, и огненная искра будто стянула в себя, как в фокус, все световые игры сегодняшнего дня. Память странно устроена – некоторые моменты жизни врезаются намертво, так и носишь их с собой, как старые фотографии.

Потом забрели на маленький рынок – удрученные отсутствием покупателей торговки наперебой предлагали жесткие яблоки, копченую рыбку и богатый ассортимент домашних вин. Прикупили



помидоров и бутылочку ароматного подсолнечного масла, предвкушая славную и необременительную трапезу, но тут хлынул дождь. Он оказался ледяным, струи летели наискось по ветру, и пришлось добежать до пустого кафе, чтобы потребовать чаю.

- Может, с коньячком? – улыбнулся загорелый мальчик.

Они захохотали – да, конечно, с коньячком!

- Видела бы ты свою рыжую башку на зеленом фоне! – сказала Алена. – Обалдеть, как красиво!

- Рыжая, рыжая... Я однажды заплыла далеко, а спасатель в свою трубу орет: «Девушка в оранжевой шапочке, девушка в оранжевой шапочке, немедленно поверните обратно!».

Коньяк подействовал, им захотелось снова под дождь, тем более что он стал совсем не сильным. Так, вприпрыжку по свеженалитым лужам, вскинув на плечи рюкзаки, они и отправились домой.

Улица Волошина встретила неожиданной подлостью – пыль превратилась в вязкую глину, с каждым шагом гуще наворачиваясь на сандалии, сразу потянувшись книзу подобием тяжелых утюгов. Распахнув калитку, они оглядели дворик, аккуратно мощный тротуарной плиткой, разулись, застыдившись, и босиком пробежали к колонке, отмыть обувь. Процедура оказалась длинной, глина не поддавалась, но терпения им было не занимать. Тут выяснилось, что бумажная затычка из бутылки благополучно выскочила и пол-литра масла разлилось в Светкином рюкзаке, пропитав пляжные вещички обеих. Они посмотрели друг на друга, тайно ожидая взаимных упреков, но расхохотались – сначала несколько даже нервно, а потом уже от души.

-Ох, балда же я! Там же твои брюки новые!– простонала Светка.

- Да ладно. Идем в магазин, купим «Фэйри», все отстирается.

Пришлось снова надевать отмытую обувь и совершать еще два перехода – до магазина и обратно. Хозяйка Ира выдала тазик, слегка удивившись постирушкам в первый же день по приезде, но чего только с приезжими не бывает. Повозившись часок, они поняли, что масло так просто не сдается, залили все очередной порцией адской жидкости и занялись обедом. Кухня выглядела уютной и почти своей, в ней было приятно работать – плечом к плечу, в два ножа, и салат показался восхитительно вкусным.

Как-то резко спустился вечер, они вымыли посуду и вышли курить под навес. Звезд не было, только кляксы облаков беспрестанно меняли очертания. На ветру моталась виноградная плеть, дождь брызгал коротко и сильно, будто сверху чья-то невидимая рука резко стряхивала с пальцев воду. Шипение моря за домами звучало ровно, но тоже с редкими внезапными всплесками. Ветер усиливался, но в дом идти не хотелось. Вот нелепость – ехать в Крым, чтобы оторваться от быта и согреться, но провести первый день в стирке и готовке, а теперь сидеть на сырых табуретках, ежась и пряча руки в рукава. О том, чтобы выползти в центр поселка, и речи не могло быть – по такой-то глине.

Не важно, которая из них прочла:

- Золотистого меда струя из бутылки текла

Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела...

- «Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,

Мы совсем не скучаем», и через плечо поглядела...

Дальше так и шло – одна начинала, другая подхватывала. Вдруг оказалось, они знали наизусть одно и то же: Мандельштам, Багрицкий, Заболоцкий – их будто подхватила волна, забытые строки вспомнились, а не вспомненные достроились; читали тихо, почти вполголоса, слова выдыхались в пространство, но не впечатывались в него; их подхватывал ветер, они так и летели – как тучи с рваными краями, как снесенные ветром лепестки цветов, неразличимых в темноте. Ира подошла неслышно, сгоняла случайных комаров, почесывая одну смуглую ногу о другую, а потом предложила:

- Девочки, а домашнего вина? Недорого...

С вином пошло лучше, хотя оно напоминало бражку. Если сначала действие стыдливо отдавало школьной декламацией, то теперь уже рвалось и летело, как парус на ветру. Что-то делалось с пространством – оно становилось легче и прозрачнее, свет от лампочки сеялся ярче, ветер не то чтобы стих, но виноградной плетью поигрывал уже не так жестко. К двум часам ночи в разрывах облаков показались звезды.

Алена проснулась и услышала монотонный шум. Море шипело, звук бился в окно с почти материальной силой. Глаза можно было бы и не открывать – погода стала только хуже. Она подошла к окну: меж недостроенными домами виделось соленое озеро с неопрятной шершавой водой, как бы припорошенной пеплом – мертвый рудимент Меотийского болота, тоска угасания, комариный рай. Но валяться с утра в постели – удовольствие редкое, поэтому ей захотелось насладиться сначала и этим. В



тумбочке нашлась книга – замусоленный томик Грина. То ли учительница Ира подсовывала его жильцам как элемент местной экзотики, то ли читала сама, уединяясь в этой казарменного вида комнате – но сейчас такое чтение было кстати.

Светка дрыхла как сурок, что вполне простительно для человека вольной профессии, привыкшего писать ночами. Рыжие пряди рассыпались по подушке, стекали на худенькое плечо. Будить не хотелось. Но через пару часов Алена захлопнула книгу и растормошила подругу.

Дела их ждали все те же – продолжение постирушки и готовка обеда. Масло отстирывалось плохо, но процесс шел. Дождь шел тоже, иногда очень бурно, но с перерывами. Въехавшая с утра семейка новых жильцов сновала с кухни в комнату, нестарая тетка в ситцевом халате гремела посудой, жарила рыбу, поносила мужа, погоду и все на свете – на этом фоне даже вчерашние посиделки казались нереальными. Жизнь брала свое буднично и монотонно, будто хотела доказать, что куда ни беги – все одно. Но исконная женская привычка ощущать ткань бытия пальцами, нежными познающими прикосновениями, делала нетрудным любое привычное действие. Тактильная ласка белой глины, острые уколы розовых шипов, щекотные касания мыльной пены, твердость ножевого лезвия и зернистость помидоров – во всем было блаженство слияния с плотью мира. И все же после обеда вдруг показалось, что двор, окруженный глухим забором, надоел до смерти – захотелось на волю. Даже глина не пугала. Решили гулять по берегу, пока не стемнело.

Море, как ни странно, стало теплым и почти спокойным. Они брели по шиколотку в воде, отмывая с подошв глиняные нащепки, и смотрели, как плавно выгибается берег – будто простыня на ветру. Песок намок, но иногда ветер подхватывал его и сушил на лету, песчинки секли по ногам и летели дальше, но в конце концов успокаивались, заплутавши в сизых колючках с голубоватыми ежиками цветов. Километрах в трех виднелся другой поселок, все пространство до него было плоским, только кое-где из песка торчали рыхлые ржавые остовы пляжных сооружений.

Лет двадцать назад здесь шумели сплошные пионерлагеря, теснились навесы, качели, передевальные кабинки – теперь все тихо выветривалось и крошилось под солеными брызгами и секущими песчаными струями. При желании можно было расслышать в вое ветра возгласы давних пионеров, складывающих рубашки и галстуки ровными рядами на песке, чтобы по команде бодрого физрука зайти в воду, не нарушая границ купальни, ограниченной канатом с позеленевшими пенопластовыми поплавками. Возможно, и шумная тетка когда-то была одной из таких девчонок, но ее счастливое детство давно уже прошло, и теперь она, чертыхаясь, жарила рыбу шумным отпрыском, весь день изводивших ее нытьем по поводу несбывшегося купания.

Сели на свернутый бетонный столбик с торчащей арматурой и закурили лицом к морю. Его зеленовато-серая шкура на горизонте сгущалась в глянцевою черноту, облачный фронт стоял свинцовой стеной. Заходящее солнце в разрывы облаков било со спины.

- Смотри, радуга! – ахнула Алена.

Светка сначала не увидела, но бледная дуга набирала силу, и через минуту над морем уже пылали семь цветов спектра. Постепенно проявлялась вторая, еще большая, а за ней третья. Теперь тройная радуга отражалась в море, замкнувшись в три концентрические окружности. Эффект был неожиданным – происходящее никак не сопрягалось с реальностью, таких сильных и чистых цветов в природе не бывает. Они выпали из других измерений: чья-то сверх – оптика, дарящая руку, чувство выхода из трехмерности, даже из четырехмерности – до кома в горле, до слез. Фотоаппарата не было, но и без того картинка обещала быть кадром, поразившим память навсегда.

- Это знак! – засмеялась Светка.

И тут опять хлынул дождь – злой, пронзительный. Светкин зонтик, парижский подарок мужа, выдержал два шквальных порыва, потом спицы хрустнули и купол обмяк подбитой птицей. Они бежали вперед и смеялись – по песку, по воде, по валам мелких ракушек, выброшенных прибоем. Волосы облепляли лицо, сухой нитки не было, зато радость была – неожиданная и яркая, как три кольца света.

Дождь кончился внезапнее, чем начался. Вода и небо сделались еще грознее, пустой пляж выгибался, вынося в море поселковую пристань далеко впереди. Они прислонились к одинокой дощатой стенке, настоящему обломку кораблекрушения – хотелось спрятаться от ветра и закурить. И тут все повторилось снова – едва заметная дуга медленно собиралась, концентрировалась в воздухе, свет стягивался и делался компактнее, цвета спектра разгорались, и три полукруга смыкались с зеркальными отражениями. Будто за спиной стоял большой оригинал и экспериментатор, сумасшедший гений, художник по свету, с хищным прищуром нацелившийся на темную сцену свою хитрую аппаратуру.

Но все опять ушло – сияние померкло, сменилось дождевым шквалом, и они бежали дальше, уже не чувствуя ни холода, ни расстояния, и бормотали что-то – друг другу? морю? Время перестало отсчитывать минуты с привычной линейностью, завязалось причудливо, поселок казался то совсем близким, то вдруг его откидывало назад, будто они ни на шаг к нему не приблизились. И это завихрение



времени и пространства кончилось открытой террасой кафе, куда они влетели в безумном состоянии, распатланные, мокрые, счастливые, и официантка, невозмутимо глядя на, должно быть, нетрезвых посетительниц, принесла горячего чаю с лимоном. Зубы у них стучали, и посиневшие лица отражались в зеркале; блеск его они ловили через дверь, приоткрытую в освещенный зал – там хохотали и звенели бокалами, а одна пышная дама нет-нет да и поправляла перед зеркалом замысловатую прическу, покачивая тяжелыми серьгами с камешками цветного стекла.

Чай был выпит быстро, больше денег в карманах не нашлось, и они просто сидели, зябко вглядываясь в даль. И тут феерия повторилась снова: те же три кольца и еще довесок – от точки, где дуга упиралась в горизонт, отходил зеркальный отросток, короткий, слабый, нарушающий гармонию.

Официантка принесла счет.

- У вас часто такое бывает? – спросила Алена.

- Что?

- Да вы обернитесь. Радуги такие.

- В первый раз вижу! – не удивилась девушка и пошла за сдачей.

Они выскочили на шоссе, сели в первый же автобус и через полчаса уже открывали капотку. Было совсем темно, но угадывался чей-то силуэт.

- Где вы ходите? – растерянно спросила Ира, - я уж заволновалась...

И тогда они наперебой стали рассказывать про радугу. В комнате для жильцов кто-то ворчал и бранился, потом послышался звук подзатыльника и детский рев. Дворик тонул во мраке, лампочка под навесом не горела, только из окна новых соседей вырывалась сквозь шторы полоска света. Она падала на единственную бледную розу, лепестки светились в темноте. Сеялся дождь.

- Ну, девочки, вы умеете отдыхать! – развеселилась Ира, - не то, что эти!

Они опять курили под навесом. Не без стихов, разумеется. Ира сидела рядом, слушала задумчиво.

- Вы, наверное, тоже поэтессы, – сказала вдруг грустно. - А я учительница в начальной школе. А муж – врач, единственный на весь поселок. Нам ссуду на дом дали, мы строили сами. И комнаты для жильцов сделали – а чем тут еще заработаешь?

Ей, наверное, казалось, что там, в Москве – какая-то необычная и радостная жизнь, и совсем невдомек было, что муж, немолодой коротко стриженный здоровяк, весь день возившийся в гараже с железками, играющий загорелыми бицепсами под белой майкой, давал ей то, от чего давно уже отказались городские мужья, – надежный тыл, совместное сотворение дома. Месить бетон, класть друг на друга известняковые блоки и гладить по волосам белоголового мальчика, весь день листавшего книжку про динозавров – чувствовать жизнь кончиками пальцев и напряжением мускулов.

Алена долго не могла заснуть и думала о том, что лишь один единственный на свете мужчина может научить женщину такому познанию мира – на ощупь, через прикосновения и плотность, текучесть и вязкость. Юные девушки ловят мир восторженными глазами, их еще не коснулось чувство дома, телесность не проявлена, а радость летуча. И только тактильный шок чистейшего телесного соития, черные ленты Мебиуса и завершающая топологическая инверсия родов делают нас другими. Мы теперь можем терпеливо разминать пальцами глину несбывшегося, мы преодолеваем сопротивление материала, мы одухотворяем форму, и множество проявленных сущностей отвечают благодарностью. Влажный чернозем выстреливает цветами, золотая корочка пирога упоительна еще до дегустации, и крестильная рубашка сына, обшитая кружевом, кажется ангельским оперением. Это наш любовный роман – нас и мира. Но мужчина выскальзывает из этих объятий, слияний, прикосновений. Иногда, в минуту слабости, он позволяет дотронуться до себя – поставить горчичники на лихорадочную спину, растереть ноющую поясницу, но потом снова оставляет нас наедине со штопаньем, разглаживанием, атласностью, шершавостью, размешиванием, рыхлением, стягиванием в одно и рассеиванием в пространстве. Мы, доверчивые, все еще лепим мир – с радостью, но уже в темноте. Не то чтобы потеряли зрение – нас предал осветитель. Куда он отлучился со своего рабочего места – может, выпить с друзьями, хватая развязных отроковиц за коленки, может, мается от одиночества, сжимая в руке компьютерную мышку. Будто боится полноты жизни, как некоторые боятся спать на траве под открытым небом...

Утром все стало по-другому. Ветер дул с прежним упорством, даже бейсболка Светкина улетела, и пришлось ловить ее на самом противном участке улицы Волошина - там, где куча битого кирпича смыкалась с большой лужей; но просветов в небе стало не меньше, чем облаков. Даже позагорать удалось минут двадцать. Горизонт кротко яснил, будто всегда был таким. Но художник по свету вчера сработал классно. Они разложили на песке рукопись Светкиной книги, прижали листки камнями, и спорили, тасовали, правили... И все получалось, все складывалось - можно было переставлять слова и строки, пересыпать в пальцах уже сухой песок, искать оранжевые ракушки среди обычных серых, зачем-



то напихивая их в карманы. А потом еще сгонять в магазин за крымским мускатом, и выпить его из пластиковых стаканов, и хохотать, и фотографировать на закате чаек, и даже обсуждать, какие сувениры из Крыма надо будет привезти внукам.

Ниночка

Она сидит на веранде ко мне спиной, пуская мыльные пузыри. Радужные сферы, медленно отрываясь от соломинки, плывут в теплом воздухе, делая его объемным. Вот два пузыря столкнулись и приклеились друг к другу – получилась двухэтажная фигурка вроде снежной бабы, чудом не лопнула, к ней притягивается третий пузырь – так и плывут уродцем среди стаи абсолютно идеальных форм.

Идеальных – так же идеальна ее спина под обтягивающей черной футболкой с глубоким вырезом, чудный изгиб шеи, пучок гладко причесанных темных волос.

Я что же – люблюсь?

Дивный цветок в моем саду? Чудовищный коллаж – интересно, чьи равнодушные ножницы вырезали из черной бумаги прекрасный силуэт и вклеили его в самую середину неухоженного газона, заросшего одуванчиками? Одуванчики теплые, растрепанные, презирающие чистоту линий и радующие глаз только цветом, а в середине пылкого зелено-золотого – капля черно-идеального; господи, почему же я так падка на форму? Я не могу отвести от нее глаз, я буравлю ее своим взглядом, неужели она не чувствует совсем ничего?

Спина так же безмятежна, хрупкие лопатки невинны, как ангельские крылья – *господичтожеты делаешьсомной*, – я прохожу мимо, искоса взглядываясь в лицо, – наяда? дриада? черный ангел? явно не от мира сего. И это надмирное совершенство делает мою печаль вполне переносимой, она становится «печаль светла», и я никому этого не расскажу, потому что сумасшедшей меня тогда сочтут даже самые понимающие подруги.

Мыльные пузыри наполняют сад, льнут к яблоневым веткам фантастическими плодами, текут в просветы между вишнями, отсвечивают вечерними облаками. Тяжелый, тяжелый цвет, закатно-алый, прекрасный – *господискорейбы стемнело!*

Как началось?

Зову мужа на дачу – привычно знаю, что не согласится. А он вдруг как-то очень быстро соглашается.

- Знаешь, – добавляет смущенно, – у меня тут одна ученица есть, ей очень за город хочется – ты не будешь против? – Не-е-е-т! – я энергично трясу головой и перекусываю нитку, которой только что пришила пуговицу к его-моей любимой рубашке.

- Вообще, ты знаешь... я хочу, чтобы ты поняла... я к ней как к дочке отношусь... – голос его теплеет, – у нее с родителями проблемы... – он замолкает.

А я-то что? Преданная и чуткая жена должна все понимать. Как-то давно, в пору влюбленности, мы сидели на скамейке в сквере и смотрели, как по дорожке носится очаровательное чумазое чудо – льняные волосы, перепачканные голубенькие джинсы. Румянец жизни на милой мордашке, волосы разлетаются. Испарина над вздернутой верхней губой – радость безоглядная и старательная одновременно.

- Хочу такую дочку, – говоришь ты, и я с идиотской улыбкой счастливо утыкаюсь тебе в плечо.

Через год родился сын (у поэтесс почему-то всегда мальчики), мы возились с ним радостно, и ты любил его, но как – то раз у тебя сорвалось: «жаль, что не дочка». А что материнская обида всколыхнулась во мне и угасла – об этом я ничего не сказала, да и незачем говорить.

Но замкнутость и отчужденность сына, такая заметная уже в младенчестве, переросла в холодное подростковое непонимание и раздражительность, так что и я порой подумывала о дочке, играла в «если бы», прикидывая, насколько семья могла бы быть теплой, но старалась на этой мысли все-таки долго не задерживаться.

Да, тебе тоже хочется тепла, думаю я, однако что-то меня колет, эдакое пронзительное предчувствие любящей женщины, и я нарочито небрежно спрашиваю: «У вас роман, да?». Ты обижаешься, оправдываешься – нет, ничего, мы только иногда за руку... но это не я... это она... понимаешь, она так устроена... ей нужен тактильный контакт... а я – ну, как отец...

Тебе всегда хотелось быть отцом дочери...

Дитя ждет в метро на лавочке и вскакивает при нашем появлении.

- Ох, Еленаиванна, я о вас столько слышала, и я вас уже так люблю! – выпаливает она совершенно естественно, и напряжение меня отпускает. Высокая – выше меня, черноглазая, черноволосая, совсем не хрупкая, гладкая прическа, черная майка и камуфляжные штаны – никаких украшений, на которые так падки школьницы. Милая, очень милая. Ниночка.



Мы долго едем, пересаживаясь с автобуса на автобус, покупаем какую-то снедь, ты одинаково вежлив с нами, но я все время чувствую неловкость, и мне интересно – а она? Видимо, нет.

Ищу подвоха – его тоже нет. На даче она сразу включается в хлопоты, мелко и аккуратно режет салат, моет посуду, и я на какой-то момент чувствую странное умиротворение, думая о дочке.

- Удочерим ее, а? – пытаюсь пошутить, пока она не слышит, но твой взгляд тяжел и губы болезненно кривятся – шутка не принята. Мне становится стыдно, а настороженность не пропадает.

Пока я воображаю себя в счастливой семье и мурлычу что-то под нос, колдуя над сковородкой с шипящим маслом, а дитя читает Цветаеву на веранде, муж упивается новым хобби.

Покупка цифрового фотоаппарата изменила его до неузнаваемости – он теперь охотник. Его освоение мира похоже на мое смакование деталей, но выглядит гораздо жестче. Цепкий взгляд видеоискателя просеивает действительность, отменяя обычное и выхватывая совершенное. Я рада его прикосновению к моим радостям, и хотя любимые предметы выходят порой пугающими и странными – лимон обзаводится хищной мордой, а нагота луковой плоти болезненно проступает сквозь шелуху, – все это кажется мне началом нового сближения. Он видит важные детали моего мира – пусть и не моими глазами.

Момент просмотра снятых кадров на мониторе я всегда встречаю с внутренним трепетом, стараясь хоть через торжествующую визуальность постичь закрытую глухими створками чужую душу. Сейчас мы сидим втроем на продавленном диванчике, ноутбук перед нами на табуретке, и экзотические голландские тюльпаны сияют холодным электронным светом. Мне хорошо. И вдруг сердце ухаает, обрывается, и под наэлектризованной кожей волной прокатываются мурашки. Следующее фото снято из окна мансарды – кренившийся ракурс, рамкой стволы внаклон, а посередине на ровной траве газона лежит – летит? – девочка с книгой.

Ненадонадо, неговоримничего, я все уже поняла.

Что меня поражает в ней – это совершенная невозмутимость.

Не может ведь не чувствовать, что я все время смотрю на нее то сквозь кусты, то из-за угла дома. Вся очерчена линиями, точными и совершенными. Перо и тушь, восхитительный лаконизм. Черное – а все остальные цвета не имеют значения, она кажется полихромной. Линия важнее. Я слежу глазами за спускающимся на шею завитком. Какая выразительная графичность! Нежная косточка на хрупком запястье, и браслет звенит. Вижу ее сзади, в полупрофиль. «Каждая черта ее была легка и чиста, как полет ласточки» - сентиментальная формула девичьей красоты.

Нет, здесь другая эстетика, жесткая. Кажется, будто ее нарисовал Обри Бердслей – чистота, слитая с порочностью. Трудно понять, как простая линия может быть столь чувственной. Она – носитель – уж точно этого в себе не понимает. Я восхищаюсь ею, как графикой Бердслея, но темное подсознание делает мое любование слегка отравленным.

Еще она похожа на ландыш (тоже, кстати, ядовитый) – их много у меня в тенистом углу сада, низкорослые диковатые дебри с каплями-колокольчиками сияющего света. Так гармонично все устроено, так сочетаются жесткая плоть и строгая форма листа с жемчужной хрупкостью. А представьте себе такой цветок на фоне, скажем, листья дельфиниума, резной, светлой, нервной – нет, не то, бидермайер какой-то... Здесь же – плотный лак темно-зеленых ланцетовидных листьев, непоколебимая уверенность, непрошибаемая стойкость. Лучший фон для светящихся серебристых капель. И не заподозишь тайной агрессии – подземные стебли свирепо буравят почву, ландышевая поросль разрастается с каждым годом, вытесняя прочую флору.

Полночи мы смотрим Кустурицу, «Аризонскую мечту».

Каждый видит свое. Что они – не знаю, а я – сумасшедшую бабу, мечтающую летать, жуткий трагикомический персонаж. Инфернальную распадающуюся реальность и свое в ней отражение. Музыка Горана Бреговича выворачивает наизнанку, до спазмов в животе. Я сижу между вами, слева Ниночка прильнула ко мне, как зверек, ее голова доверчиво лежит на моем плече, правым плечом я чувствую тебя, а мое тело прошибают разряды. Между вами – электричество, а я – плохой изолятор. Пахнет паленым. Только не показывать виду!

В четыре часа уже начинает светать.

Ниночке скучно на шести сотках, она тащит нас гулять по окрестностям. Это мне нравится, мы ведь с тобой никогда не гуляем – я вожусь с растениями, ты читаешь в кресле. Оказывается, у нас чудные окрестности – крутые речные берега, луга, березовые перелески. Мне хочется многое объяснить ей, но я не знаю как, поэтому невнятно толкую про знаки, которыми говорит с нами мироздание, о его стрелочках и подсказках, об умении их видеть и не бояться. Мы уходим далеко и попадаем на



территорию заброшенного пионерлагеря. Высокой травой заросли площадки, порушенные беседки. Поэтика умирания. Ржавый шпиль флагштока давно забыл, какое знамя трепал на нем ветер. Жизнь отхлынула в другие места. Мне становится жаль детства, холодной росы по утрам, армейской картофелечистки на лагерной кухне и добавки компота за очередной стишок в стенгазете «Зоркий глаз».

Зачем-то мне сегодня надо было оказаться именно в этом нереальном месте, увидеть торжество энтропии, одичание-ржавение-гниение, а поверх распада – утешительные волны трав и листьев. Забираемся в непроходимые дебри. Темно-кирпичные хозяйственные постройки заросли мхом, в них заколоченные окна и глухие железные двери. Ненадежная пожарная лестница ведет на крышу. Мы с Ниночкой лезем наверх, ты остаешься внизу фотографировать. Крыша залита асфальтом, он потрескался, и в трещины лезет жесткая трава. Растительный мусор – шишки, листочки, два изъеденных коррозией прожектора без стекол. «Сталкер» Тарковского, ужас необъяснимого, странное обаяние смерти. Мне уже нехорошо – именно сейчас я читаю все адресованные мне знаки. Это моя жизнь распадается и сыплется трухой, это ее покрывает свежая и жестокая зелень.

Почему она так странно смотрит?

На обратном пути плотина – шумит водослив, огромные крепежные винты уродливы, мертвы, на них чернота и ржавчина. Мы подлезаем под мост, Ниночка стоит в профиль на фоне стеклянно падающей воды, держась рукой за бетонную в пятнах плесени стену, и вода под мостом кажется липкой и черной, как нефть. Твой фотоаппарат работает без устали, строчит пулеметом – тра-та-та-та...

Я уже вся в дырах, как простреленная мишень.

Идем дальше – до чего милая болтовня, почти семейная прогулка! Но иногда в пространстве между вами возникают такие напряжения и сгущения, что меня выталкивает прочь. А если отстать, спрятаться за толстый березовый ствол? Интересно, ты заметишь, что меня нет? Нет, не замечаешь, вы уже далеко. Догоняю – что еще остается?

Реальность бывает видимой и невидимой. Видимая – проста и уютна. Тарелки, ложки, нарезанный хлеб. Я старательно цепляюсь за мелочи быта, как за перила, когда стоишь на смотровой площадке – вдали простор, голубые горные цепи, а внизу – обрыв и ржавые обломки рухнувшей когда-то в пропасть машины. Не смотреть вниз – только вдаль, и только держась за ограждение.

Давно не видела тебя таким оживленным. Удивительно, как лицо меняется от настроения – глаза кажутся больше и загадочней, ты отбрасываешь поседевшую челку со лба упрямым юношеским движением. То и дело всплывает то один, то другой забытый жест, возвращая меня в наше прошлое. Со страхом и восхищением вижу, как ты выпал из возраста, весь – легкость и порыв, парусник при попутном ветре. Жизнь как чудо. Честное слово, я рада за тебя.

Держись за ограждение.

Ничего страшного – воскресный обед.

После мирной трапезы дитя хочет мыть посуду – разве я против? Тащим тарелки и кастрюли на улицу, к ржавому крану.

- Как я вас обоих люблю, – говорит она мне шепотом, - ну просто очень-очень! – и смотрит ясными глазами. Я не знаю, что ответить. Меня трясет, но я улыбаюсь.

- Еленаиванна, ну почему у вас улыбка неискренняя?

Смотрим свеженькие фотографии. Пронизанные майским светом перелески, рябые березовые стволы, атласная гнедая лошадь под нежной кроной корявого дуба, обрывистые речные берега.

Она, везде она. Стоя, сидя – то спина, то профиль, то просто черный силуэт. На фоне зелени – чудо как хороша, на фоне мертвых железных конструкций и бетонных стен – еще лучше. Сейчас отпустит перила и полетит. Девочка-птица, девочка-жизнь.

Вот здесь у нее врубелевский поворот – Царевна-лебедь, совсем нездешняя, глаза огромные. А следом – черно-белый кадр, сухое взрослое лицо, запавшие щеки – или тень так легла. Мавка.

Мне уже даже не страшно.

Она сидит на траве, обхватив колени руками, смотрит на меня искоса. Твердая круглая бровь делает глаз совсем круглым. Нахохленные плечи под черной майкой похожи на крылья. Маленькая хищная птица – соколенок? Странное слияние детского, беззащитного – и внимательного, жестокого. Жалость и страх, жалость и страх.

Музыка. Горан Брегович.

Не видят меня. Стоят, держась за руки.



Ярость захлестывает меня с головой – но это ничего, я умею держать лицо, я старательно улыбаюсь, вытираю посуду и рассовываю по местам, еще раз смахиваю невидимые крошки с уже чистого стола, а потом ухожу в дальний угол сада и, упав коленями в тощую землю, начинаю руками драть сорную траву – сначала медленно, почти через силу, потом постепенно ловлю ритм и уже с остервенением. Жирный запах сныти, тягучий – крапивы, зеленая кровь, стекающая по рукам, хруст рвущихся стеблей – куча зловредной травы растет и закрывает небо. Ну, не небо, но обзор – точно. А я и не хочу видеть этот белый свет, я ползаю на коленях носом к земле, дергаю, дергаю – что-то поддается легко, как осот, что-то упирается: конский щавель, резиновые перчатки разлезлись на клочки, жгучий сок брызжет из раненых стеблей – быстрее, быстрее, яростней; отвожу волосы с мокрого лба, оставляя грязные полосы, зачем-то провожу перчаткой по лицу и, как в зеркале, ощущаю свою чумазость – Золушка, которой давно пора стать феей-крестной – и рву, рву, рву – *господиотпустите менянаволювпампасы, я и там не оставлю ни одной травинки*. На запах вспотевшего тела летят комары, садятся на руки, я размазываю надутые моей кровью тельца по грязной коже. Красное, зеленое, черное, быстрее, яростней, крепче...

- Еленаиванна, а что вы больше любите у Бродского? – неслышно выныривает она из-за жасминного куста. Я улыбаюсь почти настоящей улыбкой и сообщаю совершенно искренне и потому ничуть не задумываясь:

- «Осенний крик ястреба».

-А-а-а... - медленно тянет она и, грациозно крутанувшись на пятке, исчезает так же бесшумно, как и пришла, даже ветки смыкаются абсолютно без звука.

Меня будто окатили холодной водой. Успокоилась.

Сижу на куче травы и думаю.

Объявить невидимую ревнивую войну – кому? Семнадцатилетнему ребенку? Но это мне она ребенок, а тебе?

Пытаюсь смотреть на нее твоими глазами – глазами пятидесятилетнего мужчины, да еще с фотоаппаратом в руках. Обезоруживающая красота. Совершенство линий поразительное. Лучший ракурс – сбоку и немного сзади. Гладко причесанная черная головка, чистая плавная линия щеки с тенью от ресниц, розовое ухо, мраморная шея. Все это меня невыносимо томит и мучает – видимо, улавливаю твои ощущения. Долгие годы супружества не проходят бесследно, мы срослись корнями, как два растения разных видов, и как-то даже тесним друг друга, но попробуй рассадить, разорвать связку корней – вероятность того, что погибнут оба куста, очень велика. Мой сад учит меня многому – невозможности разрыва, но и возможности обновления.

Я замираю от восхищения – люблю ее твоей любовью. Но не только – ведь что касается тайных знаков, и здесь все сошлось. В ее возрасте на полях тетрадей я в задумчивости рисовала именно этот образ, именно этот ракурс.

Неизменно, многократно, бессмысленно. И с томительным обожанием. Она – девочка с моих картинок.

Сижу и обдумываю предьявленные мне сегодня знаки.

Жесткий взгляд фотографа не оставляет мне никаких шансов. Он видит во мне то, что видит, – отяжелевшие щиколотки, складки от носа к углам губ, руки с выпуклыми венами, обмякшие плечи. Возможно, и красива по-своему, но это красота увядания, ухода, тлена. Разве ЭТО – достойно любви? Когда-то я прочитала у Анатолия Кима дикую фразу о том, что женская плоть, похожая на лепесток розы, слишком скоро начинает напоминать старый чулок.

Мне будто показали зеркало – интересно, как я не видела его раньше? Я всегда чувствовала свое тело таким, каким оно было много лет назад, и думала – ничего не изменилось, мне повезло, болезни не тронули меня, даже пошлого целлюлита у меня нет, и походка пружинистая, и фигура молодежавая. Но нет, это был обман – твои фотографии говорят чистую правду. Фотограф может играть со светом, выбрать удачный ракурс – но это ухищрения, а ты же предпочел чистую правду. И с этих пор я ненавижу себя, я ненавижу свое тело, мне кажется, что это морщинистая старая липа рядом с фарфоровым, нежным на просвет колокольчиком ландыша.

Но разве я – это только тело, только старый чулок? А душа, всю жизнь поднимавшаяся по ступеням, а глубина, которая открывается не сразу?

Господи, какие глупости!

Старый чулок – это я. Заброшенный пионерлагерь – это я. Пышные травы подобны зеленым сугробам – заливают луг, заметают неровности, скрывают трещины мироздания. Трухлявая скамья, завалившаяся беседка, ржавый флагшток – это все я. Все, что от меня осталось в водовороте кипящей ливни.

Но ведь она – это тоже я. У женщины нет возраста – вернее, все ее возрасты в ней одновременны. Я знаю, что я часть черного подземного океана, тускло блестящего маслянистой нефтяной густотой,



субстанции необъяснимой и мощной, невидимой, но определяющей все. И я, и она – его брызги, слетевшие с гребня волны, обретшие свободу на краткий миг, перед тем как возвратиться в черное горячее лоно. А если так – зачем моя боль, зачем страх исчезновения, зачем никчемная ярость... Они бессмысленны.

Мне снится сон. Я иду по канату, натянутому меж двух горных склонов, подо мной пропасть, а там, на дне, ржавые останки автомобилей. Не смотреть вниз, мне надо идти – никаких перил. И когда противоположный склон уже близок, на меня пикирует сверху черная птица, ее крыло подрезает остаток моего времени, хищный круглый глаз впивается в мой беззащитный зрачок, я отмахиваюсь, теряю равновесие и падаю – медленно, медленно, но пути назад уже нет, теперь только туда, где ждет на дне расщелины искореженный мертвый металл, а вцепившиеся в склон пыльно-зеленые кусты проплывают мимо меня вверх с равнодушным спокойствием. Но перед тем как падение завершится неизбежным концом, что-то меняется в мире, и я не разбиваюсь об острые ребра камней, а ныряю в черную непрозрачную воду, и покой охватывает меня уже навсегда. Я вернулась.

Утром я заглядываю в ее комнату – разбудить. Она спит так трогательно - беззащитно, подложив тонкую руку под щеку. Нежный румянец освещает лицо, синеватые тени под глазами подчеркивают густоту ресниц, скомканная простыня обнажает тонкую ботичеллиевскую лодыжку и нежную узкую ступню. Я, наверное, рехнулась окончательно – я люблю ее. Я люблю любовь, эту милую девочку. Девочка сама не знает, что она такое. Судьба? Жизнь? Сейчас проснется и зашебечет счастливо. Нина, Ниночка...

Она сидит на веранде ко мне спиной, пуская мыльные пузыри. Невесомые шары, тихо отклеившись от соломинки, виснут в утреннем воздухе, придавая ему объем, обозначая воздушные русла – разделяют двоих, отправляют их в разные стороны и не хотят сливать. Два пузыря нехотя приклеились друг к другу – уродливая фигурка чудом не лопнула, к ней притягивается третья сфера - так и плывут странным сращением среди облака геометрически безупречных форм.

- А вы любите Рембо? – спрашивает она.

Женская проза

*Жёстче. Ещё жёстче. Но что-то не хочет, сопротивляется.
Ну, подойди к зеркалу. Теперь видишь?*

Кто разбудил меня? Кто выдумал? Кто прочертил мой путь среди этих дремучих звезд? Какая гармония выплюнула меня из своих уравновешенных недр, что за космическая катастрофа заставила нестись в пустоте, пылая кометным хвостом и сжимаясь от ужаса?

Сидим с Ольгой на высоком берегу Коломенского, за церковью.... Майский ветер дразнит надеждой и ожиданием. Слезы бегут безостановочно, а она, суровая, не говорит ничего. Я что, жду слов? Знаю, что она права.

Пьем пиво в дурацком резном деревянном домике – дешевом кафе.

- Так нельзя!

- Слушай! – говорю, - но ты же совсем не об этом!

Как хорошо дружить с поэтессой – поэтом, какая разница. Общение такое... глубинное, что ли.

- Оль! – продолжаю я, - но они же совсем другие!

- Нет! – отвечает резко, - не в этом дело! Литература не имеет пола.

- Чушь... – возражаю я, вяло двигая красный пластмассовый стул. – Общее видно только через частное, а частное у каждого свое. Это просто женская проза. И вообще, я тебя просила только конец поправить, а ты целую философию развела. Что нельзя? Почему нельзя?

Ольга закуривает, сквозняк сдувает пепел в кружку.

- Это не литература! Кому они нужны, бабские сопли? Зачем свою слабость им демонстрировать! Мы сильные! Повторяй каждый день, как мантру, – силь-ны-е!

Просто я ей рассказ принесла. Про тетку нашего возраста. Ну да, банальный – как та обнаруживает, что у ненаглядного мужа любовница приключилась. Как мучается, комплексует, впадает в депрессию, пьет коньяк, бьет посуду в пустой квартире, а еще вывешивается из окна с тайной надеждой случайно выпасть, потому что сама проблему «быть или не быть» решить не в состоянии. Так и живет-не живет – в сумрачном состоянии, в омерзительном «между». А конец боюсь плохим делать. Знаю ведь, что сказанное слово материально - значит, меняет рисунок жизни. Я, собственно, с Ольгой хотела



возможные варианты перебрать – как героиню спасти. Окно, естественно, отпадает, как и бритвой по венам (разве что подоспеет «Скорая» - но ведь от дальнейших рецидивов и она не гарантирует), тут нужно нечаянное спасение: психоаналитик? неожиданное наследство? новая любовь? творческий взлет? Но как-то это все смотрится «не пришей кобыле хвост».

Ольга, конечно, права – это не литература. Тогда что же? Приступ паники, а затем сеанс психотерапии для себя любимой. Поколение далеко не юное – что с нами происходит? Ясно, что культурная среда меняется быстрее, чем мы сами. Всю жизнь, защищаясь, возводим вокруг себя стену или, используя природную метафору, кокон - и он в какой-то момент жизни замыкается, теперь его можно называть скафандром. Внутри – тот воздух, которым мы дышим, наши привычки, представления, моральные ценности, идеалы – словом, менталитет. Кокон прозрачен и позволяет наблюдать, что происходит вовне, оставляя за нами право вмешиваться или не вмешиваться в происходящее. При этом наша эмоциональная физиономия может быть самой разнообразной – от заинтересованности до презрения, но главное – мы защищены. Теперь возьмем экстремальную ситуацию – например, любовь к существу, которое свободно дышит в новом, изменившемся мире. Как уж нас угораздило, не об этом речь, но мы ощущаем буквально физическое воздействие – разрыв скафандра, грозящий нам уничтожением. Мы должны или судорожно заделывать пробоину, или пытаться привыкнуть к новому воздуху, по сути, совершенно инопланетному, и, возможно, он станет для нас смертельным. Тут организм не может реагировать разумно, он ощущает глубинный биологический ужас подсознания, панику неизвестности, и разум начинает искать защиту на самых архаических уровнях.

Я хочу пробиться через ужас – но куда?

Стыд и раскаяние – вот что я чувствую после разговора с Ольгой. Звоню Наталье, хоть и не без робости – она профи, а я любитель. Загруженность ее феноменальна и, возможно, компенсирует ей отсутствие личной жизни. Послав текст по мьлу, жду затаившись. Через неделю звонит.

- Слушай, я тебя никогда не пойму. Ты вообще где живешь? На Луне?

- Ты о чем?

- Ты пишешь, как совершенно моногамное существо!

- ???

- Ну, героиня твоя... У нее что, мужиков других не было?

- Не-а... - блею я, как ягненок перед закланием.

Она начинает басом хохотать, даже трубка вибрирует. Отсмеявшись, уже более мягким и даже мечтательным голосом:

- А я полигамная. У меня столько было романов – и каких! Искрящихся. Солнечных! Ну, и трагических, конечно... Но я не жалею. Нет, несколько... А что я сейчас одна – мне даже нравится. Ты знаешь, я уже года три... Сколько я за это время сделать успела! Книга вот выходит новая – кстати, жду на презентацию. Все, пока, чмок-чмок, извини, дела!

Она тоже суровая, и она тоже права. Ну да, у нее дела. А у меня дел нет. То есть я их просто не могу делать. В квартире пыль и невымытая посуда. Всюду окурки. На работе со мной уже почти не заговаривают. Я хожу и думаю рассказ. Я хочу вытащить себя за волосы, как Мюнхгаузен.

Марина едет в метро, разглядывая свое отражение в вагонном стекле, в темноватом тусклом зеркале, скрывающем лишние частности... Белая ветровка вполне стильная – кто ж догадается, что из секунд-хэнда, и прядь блондинистая так красиво падает на щеку, и можно себе улыбнуться и даже подмигнуть – как новому знакомому.

Но вдруг накатывает волной слабость, ноги становятся ватными, спина холодеет, шум в ушах нарастает, перед глазами мелькают сначала чужие колени, потом ботинки, и разводы соли на этих ботинках – последнее, что она видит перед падением в липкую темноту. Когда сознание возвращается, люди уже усаживают ее на сиденье, подбирают высыпавшиеся мелочи, запихивают в сумку, поглядывают с сочувствием и любопытством. Куртка в грязи, брючина порвана на коленке, щека тупо болит от удара, лицо в стекле напротив перекошено и будто потеряло выражение. Следующие десять минут она сопротивляется накатывающим приступам тошноты и головокружения, но все же вздергивает себя и, держа спину прямо, выходит на своей станции.

Путь до дома Марина одолевает в вялом полузабытьи и ознобе, сознание возвращается только в любимом кресле. Тела она не чувствует, шевелиться не хочется, но рука все-таки нашаривает мобильник. Что-то случилось, думает она, что-то случилось с ним...

Муж отвечает не сразу, злым голосом шипит «Отвяжись!», и от ужаса она опять отключается, встрепенувшись только при звуке ключа в замке.



- У тебя все хорошо? Ничего не случилось? А что... что ты делал часа два назад? – спрашивает она, старательно пытаясь наугад смоделировать верную интонацию, скорее шутиливую, чем ехидную, но уж никак не жалобную.

- Целовался с девушкой в кафе – злобно отвечает он. – И перестань вынюхивать...

Она опять куда-то проваливается...

Текст для чтения должен быть легким.

Текст для психотерапии должен быть точным.

Не сходится что-то.

А еще - аналитическая часть моего ума требует ситуацию формализовать и лишь потом описывать. Условно говоря, люди делятся на М и Ж. Господи, да что я говорю! Уж это не условность, а данность. Обложилась книжками, влезла с ногами на диван и, урча от предвкушения найденного ключа, читаю тексты – что-то вроде «Гендер как интрига познания». И что в них? Что женщины чувствуют мир по-другому? Я это и так знаю. Нет, одного в себе не понимаю – если все и так очевидно, зачем мне надо в книгах подтверждения искать? Почему я себе не верю?

Нет, видимо я не сильная. Это Ольга у нас – кремень, а я нет. У меня панцирь расколот. У меня болевой шок. И я не просто хочу рассказ написать - хочу понять, что с собой можно сделать. Литература... при чем тут литература?

Психодрама. Игротерапия. Бред сивой кобылы.

Мне дышать нечем.

Почему мне всю жизнь внушали, что мы одинаковые? Разные мы!

- Что разного? Что по-другому? – сердится Ольга, забежавшая в гости. Сама она тоже когда-то ворочала бетонные плиты в стройотряде (должны же девочки показать, что они ничем не хуже парней!), а потом поимела кучу осложнений, належалась по больницам, врачи говорили, что детей не будет – слава богу, хоть в этом ошиблись. И я тоже хороша – со своими камнями, болотными сапогами и нажитым ревматизмом. Ну, догадалась все же перейти в консультанты косметической фирмы. Скучно, конечно, – но вот еще рассказики пописываю. А для чего? А чтобы понять, что с нами происходит, и только.

- Мы сами идиотки, лезли куда не надо, а нас подначивали. «Девчонки из геологоразведки!» Нет, конечно, физически мы слабее, но вообще – сильнее. А им ведь еще в армию. Кому лучше? – Ольгин голос неумолим.

- Никому не лучше. Но я про эту армию сто раз читала, а про наши ужасы только у Машки Арбатовой. И в армию не все они попадают, а мы все проходим через...

- Ну через что? – ехидничает Ольга. – Да, на войне могут убить, а от родов можно умереть. Ну и поровну, значит.

- Не поровну. Нет, ну почему проза не может сфокусироваться на экзистенциальном моменте из женской жизни? Мы же всегда к смерти ближе. Они же в панике от нее, а мы... Нет, ты слушай, мне соседка по палате рассказывала: попала на сохранение, положили в коридоре, помочь не смогли, родила шестимесячного – говорят, не жилец, бросили на подоконник и ушли, а он живой и кричит! Он три часа кричал, все тише и тише, пока не затих. А она три часа этот крик слушала. Оль, скажи, это не экзистенциальный опыт?

- Нет, а зачем вообще об этом говорить? О физиологии? О нижнем этаже?

- Оль, я заору. Какая физиология? Смерть – тоже физиология?

Нет, хочется посоветоваться с мужчиной.

Притель-геолог, с которым мы пьем кофе во французской кофейне, прочитав текст, ухмыляется и изрекает – ты не настоящий писатель. Почему? Да потому, что ты пишешь только свою точку зрения. Вот Лев Толстой – он любого героя мог почувствовать изнутри: женщину и мужчину, молодого и старого.

Ух, как я взвиваюсь, – не верю я его женщинам! Маленькой княгине – не верю, Наташе Ростовой – не верю. Не такие у нас ощущения. Я что, не имею право написать, что не такие? Ну ладно, соглашается он, Толстой тебе не нравится. А Пастернак, «Детство Люверс»? Ощущения взрослеющей девочки?

- Хочешь про ощущения взрослеющей девочки? – говорю я ему дружелюбно-змеиным голосом. Ох, сейчас скажу! Вообще-то мы не в таких отношениях, чтоб как на духу, но я скажу. Про взрослеющую девочку, которая боится идти домой из школы, потому что она дичь, на которую есть охотники. Потому что в подъезде засада, и трое идиотов: один с обезьяньим наморщенным лбом, второй кругломордый, как свинья, а третий, маленький вертлявый клоун – ждут на лестнице, чтобы больно потискать грудь, а то еще и юбку задрать. Гнусные рожи, липкие пальцы, бесстыжие глаза. И слюнявые, господа, слюнявые



какие! А пожаловаться никому нельзя, потому что стыдно. И мерзкий старикан-лифтер в круглых железных очочках ее ненавидит, плотоядно наблюдая возню с мальчишками и думая, что она сама такая. За это он не пускает в лифт, и надо пилить на седьмой этаж по лестнице, а там опять засада.

Но я их перехитрю, я сильная. Я придумываю всякие штуки – совать за пазуху толстую книгу или прятать тайные булавки в подол, или выпрашивать у брата милицейский свисток.. Вчера толстый Славка все-таки укололся о тщательно замаскированное стальное жало, и в момент растерянности удалось дать ему ногой в живот, он кубарем летел по лестнице и визжал «Дура!», а вечером пришли его родители, мамаша трясла жирным подбородком и кричала, что я хулиганка... А я молчала – не могла же я при папе объяснить, в чем дело.

Слушай, я ведь и дальше могу - дальше больше. Не детство – полная копилка историй, своих и подружкиных. Я ведь и не рассказывала никогда никому, а вот теперь тебе расскажу.

Но дальше приятель не хочет - говорит, преувеличиваешь. Дичь и охотники – нашла тоже образ! Типично женская манера - из ерунды трагедию делать! Он нервно переворачивает чашку и машинально развозит ложечкой по блюдцу кофейную гущу. А я смотрю на него и думаю – кто знает, может ты сам из этих охотников.

И что, с тобой советоваться?

Нет, мы расстаемся вполне мирно, он даже целует меня в щеку – сорокалетняя дружба что-то значит.

Наталья сказала про моногамность. Значит, М и Ж делим еще надвое, итого – четыре. Нас всего четыре типа на свете. Найти свою половину – это называется Гармония, тогда становишься целым и к этому привыкаешь. А потеряв свою половину, потеряв Гармонию, чувствуешь себя разодранной пополам. Вернуться к состоянию «до» уже нельзя, как нельзя изменить состав крови, испорченной гепатитом. И это не на уровне отвлеченных идей типа «надо-не надо», «можно-нельзя», а уже соматика, когда налицо вполне физиологические признаки – тошнота, тремор, выключение звука и цвета. Утечка энергии. Пробой конденсатора. Сползание в черную дыру. Воронка для слива в ванной. Самосожжение хвостатой кометы

Сильные мы, как же... Мантра не работает.

Что сделать, чтобы выздороветь, чтобы выжить?

Как моей героине сделаться полигамной?

Культура – это системное вранье. Раньше я не задумывалась про двойные стандарты. Интересно, я нравственные нормы впитала или я с ними родилась? Женщина должна быть верной. Нельзя спать с тем, кого не любишь. За любимого можно отдать жизнь. Вспомним царя Адмета, а лучше Филемона и Бавкиду. Нет, нет, это не навязанное, я кожей так чувствую.

И вдруг – бабах! – оказывается, все живут не так. И вытащено на свет все, о чем умалчивали стыдливо. И можно хвастаться количеством баб. И современная культура «без комплексов» уже кричит на каждом углу о мужском праве сильного. О биологическом праве менять женщину когда захочется. И нам предлагают то же – меняйте, кто вам запрещает. А у нас, моногамных, биология другая. Моя, например, в ужасе.

А если сформулировать иначе – их биология враждебна нашей. Необъявленная война на поражение. Нет, не в пределах человечества, иначе человечество бы выродилось – а в пределах одного поколения. Ушла думать.

Пышная розовая Анята в полосатой банной простыне сегодня определенно радуется глаз. Она сделала новую стрижку и фантастической красоты четырехцветное мелирование. А еще устроилась на работу – продавщицей в мебельный магазин, и страшно этим гордится.

- И как себя чувствует кандидат наук среди ампириных спален? – осторожно ехидничаю я.

- Самостоятельно! – отвечает она. – Хочешь варенья? С дачи?

Анята не сердится, у нее ангельский характер. Срывается только на детей. С мальчиками вообще трудно, а эти двое – все в мужа. Бывшего, разумеется. Он давно уже австралийскую науку двигает. Она сначала радовалась – деньги присылал. Потом пару раз съездила, ей понравилось, поехала вместе с детьми насовсем, да случайно обнаружила следы женского пребывания в доме. Бывшая спортсменка-комсомолка не смогла вынести такого удара. Принципиальность у нее в крови – развернулась и уехала обратно. Уже десять лет одна. Потому что моногамная, вот. Улыбается, вся в делах. Готовит великолепно. Добрая, веселая, красивая. И одна.



-Ань! – говорю, - мне тут для рассказа надо. Скажи, сколько тебе лет понадобилось, чтоб Виталика забыть, успокоиться чтобы, перестать умирать каждое утро...

- Забыть? – пытается бодриться она, а потом неожиданно жестко: - А я и не забыла. А умирать перестала, кажется, только сейчас. Знаешь, почему? Посмотрела тут в зеркало, и подумала – все уже, куда мне с моим варикозом... Имеет право. И дети мне говорят – имеет право.

Она высовывает в распах простыни красивую ногу с выпукло змеящимися синими венами – вторая беременность след оставила. Я краснею и затыкаюсь. Мне повезло больше – у меня все вены после родов как-то назад убралась.

- Ладно, ласточка! – пытаюсь разрядить обстановку.- Давай свое варенье!

Полностью ощутить свою инакость миру, описанному и усвоенному в мужских терминах, мне привелось только в родах. Измененное состояние сознания, неотделимого от тела. Тебя мнут как первородную глину, выкручивают, и ты не в состоянии противиться процессу. Ты сливаешься с чем-то гораздо более огромным и непостижимым, тебя несет поток, бьет о камни, раздирает плоть. Оно меняет обличья – туннель клинической смерти с пятном света в недостижимом конце, клубящаяся черная медуза с фиолетовыми щупальцами, россыпи звезд в распахнутом чернильном мраке. Поток пронесит тебя мимо черной засасывающей воронки – и может быть, пронесет. Безволие не пугает – оно смешано с восторгом перехода в иное пространство. Понять этого нельзя – почувствовать можно. И потом, лежа на кровавых простынях, долго и тщательно собирать себя из осколков в новое целое.

Когда между нами случается обрыв связи, что-то происходит и со зрением. Ну, что глаза непостоянны – я давно знаю. Скажем, как-то обнаружила, что у меня правый и левый цвета воспринимают по-разному. Один – как сквозь желтый фильтр, другой – через голубой.

Еще знаю, что цвет зависит от настроения. Например, цвет обоев в комнате. Неделю по магазинам слонялась, оттенки сравнивала, выбирала, нервничала. Только выберу, подойду к кассе – и вдруг что-то отталкивает – нет, не то! А когда набрела на то, что как-то сразу легло – обрадовалась. И что? теперь вот смотрю на стены – то они медовые, то кофе с молоком, то в абрикосовый их ведет. С утра, еще глаза не открыв, гадаю – а сегодня у нас какие?

Или вот еще – любимый мужчина сидит на кухне в оранжевой майке и отражается в зеркальном шкафу. Я, то и дело на зеркало косясь, смакую оранжевый блик. А через час выхожу на кухню – а он в серой. Ты переодевался? Да нет, говорит, я из-за компьютера и не вставал.

Когда муж сказал Марине, через плечо сказал, спиной стоя и затягиваясь сигаретой, что у него есть девушка, она не поняла. Но переспрашивать не стала, а несколько раз повторила эти слова про себя, пытаясь извлечь смысл из несурзаицы. Слова были понятны по одному, а смысл не складывался, выскальзывал, как мыло. Когда же все-таки сложился, в голове что-то взорвалось и заложило уши. Он повернулся к ней и стал что-то объяснять, но по шевелению губ ничего понять было невозможно. Они двигались, как у сомика в аквариуме, и сквозь плотную воду не доходило ничего. Она бессмысленно попыталась положить руку ему на плечо, но он сбросил – с лицом ничего не выражающим, как манекен. Она так и стояла столбом, не соображая, что загородила ему дорогу, и под таким ненавидящим взглядом, что сила ненависти заставила ее слегка прогнуться. Огибая ее, он протиснулся в дверь, включил в другой комнате компьютер и ушел в него невидящими глазами. В ушах у нее тяжело грохал молот, голова была ртутной и ватной, как в болезни. Нелинейное время завязалось в узел – стрелки часов меняли положение, как при ускоренной съемке, а она все стояла. Он снова вышел на кухню, поставил чайник. И майка снова была оранжевой. Дурной сон – подумалось ей.

- Ты что, поговорить хочешь?

- Я не понимаю, – жалко и тихо выдохнула она.

- Ты не понимаешь, что надоедает жить двадцать лет с одной и той же женщиной? Даже с самой идеальной? Все кончается. Я имею право попробовать другую жизнь.

- А как же я?

- Это твои проблемы, - и он снова закрыл за собой дверь.

Мир стал другим в секунду. Константы изменились, скрепы распались, формы растеклись. Краски отхлынули от предметов, как кровь от лица. Красная чашка, зеленая лиана на стене, желтая лимонная кожура – все вмиг обернулось черно-белой фотографией. Марина помотала головой, будто пленка, налившаяся на глаза, могла исчезнуть, но обескровленный мир так и остался серым. Он распался, рассыпался, как пыль, мешал дышать, все было свинец и порох, он леденил легкие, у нее замерзли ступни, будто она стояла в водянисто-снежной каше, и такими же водянистыми становились предметы, и черный цвет тоже исчезал, смешиваясь с белым, и только оттенки грязного льда заполнили пространство, мерзкий зимний свет вползал в дом, голова кружилась, она падала в ледяную воронку,



тошнотворный ужас плескался в животе, нетелесная боль была невыносимой. Жизнь не вытекала – замерзала заживо, обугливалась от стужи. Марина туго смотрела на свою руку – отвратительно серую, мутно бесцветную, и думала, что таким всегда виделось ей приближение смерти. Почувствовала, что сейчас задохнется окончательно, но в голове все-таки еще билась какая-то жилка – единственная, испугавшаяся «не быть» и потому сигналившая о спасении. Морок нужно было победить, и немедленно. Кухонный нож, попавшийся на глаза, подходил больше всего, и она, сама не понимая, что делает, полоснула ножом по руке раз, другой, третий. Кожа разошлась с каким-то неприятным хрустом, брызнула кровь – алая, живая, потекла струйкой на белые плитки пола, и сразу стало легче дышать, и все оттаивало внутри. Красная лужица становилась все больше, Марина смеялась тихим выздоравливающим смехом – краски возвращались, проявлялись, пробивая серость, лед таял и тоже тек, но не смешивался с красными ручьями. Боль в груди отпустила, только порезы саднили. Голова кружилась, и она, почти счастливая от возможности вздохнуть, села на пол. «Репетиция смерти» – подумала она и опять засмеялась. Заглянул муж, крикнул «идиотка!», она хохотала истеричнее и не могла остановиться, какие-то мышцы внутри сами сокращались, производя эти дикие звуки. Пощечина остановила их, и началось восстановление разрушенного – струя холодной воды, йод-бинтование-отмывание, родное тактильное тепло, и если не смотреть в маленькие злые глаза, то на сегодняшний день единственное доступное счастье. Он нашел ей рюмку коньяка и уложил спать. Она лежала, слышала гудение его компьютера, знала, что сейчас он пишет подружке очередное письмо, и повторяла «репетиция смерти, репетиция смерти...», пока не заснула.

То же безволие перед тем, что больше и сильнее человека, неостановимость потока, слияние души и тела в комок первородной боли. Волевое усилие здесь бессмысленно, процесс неконтролируем – тебя несет. И опять мимо черной дыры – о, как хочется надеяться, что мимо!

Моя героиня прошла через метафизическую катастрофу. Мир разлетелся даже не на куски – мгновенная вспышка сверхновой разнесла его просто в пыль. Смертельное облако будет расширяться, а потом сожмется обратно, и вокруг обновленной звезды, как заводные волчки, завертятся новые планеты. Может, это и есть переход от моно- к поли-... Через репетицию смерти? И что в нас должно умереть, а что остаться?

Себе я, кажется, ничем не помогла, а рассказ все-таки дописала – суеверно завершила хэппи-эндом. Не могла же я бросить ее в таком состоянии, она бы не выжила. Любимый муж побегал и вернулся, Марина поумнела и перестала принимать нравственные нормы за чистую монету, перестала и умирать по каждому поводу. Привыкла.

Не поумнела только я - поэтому, прекратив донимать Ольгу своими теориями, понесла рукопись знакомой писательнице Ксении, к тому же редакторше отдела прозы. Голубоглазая Ксения вертится туда-сюда в рабочем кресле, смотрит на меня кислым ироническим взглядом и говорит – нельзя, так не пишут!

- А как пишут? – удивляюсь я.

- По-мужски, - объясняет она.

- Но почему нельзя по-женски? – недоумеваю я.

Сама Ксения пишет от женщинах именно по-мужски, очень разумно и без всякой соматики. Уж она в обмороки от измен не падает. Полигамная...

- Ты, моя дорогая, не литератор, - снисходит до объяснений Ксения, любуясь своим свежим маникюром, - и не понимаешь, что в литературном мире есть свои критерии. Их задают мужчины, чего уж там. С этим ничего не сделать – как с климатом. Просто надо иметь в виду. Ты думаешь, им это интересно? Бабские сопли? Жестче надо. И для них делать выигрышной – чтобы их цепляло. Ты знаешь, что их цепляет?

- Да мне не интересно, что их, мне интересно, что меня! Кто вообще эти критерии задает? Лев Толстой? Или такие, как ты? – последняя реплика почему-то смертельно обижает Ксению, она даже забывает, что предлагала мне чашку кофе, обзывает феминисткой, дает отмашку рукой, и я удаляюсь со своей рукописью под мышкой. Как там наша мантра?

Мы сидим с Ольгой на высоком берегу Коломенского, над пристанью моторных лодок. Ветер уже пахнет осенью, слабые листья начинают сыпаться, но еще тепло. Про злополучный рассказ больше не говорим. Берем пива, и когда голова начинает немного кружиться, подмигиваем друг другу и бежим вниз в поисках лодочника. Моторка ревет и выносит нас на середину реки, оставляя за собой пенный полукруг. Волосы треплет ветер. Нам хорошо.

Жестче. Еще жестче. Посмотри в зеркало. Тебе много лет, и ты выполнила свое назначение на свете. Родила детей и отпустила их жить. Почему ты не чувствуешь, что свободна?





Лара Галь (С.-Петербург)

РАЗГОВОРЫ В ЛИСТВЕ

Тебе нынче двадцать один, принцесса, а мне сорок два... Ровно вдвое старше - редкая пропорция в связке мама-дочь. Поговорим, как большие?

Поговорим, как это обычно у нас бывает: я - говорю, приманивая воробышки слов к кормушке смысла, а ты - слушаешь, как умеешь слушать только ты, синяя всёпонимающими глазами. А потом долго молчим, привыкая к немного новым себе, ведь маленький взаимопитающий обмен совершился в разговоре, пусть мы и не заметили как...

Замечала, что мы - люди - любим друг друга безоговорочно за общность, и как-то не вглядываясь, полагаем, что любим и за разность тоже? Но саму разность - ее габариты - ощущаем весьма смутно. Но иногда случается задеть острым ногтем конфликта этот "багаж" разности, и сквозь рваные царапины на упаковке просвечивает многое, что предстоит узнать друг о друге. Следовало бы разобрать этот груз по сортам: ведь есть разность, что можно легко снивелировать. А есть такая, что придется просто принять. На время. Или навсегда. Неизвестно.

Но пока этот груз не разобран по сортам, не усвоен, не понят-осмыслен-определен, он будет мучить и тяготить, как неделанное, постоянно откладываемое дело.

Наверное, так же и с детьми. Они наследуют нам, они наследуют нас. Сквозные невидимые нити тянутся из хронической тьмы, нанизывая родителей - детей - внуков, и дальше, дальше, словно бусины для четок Бога.

Разность с детьми мучительна, как роды, и неизбежна, как они же. Сходство с детьми - своего рода приговор детям, и много, много формул этого приговора рассеяно в разных культурах. От общеизвестного "яблоко от яблони недалеко падает" до суфийски-изысканного "дерево, на которое залезла мать, дочь проходит по ветвям".

Веришь, меня всегда завораживала эта пословица. Эта картинка - женщина на дереве - что-то далёкое сейчас напомнило, из детства. Да, точно. Когда-то давно - мне было лет пять всего - родители снимали хибарку у очень дряхлой старушки. Такой вечно согнутой, с палочкой, беззубой бабушки. Хибарка стояла посреди двора-сада - выйдешь на порог, а кругом деревья и кусты. Даже кусты казались большими - выше меня потому что. Помню, я их боялась: крыжовник был колюч, а смородина почему-то, на мой детский взгляд, выглядела враждебно.

А вот деревья виделись мне добрыми. Почти все они в бабушкином саду-дворе были фруктовые: вишни, яблони, груши. Я и сейчас помню крапинки на вишневой коре, что легко отслаивалась круглой атласной лентой. А возле калитки рос старый тополь - мама однажды назвала мне имена деревьев, и я запомнила, - так вот кора тополя была грубой, как если бы кто собрал в пучки трещины асфальта, а сам он виделся мне неприступным. Фруктовые же деревья - низкорослые, с ветками во все стороны, а т л а с н о к о р ы е - казались уютными.

Я была таким задумчивым ребенком, знаешь, могла подолгу сидеть на качелях и что-то там наговаривать-напевать, наматывая травинку на пальчик, уставившись в никуда. И мама, стараясь меня расшевелить, заставляла лазать по деревьям. Подсаживала меня, пыхтящую, до первой "развилки" ствола, а дальше надо было самой. Я пробовала ветки над собой, продвигалась до следующей развилки и усаживалась там. Всего в метрах двух над землей, как сейчас понимаю, но тогда казалось - на страшной



высоте. Смешно, но слезать я не умела. А посидеть на ветке хотелось. Потому, мама оставляла меня там на полчаса, а потом приходила и помогала спуститься. Там, над землей, на веточной развилке, было очень странно находиться. Сейчас в этом сидении можно увидеть столько всяких символов... Символов, что еще не осознавались тогда, в детстве, но ощущались как смутное одиночество.

«Вот, - думалось мне, - сидит девочка. Сидит на ветке, как птичка, но улететь не может. И спуститься вниз сама не может. Девочка одна. Совсем-совсем». Отчего-то именно сидя на дереве я ловила частички экзистенциальной – как сейчас сказала бы - радиации.

А ты знаешь, что в скандинавской мифологии есть такой бог - Один? И вот этот Один тоже как-то с о о т н е с с я с дивным деревом – ясенем Иггдрасиль.

«Древо п р е д е л а» - так называется оно в мифологии, или "мировое дерево". Его ветви раскинуты над всем миром, они же кладут миру предел в пространстве.

И знаешь, как с о о т н е с с я с этим ясенем Один? Нет, это не «Я спросил у ясеня, где моя любимая». Улыбаешься? Это хорошо. Один ритуально повесил себя на этом дереве. На девять дней. Чтобы обрести тайное знание, руны. «... висел... в ветвях на ветру девять долгих ночей, пронзенный копьем... в жертву себе же, на дереве том, чьи корни сокрыты в недрах неведомых...» Видишь ли, Иггдрасиль корнями, стволем и ветвями соединяет собой все миры: мир богов, мир людей и подземный мир. Три корня у этого Ясеня - три источника:

источник «Мёд» - «в котором сокрыты знание и мудрость», и мёдом пропитан весь Иггдрасиль, источник «Судьба» - из него норны, определяющие судьбы людей, поливают дерево, «И так священна эта вода, что все, что ни попадает в источник, становится белым, словно пленка, лежащая под скорлупой яйца». Третий источник - "Память".

Вот она и засбоила сейчас, эта память, потому что я забыла, с чего вдруг заговорила об этом ясене. Ах, да. О связке "Один - одиночество" я хотела сказать. Замечала ли, что слова порой смыкаются так неожиданно? Вдруг в голове образуется связка: Один на дереве - я на дереве... Казалось бы, ну что во мне от Одина? А вот смыкаются созвучия, рождаются летучие мысли, пристраиваются невидимыми стрекозиными крылышками к душе, уносят в листочковый шепотливый мир...

А еще я помню очень ярко, как однажды выбежала в тот сад искать маму. В доме ее не было, и я неожиданно испугалась. Это было другое одиночество: потеряться на земле - совсем не то, что быть одной на дереве.

«Мама! - кричала я, взрыдывая. - Ма-ма!» «Ты шиво это?» - удивленно прошамкала бабушка-хозяйка, - во-о-он твоя мама, на груше сидит с книшкой". Груша была старая, очень высокая. К стволу приставлена некрашенная деревянная серая лесенка, такая старая, что казалась полированной... Смотрю как мама осторожно спускается, держа книжку в руке, а солнце прокалывает ее высоко уложенную косу... Осиянная мама наклоняется, вытирает мне щеки, молча берет за руку, отводит в дом.

Эта картинка - спускающаяся с дерева мама в хрустальном разноцветье лучей - со мной навсегда.

«Дерево, на которое залезла мать, дочь проходит по ветвям» - что за смысл был изначально вложен в это выражение? Осуждающий? Ободряющий? Может быть, просто - кто-то отметил зависимость, а мы сами наполняем связки оттенками смысла? Вскоре, мы переехали из той хибарки в саду в свою квартиру в пятиэтажке. Как-то одновременно запил папа и родились двойняшки. Детство кончилось.

Деревья вдруг сделались враждебны. Потому что в темноте мимо огромных черных деревьев мне часто приходилось бегать в аптеку за кислородной подушкой: двойняшки родились недоношенными, и что-то важное зависело от этой подушки, и почему-то ночами это обнаруживалось... Хотя, может и не совсем ночами, но было очень темно в ту позднюю осень и безлюдно. Я бежала по улице две трамвайные остановки, а деревья поджидали меня в темноте, держа тяжелое небо на растопыренных корявых пальцах.

Только возле аптеки деревья казались добрыми, проясненными, словно обращенными в человеколюбие светом из окон-витрин, да близостью взрослого - надо было только нажать на кнопку звонка у белых букв «ДЕЖУРАНТ», и тот приходил, узнавал меня и давал матерчатую темнозеленую тугую кислородную подушку.

Нестись домой с подушкой было не страшно. «Вот, - думалось мне, - они видят, что я несу очень важную вещь, они не тронут меня, пока я не отдам эту подушку, а там, дома, я спрячусь с головой под одеяло». Кто были эти «они» и почему их могло остановить уважение к моей «подушечной» миссии - я не могла бы объяснить и сейчас. Но они точно были. У тебя тоже? Ну разумеется, ведь «дерево, на которое залезла мать, дочь проходит по ветвям»...



Поэтому у тебя сейчас период моих - ну, таких же, как у меня в твоём возрасте, - ночных страшилок, когда боишься спать один, когда везде ощущаешь п р и с у т с т в и е. Не бойся, детка, это всего лишь норны поливают дерево судьбы, а вода тихонько просачивается в наш мир. Ты, конечно же, не знаешь песню "Дерева", а тогда ее напевали многие:

Дерева вы мои, деревья,
 Что вам головы гнуть-горевать.
 До беды, до поры
 Шумны ваши шатры,
 Терема, терема, терема.

«Терема, - зачаровывалась я, слушая эту песню в тринадцать лет, - в детстве на дереве, словно в тереме, в окошке горницы, горница – это горнее, возвышенное, неземное». Мама напевала эту песенку часто, у нее был красивый голос, сильный такой, низкий... Вспоминала ли она ту грушу, на которой однажды читала книжку, откуда спускалась ко мне в нимбе из моих слёз и лучей, словно один из ангелов по лестнице Иакова.

Дерево, на которое залезла мать, дочь проходит по ветвям... На какое бы дерево в детстве я ни забиралась - мама снимала меня оттуда. Сама она спускалась с дерева по старой лесенке.

Была бы у меня та лесенка, да не дожила до меня взрослой, так и живу на дереве - в тереме? - между небом и землей. Не спуститься вниз самой - нет лесенки, и я не Иаков, чтобы приснить ее себе.

Да и не хочу я спускаться.

А ты любишь высокие каблуки, чтобы тоже касаться земли по минимуму, да? Ты шагаешь, точно по тонким веткам ступаешь - по веткам дерева, на которое залезла я? Мед, судьба и память питают дерево моего предела.

Тебе нынче двадцать один, принцесса.

Поговорим, как большие? Как большие - это без особого толка, ибо какой может быть толк в разговоре на дереве, чьи ветки определяют собой мир, и все наши разговоры - лишь шелест в его листве.

Сергей Донец (Вологда)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

(отрывки из романа)

Зимнее декабрьское утро 6904 года со дня сотворения мира застало настоятеля Симонова монастыря Кирилла со слезами благодарности на глазах. Ночью в стылой келье во время сна внутри тесной домовины иеромонаху было чудное видение.

- Я возведу тебя в край Белозерья, - сказала Богоматерь, обратив его взор на пылающий огненным столбом Север, и возвела преподобного Кирилла на высокую гору. Воззрел Кирилл, что стоит гора та высокая на Севере дальнем среди леса дремучего - преддремучего, в самое небо сосновой макушкой упирается. По горе той растут сосны медные - премедные и ели высокие - превысокие. По тем стройным - престройным соснам и елям скачут себе преспокойно белки – сестрички. Шарят в кедровых дуплах дрозды – племянники. Стучат по рыжей коре дятлы - соседушки. Прыгают птицы с ветки на ветку и никого не боятся. Попрыгают – попрыгают и взлетят в синее в белых лоскутиках облаков небо. Ходят под елками серые волки – братишки сытые, спокойные и никого не трогают. Даже зайцам-шалунишкам уступают дорогу. Живыми ручейками между зонтичными зарослями папоротника, по золотому беспорядку хвойных иголок от муравейника и обратно текут темно-коричневые ручейки муравьев - работничков, никого вокруг не замечающих. Пчелы – сладкоежки, садясь на цветы, пачкают ножки в нектаре и несут его в пчелиные соты, скрытые в дуплах столетних дубов и лип. Воздух на горе такой духмяный и сладкий, что его просто хочется пить натошак от всяких болезней или намазывать на булку к чаю. С той горы библейской видно далеко – далече. Пытливый взгляд случайного путника, взобравшегося по божьему провидению на гору, с ее покатога восточного склона по створу лощины, наполненному легким туманом, достает до голубого блюдечка озера со стаями тучных и ленивых от жира рыб. Скользит по кисельным берегам молочных рек и упирается в шар солнца, похожий на желток гигантского яйца. Вокруг такая тишь и божья благодать, что Кирилл, взойдя на вершину, падает ниц и благодарит Богоматерь:



- Слава тебе, Матерь Божья!

Лоб Кирилла ударяется обо что-то твердое и холодное. Старец, морщась от боли, осторожно трогает лоб. На указательном и безымянном пальцах правой руки, поднятой для крестного осенения, Кирилл замечает красную жидкость. «Кровь! Вот знамение божье!» Снова бьет поклоны и в очередной раз ударяется рассеченным лбом о жесткую поверхность. Ошупывает ее руками. Открывает глаза и прямо перед собой различает гранитный валун огромных размеров. Поднимается с дрожащих колен и пытается взобраться на поросший мхом камень. Но камень мокрый и скользкий. Поэтому или еще по какой-то другой причине у него ничего не получается. Сырая подошва сапог, сшитых из тонкой и крепкой телячьей кожи, скользит по граниту. Тогда Кирилл снимает сапоги. Вздвигается вверх. Кланяется небесам на все четыре стороны света. Вдруг безоблачное небо разверзается бездной, рыкающей громом и сверкающей молнией. Потом еще и еще. Одна огненная стрела ударяет прямо в южный бок валуна. Гроза усиливается. Кирилл чуть не срывается вниз, быстро переступив с ноги на ногу. Следом за ударом молнии на гору обрушивается мощный ливень, но не надолго. Через несколько мгновений из-за туч вновь выглядывает ласковое солнце. Кирилл замечает легкое покалывание в подошве правой ноги и только тут обращает внимание на то, что его ступня на два – два с половиной вершка углубилась в камень, словно он был из податливого воска, а не из железного гранита.

«Чудеса твои, Пресвятая Дева Мария!» - молвил Кирилл и проснулся. Перекрестился и попробовал на вкус жидкость на руках: «Соленая». Отодвинул крышку. Приподнялся на жестком ложе домотопы. В келье тихо и темно.

Кирилл с трудом выбрался из соснового гроба и ступил на пол. Подошел к лампаде под иконкой Богоматери. Но и в слабеньком огоньке лампадки он разглядел красный цвет крови. «Значит, не сон?»

- Не сон, - колыхнулся огонек лампадки.

- Так что же мне делать, Матерь Божья? – монах перекрестился на лик Богородицы.

- Проси патриаршего благословения идти на Белозерье и духом укреплять слабых.

- Это как же, Пресвятая Дева Мария?

- Сначала построй там скит. Потом наладь часовенку. За нею возведи храм. А там и монастырь православный в Белозерье на озере Сиверском поставь. Помощников сам себе из черносошных крестьян выбирай. Старайся найти из вепсов и веси. Они хоть и угоры, но двуязычны и давно между славянами живут. Северяне народ крепкий, верный и мастеровитый.

- Да как же я справлюсь в чужих и дальних краях со всем этим?

- Справишься. – Огонек лампадки колыхнулся из стороны в сторону. – Но я ведь уже немолод и телом слаб. – Укрепишься духом и телом поправишься. – Я – грешен. – Кто без греха? – Матерь Божья, но мне еще не все истины Господни открылись. – Молись, и многое станет доступно тебе. – Научи меня кротости и крепости духа. – Молись, Кирилл! – Научи, матушка, как надо молиться. – Хорошо. Научу. – Колеблется огонек и ярко вспыхивает. – Молись упорно, восстав с ночного ложа. Молись истово перед трапезой трижды в день. Молись, спасаясь и каясь, при отходе ко сну. Молись прилежно за упокой умерших. Молись щедро во здравие живых. Молись, как и положено в пост. Молись зело упорно в праздники, а пуше в будни церковные. Молись кротко при одной мысли греховной и за всех грешных. Молись покаянно при раскатах грома и в ясную погоду. Молись, не страшась стужи. Молись, не кланя жары. Молись и кланяйся, как маятник часов, днем и ночью. Молись, радуясь и скорбя, в счастье и в горе. Молись в тайне от братии. Молись не напоказ, а в душе. Молись... - огонек лампадки, качнувшись в темноте кельи, сделался маленькой звездочкой с крылышками и выпорхнул в окошко. Легкий дымок развеялся по всей келье и вскружил голову преподобного.

- Матерь Божья, я все сделаю, как ты велишь.

Монах ощутил сильные приступы головной боли и трижды в молитве перекрестился. – Господи, не оставляй меня и да избави от лукавого. Господи, прости все мои согрешения вольные и невольные. Господи, укрепи члены мои и дух мой на дело праведное и богоспасаемое...

С монастырской колокольни раздались первые удары колокола, зовущего монастырскую братию к утренней службе и вековечному послушанию на многочисленных монастырских работах.

После вещего сна Кирилл засобирался в дорогу дальнюю. На днях рыболовецкая партия поморов - архангелогородцев должна была караваном отправиться в путь, чтобы к рождеству попасть домой в Архангельский городок. Снегу навалило вдосталь. Морозы стояли несильные, но санные дороги по рекам уже установились. Дорога звала...

В иеромонахе Кирилле ангел узнал черты, роднившие преподобного с апостолом Павлом. Он понимал, что предназначение пророка – в посланиях и откровениях нести учение Христа людям. Апостолы, как ученики Христовы, учась у мессии, сами наставляли паству, являя миру Слово Господне. В отличие от пророков бессловесные ангелы, как вестники божьи, одним своим появлением обозначали



волю Творца. Ангелы выступали заступниками человека. Нередко случалось так, что святые, отойдя в мир иной, выполняли эту роль в отношении людей, нареченных при рождении именами святых. Но не всегда имя ангела-хранителя совпадало с мирским именем человека. Так, с младых ногтей инока Кирилла хранил дух апостола Павла. Сам Кирилл предназначался для пророческой миссии... Поиски следов недостающих ангелов надо было продолжить...

Долгим оказался путь черного монаха Кирилла в заповедный Белозерский край. Волею судеб странникам пришлось примкнуть к русской дружине, вышедшей из Москвы против кочевников, вторгшихся в верховья Волги. По несильно истоптанной дороге на Вологду на них внезапно напали зловонные и громогласные ордынцы из заволжских степных улусов.

Степняки, несмотря на свою долго прожитую на Руси жизнь, были низкорослые, желтокожие и плюгавые по сравнению с русскими витязями. Лошадки под татарами тоже были маленькие и злые. Если всадник не мог одолеть противника, то они без всякого сожаления кусали хозяина за неосторожно подставленные конечности. Черная человеческая кровь ручьем хлестала из-под разорванных суставов. Басурмане ловко хватались за собственные жидкие татарские бороды и пытались вспять повернуть неумолимое время. У них даже малиновый пар шел из торчащих лопухами ушей.

Преследуя русских ратников, конница кочевников рысью шла по колючим репейникам и вязким болотам, утопая в гиблых торфяных провалах. Русь на собственных широких плечах выносила врагов к неминуемой гибели, но и сама лишалась своих сынов. Действовал пращуровый закон талибана: око за око, зуб за зуб.

В библейском походе преподобный Кирилл получил несколько важных жизненных уроков. Во-первых, он стал больше полагаться на себя самого, так как разуверился в самых преданных друзьях, которые в минуты смертельной опасности готовы были отречься даже от близких людей. Во-вторых, чернец стал просить Господа простить отступников за тяжкие преступления, вольные и невольные. За насельников Симонова монастыря, чьими стараниями настоятель на старости лет ушел в заповор и отказался от сана настоятеля.

Начинался северный поход на удивление очень хорошо. Под благословение великого князя они выпили целое море хмельной медовухи и съели три короба пропеченных в русской печи выловленных поздней осенью раков. Играли на готских лютнях и пели под пастушьи свирели. От струнной музыки даже холодок шел по коже. Мохнатые и толстые задницы воинов, выделенных князем для охраны каравана, потели в танце с дебелыми послушницами, почувствовав час выступления в долгий и опасный путь по глухим лесам. С пиром голос ратников становился сиплым и вялым, а слова неразборчивыми. Каждый старался получше укрепить на своей груди защитные медные латы и тверже упереться в песчаную землю. Но кто мог знать наперед свою судьбу?

В последний раз Кирилл отслужил службу в чине настоятеля Симонова монастыря в храме Великомученика Василия. Вся партия, встав на колени, дружно молилась за успех предстоящего дела. Певчие на высоких хорах под руководством регента Исидора ангельскими голосами усердно славили Господа.

Диакон с выражением читал откровения Иоанна Богослова: «И произошла самая трагичная на небе война. Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним...»

В игуменстве Кириллу чинились всякие козни. Наветы проникали за стены Троицкого монастыря. Но не все его благодеяния доходили до слуха. И приснилось Кириллу то, что он потом много раз пересказывал монастырской братии: «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую настолько, что земля осветилась от славы его. И слышал он слова о том, что пал Вавилон, великая блудница, сделалась пристанищем бесов и всякого нечестивого духа, пристанищем всякой нечестивой и отвратительной птице. Ругательная птица напоила яростным вином многочисленные народы настолько, что земные цари прелюбодействовали с нею. Но и этого было мало, так как купцы от общения с нею многократно умножили свои богатства и тут же разорились».

Кирилл в северном походе второй раз в жизни столкнулся с непростым выбором для верующего человека: ты победишь врага или он тебя. Будучи от природы дородным и сметливым, Кирилл никому не уступал в поединке. Ни в словесном, ни в ратном. Так повелось еще с Куликова поля, когда князь Дмитрий зажег в сердце молодого воина Косьмы Вельяминова пламень борьбы, призывая братьев умереть за отечество: «Слово мое да будет делом! Богъ намъ прибъжище и сила».

Ш ШАТУН



Будилко ни себе, ни Пестемьяне не мог признаться, что ему совсем не хотелось покидать места, насиженные и расположенные в лесном урочище вдоль полноводной северной реки под названием Кулой. Места, изобиловавшие зверем и птицей, ягодами и грибами, сенокосными заливными лугами да рыбными озерами. Особенно богаты были здешние края бурым северным медведем, который в этих лесах водился с незапамятных прадедовских времен, что твоя саранча на половецком поле. Но не в смысле размера линейного, а количества несметного. Медведь тот любил устраивать берлоги на сухих высоких берегах спокойных рек и мелководных озер. Михаил Потапыч находил поваленные бурей или от старости вековые сосны и устраивал под их корнями уютные гнездышки размером со среднюю часоленку. Нагулянный по осени на малинниках, ячменных полях и жирной озерной рыбе, залегал пузовобоким мишка в свою нерукотворную колыбель и засыпал сном праведника до самых первых талых весенних вод, когда его бока глубоко втягивались и истощался за долгую зиму запас медвежьего сала. Сухое неурожайное лето, холодные и водные осенние месяцы да скорая зима могли породить шатуна – злобного и худовислого Потапыча, который опасался залегать в берлогу из-за своего недокорма и болезненной худобы. Такой шатун становился могучим орудием смерти, и в первую очередь для человека и домашней скотины. Подобно привидению, голодный зверь бродил по северной тайге и выискивал скорую жертву. Часто легкой добычей шатунов становились полоротые икряные бабы да малые несметливые ребятишки, ушедшие по ягоду на ближайшее клюквенное болото. Среди поморов издревле ходило старинное поверье, согласно которому душа жертвы вселялась в медведя-убийцу, делая его неуязвимым даже для суровых архангелогородских медвежатников. Ибо медвежий ум приобретал черты человеческой изворотливости и коварства, становился способным распознавать повадки опытных охотников-промысловиков и с успехом избегать ловушек, расставленных человеком. Старые люди сказывали, что если убить медведя-людоеда, вырвать у него из груди еще горячее сердце и похоронить по христианскому обычаю на месте гибели человека, то душа убиенного найдет упокоение и уплывет на небеса обетованные.

Будилко, хорошо зная родные леса и его обитателей, был уверен, что медведь, сгубивший мать Пестемьяны, еще гуляет по таежным буреломам и носит неприкаянную женскую душу под толщей своей бурой шкуры. По ночам ему снилась заломанная медведем жена с неродившимся ребятенком на руках. Как Божья Мать, такая же грустная и святая. Покойница протягивала Будилку младенца и шептала что-то такое, что он не мог разобрать и только слышал похожий на плач протяжный вой бури, разыгравшейся над крышей затерянного в лесах таежного скита. Будилко просыпался в холодном поту. Вскakiвал и подбегал к слюдяному окошку жилища. Всмотривался в ночь и видел только длинные тени, которые быстро пересекали двор и пропадали в густом ельнике, вплотную подступившем к подворью.

Как ни страшны были шатуны, но суровыми поморами медведь почитался за священное животное. Жертвы ему приносили молочными козлятами. Хозяина тайги задабривали украшениями в виде бус из разноцветных камешков, которые развешивали на елках в лесу. Каждый уважающий себя охотник стремился над входом в жилище разместить медвежью голову с разинутой пастью. Когти и клыки косолапого владыки леса охотниками носились на груди в виде заговоренных амулетов. Медвежья желчь считалась лучшим снадобьем от порчи, а жиром Топтыгина лечили все остальные болезни. Старцы рассказывали, что в былые времена жило - было племя, люди которого во время свадебных торжеств в качестве посаженного отца держали за столом чучело бурого медведя и поили его крепкой медовухой, стараясь задобрить лесных духов. Если случался недород или какая другая беда, то люди племени выбирали самую красивую девушку и выводили ее далеко за околицу в лес, оставляя один на один с лесными духами. Считалось большой удачей, если в первую же ночь медведь-шатун разрывал несчастную и утолял свою плоть: Бог леса принимал человеческую жертву и благоволил племени. Нетронутых девушек, считая отверженными, навсегда изгоняли из племени. Ходило еще поверье, что шатуны, съев человека, помимо души обретали внешние признаки покойных вплоть до походки и голоса.

Родичи Будилка, зная о погибшей супруге помора, старались помочь отыскать того самого медведя-убийцу. Как-то Будилко повстречал в лесу старичка, похожего на старого бортника Акиндина. Тот, отводя глаз в сторону, поведал о медведе, окликнувшем его в малиннике голосом покойницы.

- Не показалось тебе, старый? - усомнился Будилко.

- Крестился: не показалось, брате.

- Голос не спутал?..

- Как спутать, если сызмальства ее, как и тебя, зело знавал.

- Наяды могли напеть - наголосить.

- Не. Не могли.

- Почем знашь?

- Наяды сроду не могли! У их голоса вкрадчивые, а энта так жалостно голосила и все просила, чтобы я тебе сказывал.



- Так и просила? Прямо меня или ни то кого?
 - Рази у нас другой Будилко същется на тыщу верст округи?
 - Не слыхал.
 - Вот и я не слыхал. Тебя и приваживала.
 - Сказывала-то что?
 - Мается, сказывала.
 - Мается?
 - Ну, дык! Сказывала, что душа мается.
 - Так я при чем здесь? Ить на болото сама утопала.
 - Не про то речь.
 - Не про то?
 - Будилко, душеньку ейнюю освободить след!
 - Как освободить?
 - Убить Потапыча след, а потроха надобно горячими в мать сыру землю закопать.
 - Как же найти того шатуна-то?
 - Я тебе соты дам пчелиные. На них и приманешь, если пожелаешь.
 - Дай, - согласился Будилко и протянул руки. Старичок, похожий на бортника, только крутнулся на одной ноге и пропал в чаще. - Леший! - крикнул Будилко. - Чур меня, чур, чур!..
 - Ур! Ур! Ур! - отозвалось в ближайшей болотине и потонуло в кочках эхо.
 - Заманивает чудище! – страх приковал ноги Будилко к изумрудному покрывалу мха. Охотник перекрестился: - Свят! Свят! Чур меня! Спаси и сохрани, Матерь Божья Богородица!

Поскользнувшиеся ноги охотника попали во что-то скользкое и мягкое и поехали по склону в неглубокий овраг. Будилко бросил взгляд вниз: под ступнями еще парила неостывшая кучка слабо переваренных медвежьим желудком малиновых и брусничных ягод. - «Потапыч? Совсем рядом!». – Будилко взял на перехват двумя руками рогатину. «Вот и не верь после этого сказкам!». Не успел Будилко подумать, как раздался до боли знакомый голос:

- Где ты, суженый? Приходи скорей!

- Ей! Ей! - отозвалось в овражке эхо.

- Она! Она! Один в один! - Будилко, ломая огромные, в рост человека, кусты папоротника, ринулся на голос. Колючие лапы вековых елей в кровь иссекли лицо и руки. Паутина длинными и мерзкими нитями застила свет. Сухие трубочки созревших до гнили ветвей лиственницы набивались под самые веки и, как татарские стрелы, кололи слезящиеся глаза в самый зрачок. Мошка, сводя с ума, лезла в рот, нос и уши. В мозгу, словно ударяя по обнажившимся кровеносным сосудам, на высокой ноте звенел колокол отчаяния.

Будилко бежал быстро, а женский голос летел еще быстрее, растворяясь в куполообразно свисающих кронах берез и осин. Полететь бы ввысь, да не птица, нырнуть бы в ручей, да не рыба. Проползти бы сквозь валежник и бурелом, да не змея. Он – всего - навсегда человек.

От быстрого бега сжало грудь и захлестнуло сердце. В глазах потемнело, как в грозу. Чувствует Будилко, что устал и ему неважно. Перешел на шаг. Остановился. Ощутил струйку липкого пота, сбегавшую по спине, и застыл, как каменная баба на древнем становище. Прислушался к молчащему лесу, едва отличая немое трепетание листвы от движений заолодевшего сердца. Огляделся вокруг и понял, что заблудился и не знает выхода из таежных владений лешего. Погладил шершавый от нароста мха осиновый ствол и вздрогнул, услышав внезапный «ох» - призыв. Или ему показалось, что его позвали. Если так, то он больше не будет обращать внимания на посторонние звуки, а будет ждать только ее голоса. Но что это: снова позвали. И это был именно ее голос. Ни с каким не спутать! Потом под чьим-то тяжелым весом громко треснули сучья сухостоя и, точно от близкого грома, дрогнула земля, осыпаясь крупными комьями глины в ручей на дне глубокого оврага, поросшего терном. Всплески воды были похожи на удары крупного дякушки - сома по водной речной глади или игры неприкаянной русалки на лесном озере.

Вечерело. Солнце склонилось к закату. Потянуло холодом и сыростью. Покрывая все лесные звуки, ухнул пожилой соседка-филин. Одновременно кто-то задышал над самым затылком. Для человека это было слишком громко, а собаки за свою дружбу с человеком так степенно и глубоко еще не научились дышать.

«Потапыч!» - Будилко упал на колени и стал истово молиться. Вся жизнь пронеслась перед ним в одно мгновение. Замереть! Застыть и не дать зверю повода для нападения. Образовать пустоту вокруг нападающего. Пусть он, не встречая сопротивления жертвы, утонет в собственной мощи. Долгая память предков сработала. Именно так когда-то первобытные люди гасили энергию во много раз превосходящих



их по силе зверей. Но одного Будилко не учел: в медведе жил нашедший временное пристанище человеческий дух, который разгадал ухищрения человека и не дал обмануть зверя.

- Тебе не избежать участи других жертв. – Казалось, что женский голос звучит участливо.

– Что мне сделать, чтобы выжить и не согрешить?

- Убей меня, Будилушко!

– Как же я убью тебя, если ты моя жизнь?

- Была когда-то. Теперь твоя жизнь – наша дочь Пестемьяна. Убьешь не меня, но демона, и в том нет греха. Не думай! Убить оборотня – доброе дело спазгать!

Охотничий нож Будилко всегда носил при себе. Торопливым движением он сорвал тесак с пояса и не глядя сунул отточенное до синевы лезвие чуть пониже голоса.

– Благодарю тебя, - сквозь свист разверзнутой артерии долетело до охотника.

- Прости!

- Только не оглядывайся!

- Но я хочу!

- Уходи!

- А ты!.. Не могу: душа ревит!

- Не плачь! Тебя подвиг ждет! Уходи!

- Как же ты?

- Не беспокойся: меня уже нет... И да хранит тебя Господь!

Михаил ЗЕВЕКЕ (Городец Нижегородской) ПОД ЗОЛОТОЙ НАПЕВ ЛИСТВЫ (Из книги «Чертог Берендея»)

Под золотой напев листвы

И кольхание

У озорной грибной братвы

Найду признание.

К нерукотворным тайникам

Открою двери я -

И к молодым сосеночкам

Войду в доверие.

И, научившись понимать

Их откровения,

Пообещаю вспоминать

Про те мгновения...

Пронизанные спело-медовым солнцем мутовки сосновой посадки оцепенелы и недвижимы. Мягкие янтарные блики дремлют на длинноигольчатой хвое. Увядающие конусы берез, как золотой насечкой в малахит, вкраплены в тёмную зелень взрослого сосняка, охраняющего молодую поросль от северных ветров. Листья, подобные мотылькам, медленно плывут с них в кажущемся необыкновенно прозрачном воздухе и беззвучно оседают на пониклые травы. Временами кажется, что по-летнему жаркий и сухой сентябрь, уже ушедший в небытие, вдруг вновь вернулся сюда, в середину октября. Вернулся, одарив этот, по обыкновению слякотный и дождливый месяц, необычным теплом...

Я сколькою промеж рядов сосенок медленно и неслышно, подобно привидению, но спина под потертой коричневой кожанкой начинает неуклонно взмокать. Из-под фуражки на лоб сползают капельки пота. Уф-ф! Ну и осень: градусов двадцать тепла будет! Вот тебе и Покров! Но не надо быть ясновидящим, чтобы понять: это тепло - ненадолго. Постоит еще три-четыре денька загостившаяся в наших краях благодать - и все. Подует северный ветер, обрывая золотистые одежды растений, погонит прочь, к югу, тёплый воздух, нанесет табуны хмурых тучек - плакучек. Начнут те проливать студёные слезы над обреченно ждущей холодов землей, а то еще и раннего снежку подбросят. Пока же не случилось такого, нашему брату, грибнику, и карты в руки!

Ныне ломляевская посадка находится на самом пике плодоношения. В августе и сентябре, после спокойных, безветренных дождей, здесь за считанные часы нарождается масленка - хоть косой коси! Множество народа бродит по не столь уж и обширной территории - и ни один не уходит пустым. Но изобилие маслят, коли смотреть в перспективу, явление временное, недолговечное. Урожайность их



напрямую зависит от возраста сосен: перепонник дружит только с молодежью! Так что пройдет еще лет пять-шесть - и уже редко можно будет увидеть меж повзрослевшими и сомкнувшимися соснами шоколадно-блестящие шляпки...

Последние перепонники уже не залезают под подола сосновых сарафанов, не скрываются табунами в высоких придорожных травах. Нет! Они, как и первые майские грибы-разведчики, норвят вырасти на отскоке: в старой, заброшенной колее, на поросшей коротким и сухим мхом проглезине, на прогреваемом пятачке, покрытом редкой, выгоревшей за лето травой. Но если даже масленок вырос на сравнительно открытом месте, обнаружить его с первого взгляда ох как непросто! Низкорослый, приземистый, он зачастую сливается с окружающим фоном, маскируясь под него, и нужно довольно долго вглядываться себе под ноги, чтобы впопыхах не раздавить схоронившегося от людских глаз гномика. А наклонившись, чтобы сорвать его, с удивлением отмечаешь, что он, оказывается, здесь далеко не один. Пяток-десяток его младших братьев толпятся поблизости, застенчиво выглядывая из резных, красновато-зелёных веточек мха...

... Я пробираюсь по безмолвной посадке, а под ногами задумчиво шуршат сухие травы. Колочие ветви сосенок подаются вперед, скользят по куртке, тихонько взвизгнув, отлетают назад, обдавая ноздри запахом живицы, на гладкой коричневой коже остаются крохотные, янтарно блестящие капельки. Поздние паутинки, кое-где ещё извивающиеся на ветвях, прилипают к смолистым росинкам - и одежда местами становится похожей на карикатурное подобие расшитого шнурами гусарского мундира. В бледной лазури изредка раздаются бодрые колокольчики пролетающих москочек и гаичек, да, пританцовывая, запорхает вдруг в токах прогретого воздуха навек покинувший родную ветку блудный березовый лист. А я хожу, то и дело расшаркиваясь перед молчаливыми жеманными барышнями, отбивая земные поклоны лесу, небу, солнцу - всему тому, что составляет среднерусскую природу: ведь общение с ней давно уже стало для меня столь же необходимым, как и потребность дышать. Слова любви и признательности рождаются, хотя и невысказанные, где-то в глубине зашедшегося в сладкой истоме сердца, и (я это чувствую!) все окружающее отвечает мне тем же...

На многое я не претендую, ведь свал масленка давно уже закончился. Лишь одиночные экземпляры этих хитрых прошельг могут попасться сейчас в чинном, разомлевшем под солнцем пансионе благородных хвойных девиц. Но на одной из прогалин мне, наконец, улыбается удача. Уютно устроившись на пологом склоне длинной канавки, несколько больших «гнезд» маслят радуют глаз светло-охристыми шляпками. Здорово! В иные, наиболее благоприятные для перепонников годы, мне случалось находить на одном месте и до полусотни склизких разнокалиберных грибочков. И сейчас, не мешкая ни минуты, но все же стараясь растянуть это удовольствие, я разоряю гнезда маслят, выбирая всех дочиста: не раз была возможность убедиться в том, что небольшие грибы, оставленные подрасти рядом с пеньками срезанных товарищей, неизменно пропадают. Поэтому лучше взять их домой, тем паче, что в перспективе у меня - отнюдь не мерочная корзина трофеев. Очищенные от склизкой кожицы, замаринованные целиком маслята - что это, как не украшение любого стола! Да и гриб сейчас, как на подбор, чистый да крепкий...

Золотистые блики на пожухлых стеблях. Золотистые листья, что, сойдя с березовых стапелей, маленькими отважными корабликами оседлали гребни волн серебристого травяного океана... Как хорошо сидеть на теплой сухой земле, прислонившись спиной к гладкому березовому стволу и блаженно шуриться на ласковое солнышко! Сколь отратно разглядывать свои скромные трофеи, приставшие к шляпкам травинки и хвоинки, мельчайшие бисеринки влаги на девственно-чистых, ненарушенных покрывалах! А сколько прошлых, минувших уже встреч с грибным царством вспоминается в такие минуты! Вот и пару дней назад я так же сидел, прислонившись к древесному стволу, только места были иные. Но и там, раззадоренные последними теплыми лучами, появлялись из-под земли таинственные невидимки с нежной мякотью и изысканным запахом. Так же попадали они, обнаруженные среди трав и мхов, в мою ~~являлись~~ сумку.

понимая в совершенстве значения этих слов, я все же мог уловить основную их суть. Там пелось о тленном и о вечном, о горестном и необычайно прекрасном, о неизбежном угасании и предначертанном грядущем возрождении. И так завлекающее - волшебен был этот золотой напев листвы, что разум мой готов был, кажется, оставить свою брентную оболочку - и нестись со словами этой песни напрямиком к порогу Вечного и Неизведанного...

Малый пестрый дятел, недомерок, размером едва больше воробья, прилепившись к иссохшей вершине соседней сосны, начинает выбивать на ней свои незамысловатые мелодии. Мерное, ритмичное постукивание, словно долгожданный стук в ночное окно, пробуждает от грез, возвращает к действительности. Пора и до дому! Ведь на чистку и переработку маслят требуется время, а сей нежный продукт долго ждать не станет...

Серебристая лента асфальта, изгибаясь гигантским, не успевшим уйти в землю ужом, тянется к западу, туда, куда начинает клониться не забирающееся слишком высоко по небосклону октябрьское светило. Она



глубоко режет приуольскую пойму, превратившись в мост, перескакивает задумчивую Узолу, кряхтя, вползает на пологий склон близ Налескина...

В конце подъема я останавливаюсь передохнуть, цепко вглядываюсь с верхотуры в темные стены зауольских лесов, в светлые пятна увядающих рощ, в тянущиеся обочь дороги лесополосы. Ветра так и нет, и листва, кажется, молчит. Но я знаю, что это не так! Просто лишь мое ухо способно уловить тогда, когда рокот очередного одолевшего подъем автомобиля растает вдали, ее тихий шепот:

Не забывай о нас, друг!

Октябрь 1995 года - февраль 2003 года.

Татьяна Калашникова (Оттава, Канада) ЗАПАХ МОРЯ

В этой части Крыма вечерами было всегда ветрено. С моря тянуло соленой прохладой. Ветер то усиливался, то немного стихал, набираясь сил перед очередным шумным, казалось, колышущем море выдохом. В эти прохладные, повторяющиеся изо дня в день ночные приливы ветра и воды она любила прогуливаться по мокрому песчаному берегу моря, пересеянному мелкой галькой. Её ноги слегка углублялись в размытый песок, ветер играл цветастыми складками юбки, дышалось легко. «Море пахнет йодистой травой и флиртом», – промелькнуло и осело в её уставшей перебирать воспоминания памяти. «Море пахнет травой и флиртом», – тихо выдохнула она. Ветер подхватил ее выдох и, теряясь в шелесте морского прибоя, тихо повторил: «Море пахнет травой и... любовью».

После часа бессмысленных поисков местного рынка Георгий хотел уже возвращаться восвояси с твердым намерением - в следующий раз без схемы-зарисовки в город не тащиться. Девушка лет семнадцати-восемнадцати с небольшой корзинкой, груженной персиками, быстро перебирала загорелыми ногами булыжник старой мостовой. Оказалось, что рынок совсем рядом, что можно пройти дворами практически по прямой, и все прелести южного, богатого фруктами базара окажутся к твоим услугам. Георгий несколько раз обернулся вслед миловидному путеводителю с мыслью о том, что «на неё хочется смотреть». Он не сразу узнал её во второй раз, прохаживаясь по пляжу в один из пасмурных дней. Девушка, по-детски выбрасывая ноги, раскачивалась на старых качелях, раскорячившихся почти у самой воды и издающих сильный скрип при каждом толчке. Её голубая ветровка раздувалась и пузырилась на ветру, широкие штанины серых парусиновых брюк подлетали высоко до колен, оголяя смуглые ноги девушки. «Удивительное существо. Катается на качелях. Совсем еще ребёнок. О чем с такой можно говорить?». «Что еще нужно этому паше?», – девушка посмотрела в его сторону и быстро отвернулась, встретившись с ним взглядом. Густая шевелюра слегка вьющихся черных волос, нос горбинкой и узкие, аккуратно сформированные усы придавали внешности Георгия что-то турецкое.

– А я быстро тогда нашел рынок благодаря вам. Спасибо.

– Не за что, – девушка приостановилась, уперевшись босыми ногами в песок.

– Здравствуйте.

– Здравьете, – осматриваясь в поисках сандалий, она стала быстро отряхивать песок с узких маленьких стоп.

– Вы, судя по всему, здешняя.

– А вы – нет, – что-то неестественное прозвучало в её голосе, едва заметное напряжение, скрываемое за видимой самоуверенностью.

– Да, я – отдохнуть, подышать. Люблю запах моря. Георгий, – он слегка наклонил голову в знак знакомства.

– Холодно сегодня. Я пойду, – девушка кивком головы попрощалась.

Изящная фигурка, потерявшаяся в широких одеждах, торопливо удалялась по набережной. Георгий остался один, присел на качели: «Пугливая, как дикий котёнок».

– Почему я не сказала тебе сразу, сколько мне лет? – вырвалось у Дины, невольно вслух признавшей в том, что уже несколько дней непрерывно мучило её.

– Четырнадцать?

– Пятнадцать скоро.

Не сговариваясь, оба тяжело вздохнули.



Конечно, ведь Георгию так много лет. Он был такой взрослый и умный, что признаться ему тогда, сразу, в том, что она еще такая «молодая и зелёная», показалось Дине невыносимым. Она на самом деле выглядела немного старше, благодаря высокому росту и почти сформировавшейся фигуре. Только взгляд ее серых невинных глаз и по-детски сложенные губы выдавали еще незрелую, не обремененную взрослыми переживаниями и страстями, детскую душу. Георгий несколько раз допытывался, что же беспокоит ее, о чем она молчит и обещает рассказать непременно, но чуть позже. С тревогой догадываясь, в чем дело, он упрямо не желал в это верить. Он берег её, берег её юность, её нетронутое тело. Только спустя неделю, после начала их вечерних прогулок у моря, он решился взять её за руку, поражаясь тому, какое сладостное и трепетное чувство вызвало у него это прикосновение.

– Ромео-то староват, – шутил Георгий, заглядывая в большие серые глаза Дины и рассматривая её нежное детское лицо, обрамлённое льяныными, слегка выгоревшими на солнце, по-мальчишески короткими волосами. – А что родители?

– Заводятся время от времени? Мне кажется, что они и сами не уверены...

– Это безумие, Дина.

– Что?

– Всё. Тебе так мало лет... Я готов ждать.... Но ты, ты ведь и сама, наверное, не знаешь, что тебе нужно.

Дина немного помолчала. Что-то недоброе закипело в душе Георгия.

– Нет. Почему не знаю? Знаю. Мы будем ждать друг друга. Ты меня – пока я вырасту. А я тебя – пока... тоже я вырасту, – улыбалась облегченно после тягостного признания Дина.

Это была любовь. Та самая, поглощающая человека до последней его мозговой клетки, любовь. Как ни боролся с собой Георгий, но выдерживать натиск жажды полной близости с его юной возлюбленной, жажды обладания её стройным бархатным телом для него становилось всё невыносимее. Дина отвечала сдержанной страстью на его объятия и ласки и всё больше допускала его к себе. Когда впервые это произошло, девушка испугалась на мгновение накрывшего её нового чувства сплетения восторга и боли. Георгий ругал себя за неосторожность и несдержанность. Наступил жаркий медовый месяц их любви. Они шли к морю, в сады, на луг... и любили, любили, любили друг друга до иступления, до изнеможения. А потом Дина бежала домой и тщательно скрывала следы ласк, оставленных на её шее и груди. Лето близилось к концу. Георгию нужно было уезжать. Дина грустила и чувствовала себя скулящей собачонкой на коленях покидающего её хозяина.

– Не плачь, миленькая. Мне будет тяжелее, чем тебе. Я буду писать, звонить. А ты мне.

– Жора, Жорочка, – жалобно звала Дина, – я буду ждать, буду писать. А ты пиши про всё, про всё, часто-часто. Лучше, наверное, не звони, а то матушка будет доставать.... О чем ты сейчас думаешь?

– Я думаю о том, что наступит время, ты вырастешь, станешь еще красивее и поймешь, что я тебе не нужен.

– Дурачок ты. Что ты говоришь...

Все в жизни Дины ушло на второй план. Только Георгий, только письма от него, только мысли о нём – больше ровным счетом ничего ее не занимало. Письма приходили каждый день, плотные, на несколько страниц, а иногда и по два одновременно. В них было столько любви и печали, что Дине становилось на короткое время легче, а потом снова приступы безысходной тоски овладевали ею всецело.

Через два месяца, не выдержав дольше разлуки, Георгий приехал в маленький городок, где жила Дина. Ему хотелось кричать: «Бросай всё, школу, это захолустье, приезжай ко мне! Мы будем счастливы!». Но он чувствовал, что не имеет права на такие уговоры. Дина должна сама до всего дорасти.

Время тянулось невыносимо долго. Прошло два года несносной разлуки, бесконечной переписки и неожиданных приездов Георгия. После каждой разлуки Георгий набрасывался на свою любимую с таким неистовством, словно изголодавшийся хищник на долго выслеживаемую им жертву. Поначалу это немного пугало Дину, но со временем стало нравиться, и она даже иногда подыгрывала ему, слегка сопротивляясь, тем самым еще больше его разжигая. Для Георгия его страсть стала болезнью. Каждый раз по дороге на встречу с Диной он чувствовал дрожь в ногах, его сердце готово было выскочить из груди от напряжения и нетерпения. В периоды вынужденных разлук он стал ловить себя на мысли, что раздражается отсутствием Дины, когда звонит ей по телефону, что стоит письму от нее задержаться хоть на один день, он не находит себе места, а в воображении возникают невнятные картины её флирта с молодыми ребятами. О своих мучениях он не рассказывал Дине, считая, что его ревность унижительна



для них обоих. Постепенно все эти мысли стали навязчивым кошмаром. Георгий теперь видел картины измены Дины отчетливо не только в своем воображении, но и во сне.

В конце июня он приехал вечерним поездом, намеренно не предупредив Дину. Всю дорогу он молил бога только об одном – чтобы Дина оказалась дома. Он закрывал глаза и представлял себе развевающиеся на ветру складки её платья, приоткрывающие стройные ноги девушки, видел, как она оборачивается к нему, шепчет что-то ласковое своими детскими губами. Когда поезд прибыл на станцию, уже стемнело. Дрожащими от волнения пальцами он набрал номер телефона Дины. Было занято. Опять – снова занято. Его терпения хватало только на несколько секунд, и он снова и снова набирал номер её телефона. Спустя минут десять наконец-то зазвучали длинные гудки. Дины дома не оказалось. Кровь прилила Георгию в голову с такой силой, что зашумело в ушах и на мгновение потемнело в глазах. В сквере неподалеку от дома Дины он метался от скамейки к скамейке, как лев в клетке. Нужно было действовать, он не мог оставаться на месте и бросился на набережную. Узкий силуэт с развевающимся шлейфом длинной юбки был, несомненно, Диной. Георгий бросился к ней, несколько раз зацепившись за выброшенные штормом на берег коряги. Дина была слегка ошарашена появлением Георгия и открыла было рот, чтобы выразить то ли радость, то ли удивление (она и сама еще не знала).

– Ты... ты... – задыхался Георгий, – стерва, сука, убью!

Дина подумала на мгновение, что Георгий пьян или с ним что-то случилось. Вернее, она даже ничего не подумала толком, только сумбурные мысли путались в ее голове.

– Жора! Что случилось... – не успела закончить Дина, как оглушительный шлепок пощечины свалил её с ног, и солёная вода захлестнула её лицо.

Дина перевернулась на четвереньки, хотела вскочить и бежать, но остолбенела. Георгий навзничь лежал на мокром песке и судорожно хватался за песок руками, так, будто удерживался, чтобы не упасть.

– Жора, что с тобой, что?

Тихо жалобно застонав, Георгий утих, распластавшись на песке.

Дина послушала его дыхание. Низкая большая луна бледным светом освещала берег. Георгий медленно перекинулся на спину и тихо просипел: «Прости». Дина посидела рядом еще несколько минут. Она ничего не думала, не могла и не хотела думать. С набережной доносились веселые голоса и смех. Дина устало поднялась, отряхнула мокрую юбку и медленно пошла прочь.

«Море пахнет йодистой травой и болью», – холодно завывал ей вслед ветер.

Апрель 2007, Оттава

Евгения Килиптари (Красный Сулин Ростовской) СЧАСТЬЕ СВОБОДЫ

СЧАСТЬЕ СВОБОДЫ

Зеленый листик, оторванный пронесшимся ветром от красавицы-березы, взлетел ввысь и, захлебываясь от счастья, закружил поверх деревьев, радуясь обретенной свободе и легкости парения.

Теперь, когда его ничего не удерживало на ветке, ему казалось, что он может лететь куда захочется и увидеть весь мир с высоты. Ветер то утихал, то усиливался. Листок то падал, то взмывал над землей. И в этих падениях и взлетах было какое-то необъяснимое блаженство, от которого замирала душа. Ему было хорошо там, наверху. Это была именно та жизнь, о которой он мечтал, не в силах покинуть предназначенное ему природой место.

Окрыленный своими сказочными ощущениями, он был благодарен ветру за то, что, наконец, сбылась его мечта - он был свободен! Ах, как хорошо кружиться между небом и землей!

Опускаясь, он с нетерпением ожидал момента взлета, когда вновь окажется рядом с облаками, удивленно смотревшими на него и не понимающими его чувств. Они всегда были наверху, и ничто происходящее внизу их не волновало. К листку подлетали птицы, но, не признав в нем сородича, мчались прочь, а он летел все дальше и дальше.

Ветер постепенно утих. И листик стал медленно снижаться, теряя набранную высоту и чувствуя конец своей вольной жизни. Высокая трава подержала его некоторое время над землей, как бы давая возможность в последний раз насладиться ощущением высоты и сделать выбор - взлететь или опуститься.



Но теперь он был бессилён подняться к небесам. Соскользнув по стеблю вниз, он лег на землю. С горечью глядя на проплывающие облака, он думал: «Ну почему я не рядом с ними, ведь мое место там, а здесь я быстро завяну, и тлен превратит меня в ничто».

Луговая трава прикрыла путешественника зеленым покрывалом, под которым стало темно и сыро. Он заснул. Теперь только сны напоминали ему пережитые чувства.

Мимо пробежали муравьи, не обращая внимания на серый сморщенный листок. Им было невдомек, что где-то есть другая жизнь, полная радости, мечтаний и возвышенных чувств...

ПУТЕШЕСТВИЕ

1

Черепашка только что вылупилась из яйца и, оглядываясь, удивленно рассматривала окружающий мир. Все пугало ее: сверху в голубом пространстве висел оранжевый шар, от которого хоть и исходило тепло, но было страшно – почему он такой большой, горячий и яркий, так что даже больно глазам? Рядом бежала река, ударяясь волнами о валуны, – и это тоже было страшно: куда она так быстро несется и почему так громко шумит?

Черепашка не успела разобраться во всем этом. Пока она то вытягивала голову для осмотра, то снова пряталась в панцирь, нечто огромное вдруг наклонилось, подхватило ее – и поплыла черепашка по воздуху на странных опорах.

Невиданное существо близко подносило ее к себе и что-то нежно произносило. От этих приятных звуков ей стало спокойно, и страх исчез. Она спряталась в свой дом и задремала. Очнувшись черепашка внезапно, от объявшей ее мокрой прохлады.

Где я? – хотело было вскрикнуть испуганное животное, но сразу закрыло рот, чтобы не захлебнуться. Инстинктивно высунула из панциря все четыре лапки-лопасти и быстро-быстро заработала ими, чтобы всплыть на поверхность.

2

Облицованный декоративным бамбуком и корой березы аквариум располагался на террасе небольшого, но уютного дачного домика, спрятавшегося в хороводе красивых липовых деревьев. В этом искусственном подводном царстве мирно уживались разных видов рыбки и нерыбное население: моллюски, улитки, рачки – не проявляя агрессивности друг к другу, хотя некоторые были из отряда хищников. Видимо, условия благополучного существования, когда не надо добывать корм, умерщвляя себе подобных, сделали их равнодушными к тем, кто был бы их пищей в открытом водоеме.

Дно аквариума покрывали разнообразные камешки, перемешанные с песком, на которых росли великолепные кусты растений и располагались небольшие коряги. Все вокруг было удивительно красиво.

Тихо и размеренно текла жизнь обитателей аквариума: проснувшись рано утром, они мчались к кормушке и, насытившись, отплывали в укромное место подремать. Оно у каждой рыбки было свое, и если кто-то осмеливался занять его, то в хозяине просыпался инстинкт защиты жилья. И тогда в аквариуме поднималась буря от борьбы с незваным гостем.

Рыбьи разборки веселили черепашку. Она мчалась к месту выяснения отношений и замирала вблизи от ринга борьбы, приходя в неописуемый восторг, когда побежденный агрессор с предельной скоростью мчался прочь. А победитель кружился в танце победы, все шире расправляя свое оперение и встряхивая плавниками, объявлял присутствующим об одержанной победе.

3

Черепашка быстро освоилась в новой среде обитания. Прекрасно владея глубиной, она, выпуская излишки воздуха, свободно погружалась на дно аквариума, бродила по песку, раздвигая растения, отворачивая камешки, внимательно оглядывая все в поисках чего-нибудь съедобного.

Когда воздух кончался, черепашка, энергично работая лапками, похожими на весла, круто поднималась вверх, выскакивала из воды, стараясь попасть на торчащую из воды коряжку, но, не сумев удержаться на ней, вновь опускалась на дно. Ей очень нравились эта забава.

По вечерам, перед тем как погрузиться в полусонное забытие, часть населения аквариума собиралась у большой коряги, где обитал старый окунь, и внимательно слушала его рассказы о каком-то другом, неизвестном им мире, о существовании бескрайнего водного пространства, о котором ему самому рассказывал его дедушка.

Черепашка слушала, затаив дыхание, эти истории, и как ни пыталась, не могла представить себе то, что он называл морем. Да разве может быть что-нибудь больше их аквариума? Вечером, засыпая, она рисовала его своим воображением. Это успокаивало, и сон постепенно туманил ее сознание, унося в какие-то фантастические миры.

4



Однажды утром свежая вода заполнила аквариум до краев и стала выливаться наружу. Рыбки благо-разумно опустились на дно, чтобы не быть выплеснутыми, а любознательная черепашка всплыла на поверхность и стала с любопытством осматриваться. И тут течение выливающейся воды подхватило ее, и она шлепнулась на землю, успев спрятаться в панцирь.

Когда кран закрыли, уже вечерело, и никто не заметил ее отсутствия.

Медленно поползла черепашка, внимательно рассматривая и удивляясь всему, что попадалось на ее пути. Потеря обжитого места ее не пугала. Ей и здесь было хорошо, так как панцирь служил защитой от возможных нападений, и спалось в нем не хуже, чем в аквариуме.

Долго бродила черепашка, пока, наконец, не добралась до пруда.

“Наверное, это и есть море”- подумала черепашка и быстро нырнула, чтобы освежиться после длительного путешествия.

Пруд был старый, заросший длинными водорослями. Привыкшую к чистой, насыщенной кислородом воде аквариума черепашку замутило, и она чуть не запуталась в них.

Неужели это море?- спросила она проплывавшего мимо молодого карпа. Море? А что это такое? - удивился карп. Видя замешательство черепашки, не умеющей объяснить это странное слово, он предложил спросить об этом у старого сома. Длинные усы сома недовольно зашевелились при виде незваных гостей, нарушивших его дремотное состояние.

Море? Как рассказывал мой прадедушка, это большой беспокойный пруд, в котором очень соленая вода, и там бывают ужасные ветры и штормы. Что вам там понадобилось? Разве здесь плохо? Тихо и тепло.

- А где оно, море?- спросила черепашка.

- Иди вслед за солнцем, никуда не сворачивай,- сказал сом и скрылся в тине.

Вновь пустилась в путь за своей мечтой беспокойная черепашка. Уж очень хотелось ей увидеть море, и ничто не могло помешать путешественнице.

“А может, и нет никакого моря” – расстроено думала под вечер уставшая от долгого пути черепашка. Но утром, воодушевленная фантастическими снами, оживлявшими ее надежду, она снова двигалась вперед

И тут ее дорогу пересекли озабоченные муравьи, тащившие огромную соломинку.

- Вы не знаете, где находится море?- спросила она их.

- Знаю, – сказал самый большой муравей. – Тут совсем недалеко. Подожди до утра и потом иди прямо туда, где встает солнце.

Утром первые лучи солнца согрели песок, в который на ночь зарылась черепашка, и разбудили ее. Услышав странный ритмичный шорох, она быстро выбралась из своего убежища, вытянула голову и застыла, очарованная представившейся ей картиной.

Лазурное море, занимавшее все видимое пространство, катило на нее свои серебристые волны. Шурша, набегали они на желтый песчаный берег, разливались по нему и, о чем-то перешептываясь, откатывались назад. Черепашке казалось, что они зовут ее с собой. Она уже не сомневалась, что перед ней - голубая мечта ее фантазий.

Далеко у горизонта розовело небо. Это солнце поднималось со своего ночного ложа, начиная новый день.

Не раздумывая, черепашка приблизилась к теплой прозрачной воде.

Набежавшая волна легко подхватила ее и понесла по дорожке навстречу восходящему Солнцу.

ЛЕСНАЯ СКАЗКА

Крутой склон горы, покрытый смешанным лесом из сосен, дубов и елей, издали смотрелся одним темным зубчатым строем. Остроконечные верхушки деревьев были направлены к вершине, образуя как бы бегущую вверх лестницу.

Высокое небо отливало нежной голубиной. Плывущие облака светлели и таяли вдали.

Маленькая елочка изо всех сил тянулась вверх, вслед за окружающими ее со всех сторон дубками. Ей так хотелось быть такой же высокой и самой видеть все, что было где-то там, в большом мире.

«Не торопись, - говорил ей старый, заросший мхом пенёк, многое повидавший на своем веку. - Я расскажу тебе обо всем, что ты хочешь увидеть, а придет время – и ты сама все узнаешь». Слушая его рассказы, елочка расстраивалась, иногда даже молча плакала, и слезы жемчужными капельками скатывались с ее нежных иголок.

«Как медленно идет время, - думалось ей. - Когда же, наконец, я вырасту?»



А шумливые дубки, разрастаясь, весело шелестели под порывами налетающего ветра. Стоящий недалеко молодой кедр тоже утешал елочку, склоняясь к ней и ласково притрагиваясь к ее веточкам.

Елочке были приятны легкие прикосновения кедра, и часто она ждала очередного дуновения ветерка, чтобы вновь испытать эти волнующие ощущения.

Зимой выпал большой снег и укрыл елочку искрящимся пуховым покрывалом, под которым ей снились приятные сны о том, как они были летом дружны с красивым кедром. Иногда под снегом становилось необыкновенно светло от выглянувшего солнца. Тогда елочка просыпалась, думая, что наступила весна. Но, не увидев ничего, кроме засыпавшего ее снега, вновь погружалась в долгий зимний сон, в котором она видела себя высокой и стройной красавицей.

Кедр одиноко стоял на заснеженной поляне и терпеливо ждал прихода весны, которая должна была принести ему радость встречи с елочкой.

Сугробы, укрывавшие кусты, создавали причудливые скульптуры зимнего царства. Кедр грустно вздыхал, наблюдая эту красоту, и жалел, что елочка не видит ее.

Лес, погруженный в полусонную дремоту, жил своей жизнью. Зима - время спокойствия и размышлений над суетностью бытия. Необыкновенный в своей прозрачности воздух был наполнен запахом свежеснеженного снега.

Лучи солнца насквозь пронизывали густую заросль деревьев и превращались в светящийся радужный веер.

Пролетающий озорник-ветер заигрывал с елями, теребя их пушистые ветви, покрытые снежными шапками, которые соскальзывали вниз при каждом легком движении. Оставшиеся крупинки снега, растаяв, свисали алмазными бусами с кончиков игл, образуя ожерелья, сверкающие на солнце всеми цветами радуги.

Тихо шептались, склонившись друг к другу, две сосны. Они обменивались летними воспоминаниями и отмахивались от задевавшего их голыми ветками дуба. Оставшись осенью без пышной листвы, он потерял возможность участвовать в их разговорах и делать им приятные комплименты.

Его бесплодные попытки обратить на себя внимание сосен смешили сидящую на нем ворону, и она веселилась, нарушая лесное безмолвие издевательскими восклицаниями. Откуда-то из глубины леса ей отвечали болтливые подружки, передавая собранные за день новости.

«Опять раскаркались, – бурчал разбуженный пень. – Чего им неймется?»

Первые лучи весеннего солнца разбежались по лесу, согревая занесенную снегом лесную поросль. Зашевелились, выползая из своих нор, отощавшие за зиму зверьки, торопясь отогреться после зимних холодов.

Начавший таять снег сползал с ветвей и с тяжелым уханьем падал вниз. Облегченно расправляли ветви деревья, освободившись от его тяжести. Даже карканье ворон стало каким-то звучно-радостным. С каждым днем солнце становилось ярче, согревая своим теплом замерзшую природу.

Сияющие хрусталем сугробы стали темнеть, быстро оседая. Из-под них показывались верхушки молодых деревьев и кустарников.

Кедр заволновался – вот - вот должна появиться его соседка, и он готовился высказать ей самые нежные чувства, накопившиеся в течение долгой разлуки. Его одиночество близилось к концу.

Все чаще по утрам стали разноситься по лесу звонкие трели первых птиц – вестников весны.

«Пробуждайтесь, пробуждайтесь! Встречайте весну! – трезвонили они слаженным хором.

Весна примчалась на крыльях теплого ветра, затормозила его порывами оживающий лес. Зима расплакалась ручьями быстротающего снега и стала исчезать в горных расщелинах, безропотно уступая свои владения веселой сопернице.

Зазвенел весенней симфонией лес, принаряжаясь в нежно-зеленые одежды.

Яркие солнечные лучи разбудили елочку. Она почувствовала что-то необычное и оглянулась вокруг: закрывавших простор неба дубков не было, они сломались под тяжестью снега, и перед ней открылась панорама гор, таких высоких, что за их вершины цеплялись проплывающие по небу облака.

Елочка отряхнулась и, глубоко вдохнув свежий весенний воздух, расправилась.

"Какая ты красивая!" - воскликнул кедр, увидев заметно подросшую соседку. Он нагнулся и поцеловал ее изумрудную верхушку.

- Вот видишь, - сказал обнажившийся пень, - всему свое время. Теперь ты – самая красивая на нашей поляне. – Он рассматривал елочку и вспоминал то время, когда вокруг было столько красавиц, ищущих его внимания, а он никак не мог выбрать ту одну, которая стала бы для него единственной.

Елочка погладила пенёк изящными ветками и улыбнулась кедру. Солнце ярко светило на голубом небе и обнимало ее своими золотистыми лучами. Наполняясь запахами весны, свежела и молодела природа. Елочка была бесконечно счастлива: весь этот зеленеющий, поющий, наполненный весенним ароматом мир принадлежал ей.



Евгения Кузнецова (Бабаево Вологодской обл)

ДУДОЧКА

Евгения Александровна Кузнецова: «Я родилась в п. Белый ручей Вытегорского района Вологодской области, закончила Вытегорский лесотехнический техникум, а работала в районной ЦБС художником-оформителем. В настоящее время по состоянию здоровья на пенсии. Рассказы свои пишу под настроение, только "в стол", не особенно огорчаясь, что никто о них не знает, т.к. не считаю их очень интересными и яркими. Ранее печаталась в газете «Красный Север».

МЕЧЕНАЯ

Проснулась она оттого, что где-то за дальним сосняком подал свой тоскливый клич старый волк. Этот голос был ей хорошо знаком: малыши, глаза которых раскрылись на днях, были и его детьми. Она гордилась своими первенцами, благосклонно принимая от отца-волка добычу. Еды было мало, и малыши, высосав молоко до капли, жалобно пищали, не насытившись. Стараясь не причинить боль, осторожно взяла в зубы одного из них, самого крупного и бойкого, и вылезла из узкой норы. Пискнув недовольно, малыш притих.

Желтое пятно луны сияло в темном небе, зажигая искрящимися точками иней на кустах. Поведя чутким влажным носом по сторонам и не обнаружив ничего подозрительного, она потянулась, расправляя затекшее тело, и потрусила в сторону деревни. Бежала чуть боком, выставив левое плечо вперед и опустив голову с крепко, но бережно зажатым в пасти сыном.

Деревня, куда она спешила, была ее деревней, там жил ее Хозяин. Та, недавняя ее жизнь, когда было все светло и радостно, еще четко сохранилась в памяти. Хозяин любил играть с ней, забрасывая старую белую кость подальше в траву, и ласково трепал по спине, когда она после недолгих поисков приносила кость к его ногам. Помнила и свое имя - Берта. Только из-за небольшого белого пятна на шее Хозяин чаще звал ее Меченой.

Меченая - овчарка. Хозяина она боготворила. Однако не каждый день на небе солнце. Случилось, что Меченая заболела: перестала есть, ослабла, задние лапы отказывались подчиняться. Тяжело дыша, лакала из миски лишь воду. Приходил сосед-охотник, о чем-то долго говорил с Хозяином и покачивал головой, осматривая ее. Через день Хозяин, уложив в кузов машины обессиленную и легкую собаку, отвез ее за дальний старый сосняк. Пока привязывал поводок к тонкой сосне, она доверчиво лизала горячим языком знакомые руки, а потом долго и растерянно смотрела вслед уезжающей машине. К вечеру жара спала, и Меченая, почувствовав себя бодрее, без усилий перегрызла сыромятный поводок и двинулась в сторону дома. Ползла медленно, часто забываясь в горячем сне.

Хозяин хмуро смотрел на сбитые в кровь лапы, свалывшуюся, грязную шерсть. А она тоненько, пощеничьи взвизгивая, пыталась приподняться на лапах и, радостная, счастливая от встречи, нежно лизала пыльные сапоги...

А вскоре бездушная машина снова увозила Меченую. Долго она тряслась в кузове, цепляясь когтями за неровности пола и взлаивая на ухабах. Хозяин привязал ее уже на металлическую цепочку, а она так же преданно лизала руки. Только чем, чем хозяин недоволен? Она заискивающе пыталась поймать его взгляд, но он почему-то отводил глаза в сторону... И она поняла. Поняла, что не нужна ему...

...Очнувшись она от рыка: из кустов вышла большая серая собака, но нюх еще раньше подсказал: волк. Старый, матерый, с разорванным ухом, он, рыча, обнюхал ее, дрожащую, всем телом вжавшуюся в траву. Она зажмурилась от страха глаза и тонко завизжала, ощутив у шеи его жаркое дыхание. Рыча, волк принялся грызть, а Меченая замерла, ожидая, что его желтые клыки вот-вот.... ее. Но вскоре разодранный ошейник валялся в траве, а спаситель, рыкнув напоследок, исчез в кустах. Молодость все же взяла свое, помогла одолеть болезнь, и уже к осени глаза овчарки засветились живым блеском, шерсть отросла густая и красивая, а сама она вновь обрела силу. В начале зимы Меченую приняла, хоть и с неприязнью, небольшая волчья стая, вожаком которой был старый волк, ее спаситель. Овчарка со временем обрела волчьих повадки, нападая вместе со стаей на молодых отбившихся лосей и кабанов. И все реже вспоминала она хозяина и свой дом.

Первая зима выдалась малоснежной, голодной, волки зачастили в деревню, отыскивая там пропитание. Меченая, в отличие от волков, в деревне действовала смело. Она отыскивала в темных дворах перепуганных собачонок, лишь всякий раз отдавая миг, когда придется навестить и двор хозяина.

И однажды, безлунной ночью, меченая с каким-то непонятным волнением вбежала в знакомый двор. Молоденькая овчарка не успела подать голос, как оказалась жертвой; впервые Меченая не взяла добычу, оставив ее возле крыльца. Спустя год она повторила разбойный набег, лишив хозяина очередной собаки и оставив ее, растерзанную, у входа..

Это не была месть: Меченая оставалась преданной до конца Хозяину, считая этих собак, как и себя, недостойными его.



...Отдохнув, она подхватила свой ценный груз и потрусилась дальше. Заканчивалась третья зима ее пребывания в стае. Волки приняли ее, уважая за силу, ловкость и мудрость: с ней легче было отыскивать добычу. Лишь сейчас она сильно отошала после рождения щенят и потому часто останавливалась, отдыхая. Щенок был тяжелый, и она подолгу вылизывала языком серые с короткой густой шерстью бока, голову с крутым лбом и толстую шею, на которой отчетливо виднелось такое же, как и у нее, белое пятно. Нежась от ее сильного жаркого языка, щенок издавал довольный нутряной рык.

Лес поредел, дорога блестела под светом застывшей в небе луны. Вдалеке показались дома. Меченая остановилась, прислушалась и уверенно поспешила к знакомому дому. Дом спал, чернея неосвещенными окнами; его стены, залитые лунным светом, отсвечивали серебром. Зная, что в хлеве много сена, она направилась туда. Через щелку в толстой двери пробивалось живительное тепло и слышалось сонное похрюкивание. Натоптав в сене ямку, она улеглась, уложив рядом своего малыша. Тот нетерпеливо и жадно припал к тощим соскам. Мать заметила блеснувшие в темноте его глаза и опустила голову, согревала щенка своим дыханием. Облизав насытившегося сына, долго лежала рядом. Убедившись, что тот спит, поднялась, зарыла его со всех сторон сеном, чтобы было теплее, и пустилась в обратный путь, уверенная в том, что уж ее-то малыша хозяин полюбит обязательно...

МУЖЧИНА

Вчерашняя метель от души разгулялась: мело безостановочно день и ночь. Грейдер всю ночь челноком сновал по засыпанным сыроватым снегом улицам, расчищая путь людям и машинам. А к утру подморозило, и дорога блестела в лучах изредка выглядывавшего из-за толстых снеговых туч солнца, словно речка меж высоких берегов-бровок. В морозном воздухе то тут, то там ясно слышалось ширканье деревянных лопат о грубый снег: жители расчищали дорожки от своих домов. На залепленных ночным снегом берегах хохлились недовольные вороны.

Осторожно, опираясь на палочку, Анна Николаевна пробиралась по самому краю накатанной ледяной дороги, часто останавливаясь, чтобы переждать боль в ноге, мешающую идти быстрее. «Сегодня обязательно надо уплатить за квартиру, за свет, да и хлеб уже весь доеден», – думала она, сжавшись от встречного холодного ветра, пронизывающего, казалось, насквозь. Рассуждая сама с собой, она приблизилась к натоптанной тропинке, на которую следовало свернуть с дороги. Однако высокая бровка заледеневшей глыбой преградила путь. Огорченная Анна Андреевна остановилась, глядя на непреодолимую преграду: «Нет, эту гору мне не одолеть!». Она оглянулась в надежде, что кто-нибудь из прохожих поможет, но улица была пустыня.

«Стоять и ждать кого-либо, так опоздаю в сберкассу, придется ни с чем возвращаться домой – может, завтра кто и расчистит эту бровку...», – тяжело вздохнув, она повернулось было, чтобы отправиться домой, как вдруг откуда-то сверху до нее донесся звонкий голосок: «Бабушка, ну бабушка же!» Подняв лицо, она увидела на самом гребне бровки румяного от мороза и ветра мальчугана лет семи с голубыми, как проглядывающее меж туч небо, глазами.

- Я кричу-кричу, а вы не слышите. Руку давайте, помогу, – серьезным голосом уверенно произнес он, протягивая вниз свою маленькую руку с красными от холода пальцами.

- Как же ты сможешь, ведь ты маленький?

- Не бойтесь, я сильный, я же мужчина!

Анне Николаевне ничего не оставалось, как ухватиться за протянутую ручонку, оказавшуюся действительно довольно крепкой.

Уже стоя на тропинке и отдыхая, она с удивлением разглядывала своего нежданного помощника. Небольшой, но крепко сбитый парнишка в черной куртке и спортивной шапке с пестрым рюкзачком за плечами улыбался.

- Как зовут тебя, мужчина?

- Кирилл Васильев. Я уже во втором классе учусь. А вам куда, бабушка?

- В сберкассу, да за хлебом еще надо зайти, Кирилл. Твою бабушку не Валея зовут?

- Валея, а дедушку Витей. Пойдемте вместе – нам по пути.

Кирилл вприпрыжку побежал по тропинке вперед, но скоро остановился, поджидая Анну Николаевну.

-А вы, бабушка, где живете?

-На Пушкина, там, где раньше магазин был, знаешь?

-Знаю, знаю,- закивал головой мальчик, - в этом доме мой друг Димка еще живет, мы с ним вместе учимся и играем после уроков. Я всех знаю в нашем поселке. И вас знаю.

-Откуда же, Кирюша?

-А вы с моей бабушкой раньше работали вместе.



Анна Николаевна засмеялась:

-Так тебя ж тогда еще и на свете не было!

-Бабушка Валя мне рассказывала, вот и знаю. Я сейчас иду к ней обедать, мама на работе, она в городе, в больнице работает, а приходит поздно.

Анна Николаевна забеспокоилась:

-Так поторопись, Кирилл, бабуля твоя уже дома, наверное!

Мальчик помахал на прощание рукой в пушистой синей варежке и свернул на тропинку, ведущую к двухэтажным коттеджам. Он бежал, припрыгивая, и яркий рюкзачок за спиной тоже припрыгивал в такт ему.

Посмотрев парнишке вслед, пожилая женщина, улыбаясь, направилась было по своим делам, как вдруг вдалеке увидела Валентину, Кирюшкину бабушку, торопившуюся домой.

-Кирилл! – окликнула она мальчика и рукой показала в сторону идущей бабушки.

Тот, увидев бабулю, обрадовано запрыгал, размахивая руками над головой.

Ветер наконец-то управился с чередой рваных серых туч, разогнав их к горизонту. Обрадовавшись свободе, солнце засветило ярко, не по-февральски. Стайка озорных синиц, пригревшись под крышей старого дома, задорно зазвенела: тинь-тинь, тинь-тинь, что в переводе с синичьего языка означало лишь одно: скоро весна!

ДУДОЧКА

Ласковое солнце, славно потрудившись за длинный июньский день, раскрасило в нежно-розовые тона облака и уже зацепилось одним краем за острые верхушки дальних елок, облив их золотом. Сытые, разморенные коровы, бренча боталами и колокольцами на разные лады, устало разбрелись по своим дворам в ожидании вечерней дойки.

В неподвижном воздухе, наполненном густым ароматом нагретых за день трав, ощутив вечернюю прохладу, зависали крупные стрекозы, блестя голубоватыми слюдяными крылышками. Они казались маленькими вертолетами.

Посреди улицы, в новых красных сандаликах, самозабвенно кружилась девочка, поднимая облако желтоватой пыли. На ее загорелом лице радостью сияли большие серо-голубые глаза, непослушные русые кудряшки вольно раскинулись по плечам.

Саньке сегодня исполнилось восемь лет, и она радовалась теплоте розовому утру, пышущему жаром дню, подаркам, лежащим на ее полке рядом с книжками, новым сандаликам на ногах и пирогу, испеченному бабушкой. Каникулы начинались просто замечательно!

Веселая и шумная, она распахнула дверь и вбежала в дом. На пороге кухни резко остановилась, попятившись назад: за накрытым столом чинно сидели пастухи – Настя и Миша. Они ужинали, а бабушка стояла у печки, готовая в любой момент услужить важным гостям. Санька тут же вспомнила – еще вечером ее старший брат Володька говорил о пастухах...

Обосновались пастухи в поселке давно. Они ютились в маленькой полуразвалившейся избушке возле леса, прежний хозяин которой то ли построил себе новое жилье, то ли переселился в иной мир. Санька с другими ребятами иногда с замиранием сердца подкрадывались к избушке, но, слышав голоса, с визгом разбегались врассыпную. Особенно они боялись Настю. Не в пример своему напарнику, молчаливо улыбающемуся Мише, пастушиха была говорлива, пышна, степенно вышагивала по улице, не обращая ни на кого внимания. Ее белое, словно никогда не видавшее солнца лицо отталкивало взгляд: из отвислых нижних век вот-вот, казалось, выкатятся крупные белесые глаза. Крупный нос красной свеклиной торчал между также отвислых щек. Широкий рот обрамлял свисающие от своей толщины обветренные губы. Когда-то белый, а сейчас грязно-серый платок покрывал нечесанные седые волосы, пряди которых неряшливо выбивались и раскачивались при ходьбе.

Худошавый и невысокий, с вытянутым, коричневым от загара лицом, Миша напоминал загнанного, испуганного зверька. От какой-то болезни, и это еще усиливало сходство, его голова, руки, ноги беспрерывно мелко тряслись, а речь была неразборчива, поэтому он чаще всего молчал. Лишь голубые глаза светились из-под лохматых кустиков бровей тепло и ласково. Он часто вырезал и дарил ребятишкам свистки, узорчатые палочки и забавные игрушки из сучьев. Им обоим можно было дать и по пятьдесят, и все семьдесят – никто не знал точного возраста. Летом Настя с Мишей занимались пасти поселковое стадо коров, а зимой то голики заготавливали, то дрова кололи – тем и жили.

Уже с первого дня пастыбы они начинали ходить «по дням» к тем хозяевам, чьих коров пасли. Это продолжалось все лето. Стадо было немаленькое, поэтому и гостить в каждом доме выпадало лишь по



разу за сезон. Хозяйки стремились задобрить пастухов и выкладывали им на стол самое лучшее, да еще и обед с собой давали на следующий день.

Миша, заметив насупившуюся Саньку, заулыбался, начиная трястись все сильнее. Он знал и любил девочку, как и других ребятшек, ведь те часто помогали пастухам – по очереди пасли телят.

Настя же, не взглянув на Саньку, продолжала неторопливо тянуть из стакана: бабушка выставила им на стол чекушку водки.

Девочка попятилась назад и, закрыв дверь, выбежала на улицу: она побежала в свое укромное место – на сеновал. Через некоторое время туда же пришел и Володька, чтобы подразнить сестренку:

- А пастухи-то, Сашка, у нас ночуют...

Санька замотала возмущенно головой, представив Настю в их с Володькой комнате...

Володьке стало весело над ее страхами:

- Настя сама сказала, я слышал!

Сестренка не выдержала:

- Нет, не-е-е-ет! Ты все врешь, они никогда не ночуют!

- А у нас сегодня ночуют, Миша напился и идти не может. Не потащит же его на себе Настя домой...

- Неправда, ты нарочно это говоришь! – навзрыд заплакала Санька, размазывая по пыльным щекам крупные слезы. Плечики ее вздрагивали от плача, глаза и нос покраснели.

Володька, испугавшись, что ему попадет от бабушки за Санькины слезы, тихонько стал успокаивать:

- Пошутил я, пошутил, не будут они ночевать!

Но девочка уже не могла успокоиться: она что-то кричала, била кулачком по стене, а слезы светлыми дорожками сбегали с ее лица и падали в сенную труху.

- Сань, ну чего ты, перестань... - Поняв, что уговорить сестру не удастся, он предусмотрительно удрал со двора.

Успокоилась Санька, лишь когда стемнело. Она сидела в углу сеновала, вздрагивая от проходящих всхлипов и страха: в темноте ей виделась страшная пастушиха.

Рядом раздались шаги и родной голос бабушки:

- Саша, Сашуля, ты где? Иди скорее домой. - Нащупав в темноте голову девочки, она прижала ее к себе:

- Что ж ты домой-то не идешь?

Санька потерлась головой о теплую и ласковую руку:

- А пастухи ушли?

- Давно ушли

Облегченно вздохнув, Санька поднялась и пошла к выходу.

- Глупышка, и чего их боишься? На-ко вот, Миша хотел тебе подарить, а ты убежала: на ее ладони лежала красивая резная дудочка, вырезанная из ветки...

- Вот славный из тебя пастушок теперь будет, все телятки рядом пастись станут!

Спустя месяц, играя тихо в комнате, Санька услышала доносившийся с кухни разговор бабушки с соседкой о том, что Настя в лесу убила своего напарника Мишу.

- Ой, не зря Сашка-то моя так боялась пастушиху. Увидит где – домой бежит прятаться. Уж и ругала ее, и уговаривала – ни в какую. А оно вишь как вышло-то...

- Да, не зря говорят, что у дитя душа чистая – все чувствует...

Санькиной спине вдруг стало зябко, она поднялась с пола и подошла к своей полке с игрушками. Перебирая их, увидела то, что искала: дудочку. Взяв в руки, она долго рассматривала удивительный узор на коре. Вдруг ей показалось, что от маленькой дудочки исходит какое-то тепло...

Приложив к губам, Санька легонько подула в нее, и дудочка тотчас отозвалась чистым, чуть печальным звуком...

УТРО

Большой белый кот мягко спрыгнул с остывающей лежанки. Но и этот малый шум прервал чуткий полусон Саши. Еще с вечера, лежа в постели, она загадала проснуться до рассвета. Можно было бы попросить бабушку, чтоб разбудила, но та, как бывало уже прежде, пожалеет будить рано свою шестилетнюю внучку.

Отгнав ночную тьму, молочно-серый рассвет торопился войти в окна комнаты, где дремала еще сумеречная тишина, лишь тикали на комодке старые часы да посапывал на кушетке старший Сашин брат.



Саша вскочила, словно и не спала совсем, натянула колготки и платьишко и на цыпочках, чтобы никого не разбудить, прокралась в прихожую. Здесь она сняла с вешалки свое пальто, подхватила платок и резиновые сапожки и, стараясь не скрипнуть тяжелой дверью, вышла на крыльцо.

Остатки сна с нее согнал свежий, по-весеннему влажный от уже растаявшего тумана воздух. Порывы легкого ветерка приносили из леса запахи прелых листьев и сосновой смолы. С крыш капало... Кое-где еще лежали островки грязно-серого апрельского снега, но ручейки были не столь говорливы, как прежде. Тонкий занавес ночных облаков расходился по сторонам, высветляя часть неба, словно представляя сцену главному герою.

Слегка озябнув после теплой постели, Саша попрыгала, согреваясь, по мягкой земле, посматривая при этом на небо. Откуда-то из густых ольховых зарослей донеслось неуверенное: тинь-тинь-тинь... Первая проба голоса удалась, и уже с другого края ольшаника откликнулось: тию-тию-тинь... И тут же грянул целый птичий оркестр: перебивая друг друга, каждая из птиц распевала свою единственную мелодию.

Белый кот, выбежавший вслед за Сашей на улицу, сидел на столбике забора, изумленно округлив и без того большие зеленые глаза. Он вертел головой и подергивал от волнения хвостом, стараясь разглядеть тех, чьи трели улаждали его слух.

Уже совсем рассвело, чистый восток нежно розовел, становясь с каждой минутой все ярче, и вот, наконец, первые лучи залили золотом бледно-голубое небо. Солнце не замедлило выкатиться из-за острых пик далеких черных елок.

Саша, еще не привыкшая душой к ожиданию, взволнованно, во все глаза следила за ним. Вот оно! Начинается! Восторг и радость распирали ее, она, смеясь, кружилась, раскинув руки. Платок свалился с головы, русые, золотящиеся от солнца кудряшки ее растрепались, щеки полыхали румянцем, а глаза блестели от счастья. Ей стало жарко.

Вот оно, это чудо, из-за которого она проснулась нынче раньше всех!

А солнце, словно радуясь вместе с девочкой, и в самом деле вдруг задрожало, переливаясь белорозовыми всполохами – оно «играло»!

Птицы притихли, словно зачарованные проделками небесного светила...

Но вот зашумела ветками с коричневыми сережками старая береза, пригнал откуда-то рваные серые тучи набежавший резкий ветер. И закрыли они солнце так плотно, что ни один лучик не смог уже пробиться наружу...

Саша уже замерзла на холодном весеннем ветру, но еще стояла, улыбаясь и разглядывая маленький подарок от солнца – веточку вербы с пушистыми желтыми комочками. Она сорвала один такой шарик и бережно держала на ладошке – от него шло слабое тепло.

Довольная, Саша направилась в дом. Скинув пальто и сапоги, снова на цыпочках прошмыгнула в свою комнату.

И, уже согреваясь под теплым одеялом, она думала о том, что произошло с ней в те короткие минуты, пока все спали. Думала о следующем таком же счастливом утре, которое принесет покой, радость, тепло, много солнечного света или влажный туман; холодный дождь, бегущий по синим от неба лужам или весенний озорной ветер, играющий в темных, еще без зелени, гривах деревьев.

Саша уже не слышала, как подошла бабушка, осторожно поправила одеяло и, улыбаясь, долго смотрела на спящую внучку: «Христос воскрес, милушка!..» А среди рассыпавшихся по подушке кудряшек лежал пушистый, желтый, словно живой цыпленок, шарик вербы...

«ХРЕНОТЕНЬ»

Экран телевизора, казалось, раскалился от пальбы, криков, визга тормозов и зловещих угроз очередного криминального детектива. Саше, уютно устроившейся в кресле, фильм не нравился, не хотелось ей и спать – впереди два выходных. Пушистый серый кот нежился на коленях, изредка покалывая их острыми коготками. Бархатное его мурканье навевало сладкую дрему, но серия грохочущих автоматных очередей возвращала к действительности фильма. Ловкий делец ударом ножа прикончил-таки своего напарника, чтобы завладеть деньгами... Раздраженно нажатая кнопка погасила экран, но Сашин взгляд успел зацепиться за расплзающееся по рубашке пятно крови... Она поежилась, взглянув в черноту сентябрьской ночи за окном. Там бушевал начавшийся еще днем ветер, и его порывы немилосердно терзали ветви старой березы. Та скрипела, словно жалуюсь на непогоду. Где-то на крыше загромыхал полукоторвавшийся лист железа. Прислушиваясь к уличному шуму, кот насторожил уши и испуганно спрыгнул на пол.



Саша скучала третий день в одиночестве: ее муж, Костя, колесил по дорогам на своем «КамАЗе» – он работал дальнотойщиком. Полгода назад Саша с Костей поженились и искренне скучали в разлуках и радовались при встречах. Вот и сейчас, улыбаясь, она думала о том, что уже завтра Костя приезжает.

Ей показалось, что начался дождь. Резко поднявшись, Саша вышла в коридор и приоткрыла наружную дверь: не по-осеннему теплый ветер поспешил с силой ворваться в дом из непроницаемой тьмы, поглотившей, казалось, все кругом. Глаза скоро присмотрелись к мраку и стали различать чуть проявившиеся силуэты гаража и забора.

Отчего-то ее взгляд упал на угол забора: внизу у столба там вырисовывалась какая-то нечеткая тень. Напряженно вглядываясь, Саша вдруг ощутила непонятное беспокойство: ей показалось, что на траве сидит человек...

Глаза заломило от напряжения так, что выступили слезы, и Саша тихо прикрыла дверь, оставшись в коридоре. Сердце тревожно застучало, и кровь прилила к голове, опалив жаром щеки: кто там, у забора?

Еще ожесточеннее порывы ветра отрывали железный лист: грохот стал оглушающим

«Да что же это такое?» - почти не дыша, она стояла, не чувствуя онемевших пальцев, впившихся в ручку двери, и думая – уйти в тишину квартиры или...

Снова медленно приоткрыв дверь, Саша еще настойчивее принялась всматриваться в шевелящуюся, полную, казалось, опасностей, тьму. Так и есть – опираясь о забор спиной, там сидит человек. Кто же там и почему сидит на траве? Пьяный? Нет, откуда ж ему взяться? Спит? Ночью на таком ветру? Непрерывная череда вопросов пробежала в Сашиной голове, не находя ответов.

Неожиданно сквозь непрекращающийся шум непогоды ей почудился слабый стон. Саша вздрогнула и отступила за спасительную дверь, быстро закрыв ее на замок. От волнения по телу прокатился неприятный жар, а мысли превратились в какой-то хаос.

Нет, надо успокоиться, подумать о чем-то другом - холодная стена, к которой она прислонилась спиной, постепенно привела в чувство. И, как внезапная вспышка, четкая мысль тут же пришла в голову: это раненый... Кто-то его порезал ножом... Теперь уже холодок противным сквозняком пробежал по спине: а где убийца? Может, за дверью?! Нет, что ему здесь делать – ждать, когда возьмут с полочным у трупа? Впрочем, какой труп – он же стонал, значит, жив, только ранен... Ему же нужна помощь!

Саша у закрытой двери мучилась мыслью – что же делать? Уйти в дом спать? Разве может она уснуть, если человек умирает у крыльца? Так ведь он, наверное, истекает кровью – «скорую» надо вызвать... Но телефона нет! Идти к соседям в три часа ночи? Да и проходить надо по той тропке, где лежит раненый... А вдруг он уже умер?

Неожиданно она вспомнила о веранде, побежала и зажгла там свет. Осторожно взглянув на улицу, поняла, что льющийся из окон свет не достает до забора, и поспешила выключить его, боясь привлечь чье-то внимание.

Ветер поутих. Редкие капли начинающегося дождя застучали по крыльцу. Из окна веранды видно было плохо, и Саша, собрав все свое мужество, решила...

Стараясь не дышать, она медленно спускалась по ступенькам крыльца, замирая от малейшего шума. Сердце готово было вот-вот выскочить наружу и колотилось где-то в горле... Шаг за шагом она осторожно приближалась к пугающему силуэту, готовая в любой момент броситься к спасительной двери или упасть от страшного напряжения в обморок. Саша не чувствовала под собой ног и остановилась, затаившись

Оглушительный стук сердца заглушал все звуки: она чувствовала на горящем лице лишь прохладу дождевых капель. Переборов навалившуюся слабость и забыв о, возможно, затаившемся где-то рядом убийце, Саша, уже ничего не ощущая, сделала последние шаги на негнувшихся ногах...

Напряжение, долгое время державшее ее в состоянии сжатой пружины, внезапно ослабло, и она... расхохоталась во весь голос: на том страшном углу, у забора покачивался на слабом ветерке куст хрена, вольно раскинув по тропинке свои длинные и широкие ноги-листья...

В квартире, еще не совсем отойдя от происшедшего, Саша подхватила недоумевающего кота и закружилась с ним по комнате, твердо пообещав ему и себе никогда больше не смотреть этих дурацких детективов!



Татьяна Масс (Лион, Франция) «ЖЕЗЛА ЖИЗНИ»

В мастерской желтый солнечный свет падает из всех окон. В лучах – мириады пылинок, которые не собираются оседать на пол и на свежие холсты. В раме окна тоже картина: мощная мостовая старого прибалтийского города, разноцветные маленькие дома - декорации для средневекового театра.

- Эта тебе нравится? - спрашивает муж, прищуриваясь на среднего размера холст.

Жена вливается в новый натюрморт - вытянутые сосуды, старый кофейник, копченая рыба. Все старое, потрескавшееся, изношенное, в темных коричневатых тонах. Отдает Шемякиным, альбом которого он привез недавно из Питера.

Она спрашивает:

- Почему ты любишь смотреть на старые лица?

- А ты все светленькое такое предпочитаешь?

Почувствовав его обиду, она отмечает это подозрение в пристрастии к банальному светлому:

- Нет, мне нравится темное - Брак! Помнишь, мы смотрели в Эрмитаже - натюрморты с черной рыбой?

- Но ты все же любишь цветочки, - не сдастся он.

- Смотри какие, - не уступает она. Если уступит, он потом долго будет звать ее любительницей цветочков. ОН не прощает таких важных мелочей.

Разговора о его последних работах не получается. Сегодня он увозит их в Питер продавать. Обычно лучшие работы он сдавал в частные галереи, другие продавал сам. Для этого в центре Питера, у решетки Екатерининского сада, абонировал стенд и выставлял на нем свои холсты. Чаше всего покупателями были иностранные туристы, который предпочитали не морочиться обменом валюты и платили «зелеными». Раньше Вадим учился в Питере в Репинке - в Академии художеств, и поэтому любил туда ездить, отмечая встречи с бывшими однокурсниками разговорами об искусстве и о политике.

ОН бы и подольше задерживался там, у своих друзей, но Танька, его жена, требовала присмотра, как он считал.

- А ты что тут собираешься делать? Опять лицо намажешь - и в редакцию байки строчить? - как бы между прочим, спокойно спрашивает он. Он никогда не показывает открыто своей ревности, прикрываясь нелюбовью к газетам вообще.

- Я лицо крашу не для того, чтобы кого-то закадрить! Я не могу ненакрашенная выйти из дома! - терпеливо говорит она и думает, что это звучит наивно, это не на том уровне, на каком нужно говорить им между собой. Она пишет серьезные статьи, встречается в парламенте с политиками от партий любого толка - националистами, коммунистами, фашистами. Там ее речь кажется умнее и продуманнее. С мужем она говорит как с глухим - четко, громко, простыми фразами! При этом она умирает от любви к нему. И терпеливо принимает все его ревнивые выпады, пытаясь каждый раз объяснить их беспочвенность. Она горит на этом медленном огне уже третий год, понимая, что жить так всегда невозможно. Однажды после очередной ссоры, когда она сидела в пустом кабинете в Доме прессы и пыталась писать свой материал, вдруг позвонил муж и сказал, что больше не может жить без нее. Через две минуты она была уже внизу, на остановке.

В переполненном троллейбусе она ощутила внезапный прилив любви ко всем людям - всех ей стало отчего-то так жалко, что в носу защипало от чувств. Все люди, окружавшие ее в тот миг, показались ей обездоленными, несогретыми, нелюбимыми никем. Их уставшие лица говорили о безнадежности всех усилий обрести чью - то любовь. А она была любима... В толчее пассажиров она считала минуты до встречи с ним в его пыльной мастерской в центре города, и вдруг в ее голове пронеслось ясное воспоминание. Точно так же она спешила к нему месяца три назад после ссоры, и примирение тогда было таким полным, что, казалось, больше им уже просто не о чем было спорить. Но опять они поссорились, и вот опять она спешила к нему в мастерскую для полного примирения. - Значит, это повторится еще не раз! - как будто ужалила ее вот такая мысль. - А может, ему нравится жить на таком адреналине? - и это открытие поселилось в ней первой бабской мудрой усталостью.

Он паковал холсты, она помогала ему обвязывать их веревочкой, но он отбирал картины у нее и делал эту же операцию точнее. Она не могла отвести взгляда от его небольших умных рук. Она любовалась и его руками, и его жестами - особенно когда он курил. Когда она смотрела, как он прищуривается, разговаривает, курит, смеется, она растворялась в нем и даже дышать начинала реже. Он невысокий, складный, с длинными волосами и бородой, которая доводит до слез его бабушку.



- Вадик, сбрей бороду! - умоляет худенькая старушка и гладит высохшей морщинистой рукой его по плечу, чтоб не разозлить.

- Бабуля, отстань! - мягко ворчит ее внук, и если в голосе его слышится нетерпение, бабушка отступает. Если нет, она еще немного уговаривает его, и между ними обычно происходит при этом такой обмен понимания и любви, что Таня немного ревнует, чувствуя себя лишней в этой пьесе. На прощанье на вокзале она чуть не заплакала. А он поцеловал ее крепко и, глядя в глаза, попросил: - Танька, обещай мне не ходить в редакцию эти шесть дней. Можешь это сделать для меня?

Она – как под гипнозом – пообещала:

- Окей, я буду дома, я «заболею».

Вернувшись с вокзала, Таня закрылась дома на шесть дней. Перед этим она накупила хлеба и сигарет и позвонила редактору газеты – предупредить, что заболела. Редактор уже как - то и так криво смотрел на нее в последнее время, а в этот раз и вообще говорил с ней очень холодно.

- Ну и хрен с ним! Мне все равно, - успокоила себя она. - Я и вправду себя как-то неважно чувствую!

Она смотрела телевизор, курила, пыталась звонить подругам, но все были на работе. Таня достала из кладовки вязальную машину «Северянка», которую он купил ей несколько месяцев назад. У него, ее мужа, была мечта: жена - домохозяйка. А она, чувствуя свою вину перед ним, всегда скучала дома. Ей было мало кухонных дел, она была отзывчива к чужим проблемам - факультет журналистики МГУ приучил ее к некоторой социальности. Ей постоянно нужно что-то делать для людей, помогать сирым и убогим, разоблачать каких-нибудь мерзавцев.

- Просто так жить и жрать я не могу! - однажды кричала она ему на какой-то пьяной вечеринке, приняв граммов двести дорогого коньяку. Вечеринка эта проходила в Академии художеств, и Вадим, глядя, какими глазами провожают его жену студенты и преподаватели, поклялся никогда больше не приводить сюда свою жену. А она ничего особенного не заметила. Смотрела только на него. Даже когда разговаривала с другими.

ОН был гениальным художником. В этой прибалтийской республике, куда она приехала из Москвы из-за него, ей часто говорили о его необыкновенном таланте колориста, и ей это причиняло боль. То ли она понимала, что его предназначение выше, чем ее байки для республиканской ежедневной газеты, то ли боялась, что не справится с этой исторической ролью жены гения.

Она решила связать ему джемпер. Закрывшись, как в тюрьме, в собственном доме, она установила вязальную машину, смазала ее маслом и принялась перематывать шерсть из мотков в клубки. Электрическая перематка на машине не работала, ей пришлось перематывать вручную. Для этого подошли ножки маленькой табуретки, на которой она растянула моток.

Разматывая шерсть, она вспомнила кадр из фильма по повести Тургенева «Первая любовь»: там барышня мотала клубки с помощью своих многочисленных поклонников. Какая то обида пронеслась было в воздухе, потому что Таня была тоже красива - это ей говорили те, у кого она брала интервью, режиссер с киностудии, пожилой усталый человек, который недавно поработал с известной красавицей киноактрисой, сказал, что Таня в кадре смотрелась бы лучше. И его редакторша, пожилая еврейка, тоже сказала, что Таня очень красивая, что она должны была бы стать актрисой, а не журналисткой. В университете ее снимал известный фоторепортер, чтобы продать ее лицо в какой-то модный журнал, но Вадим это дело запретил строго-настрого. Сам он не рисовал ее, но его профессор заметил, что во всех портретах, которые делает Вадим, видно лицо Тани.

- У этой барышни не было Вадьки! - развеяла свою обиду Таня.

Вот он как раз и звонит:

- Милая, как ты? - Боже, какой любимый голос!

Она тут же зарядилась от него энергией на десять таких клубков!

- Ты доехал? - Слова простые, а ее голос звенит и искрится

-Ты дома?

- Да

- Я проверю еще попозже!

«Я свяжу ему самый красивый джемпер на свете», - решила Таня. Она открыла альбомы с его любимыми Босхом, Брейгелем, малыми голландцами, выбирая цвета и композиции, которые ему обязательно понравятся. Жухловатые тона: красный, желтый, зеленый. в полоску, разбавлю серым, чтоб не было так разноцветно – так в конце концов решила она. Все цвета у нее были, кроме жухлого зеленого. Пришлось распустить свой свитер, который она связала еще в Москве по выкройке из Бурды Моден. Вся эта суета с нитками затянулась до вечера, Таня легла спать поздно, поговорив еще раз с мужем, позвонившим около одиннадцать ночи.



Серое утро балтийской зимы застало ее за работой - времени было не так уж много. Конечно, для какой-нибудь там опытной вязальщицы связать один джемпер на машине - это одно дело. А для нее, читающей по инструкции метод соединения вязальных петель на машине «Северянка», - это уж совсем другое дело. Если добавить сюда мамину поговорку, что у нашей Тани руки не из того места выросли, то оставшись пять дней на самый красивый джемпер - это очень рискованно. Можно просто не успеть!

Она вязала, вязала, иногда снимала, перевязывала, придумывала новое, например, петли для трех пуговиц на широкой планке впереди, у кругло вывязанного горла. Так и прошел день, озаглавленный телефонными звонками мужа и редакторши отдела социальных проблем, Натальи Севидовой.

- Ты скоро выйдешь? спросила Наталья

- А что?

- Есть интересная командировка - это по твоему материалу о монархистах. У них съезд в Москве намечается, редколлегия решила послать тебя.

- Когда? - загорелась Таня.

- Послезавтра съезд, а завтра вечером нужно выезжать.

- Я не могу, - после паузы ответила Таня.

Положив трубку, она схватилась за вязание с такой горячностью, что порвала сразу несколько петель кареткой.

Разбираясь, поняла, что устала, включила телевизор. По российским новостям передавали про готовящийся съезд монархической партии. Мелькнуло в кадре несколько знакомых лиц. Два месяца назад она привезла из Москвы интервью с председателем этой партии Энгельгардтом Юрковым. Материал был перепечатан несколькими центральными изданиями и зарубежным «Русским словом». Поэтому Таня стала чуть ли не специалистом по монархистам, а заодно и другим неформальным партиям в своей газете.

Ей очень хотелось поехать, опять впасть в этот сюрреализм прославления принципов монархического правления молодыми агрессивными монархистами! Хотелось вдохнуть другой жизни и рассказать о ней так вкусно, чтоб местные домохозяйки забыли о своих делах и побежали бы звонить друг другу, чтоб говорить: «К чему печатать такие статьи?»

- Ну, нет, хватит, - она выключила телевизор, и принялась вязать джемпер для своего любимого мальчика, мужа, художника. Приговаривая так, она выбросила из головы монархистов и редакцию, и свои успехи и свою красоту. Да и зачем ей все это, если его рядом нет?

- Танька, это я!

- Как ты там?

- Соскучился!

Ожидая от нее такого же ответа, он напоролся на вопрос:

- А картины продаются?

- А ты?

- Что «ты»?

- Ты соскучилась?

- А картины продаются? - упрямылась почему-то она.

- Тебя что, заперло сказать, что соскучилась?

Она рассмеялась, а он еще ворчал минуты две в трубку, что звонит ей, а она не может нормально поговорить с ним.

Весь третий, четвертый, пятый день она вязала. Болела спина, заслезились глаза, она как-то отупела. Просто гоняла каретку и считала ряды. В каждой полосе по 12 рядов. Если ошибешься, придется распускать. В нормальной машине это должен делать счетчик, а в ее «Северянке» этот прибор не работал.

На шестой день она отпарила утюгом отдельные детали - спинку, перед и рукава - и начала шить их специальной иглой. Закончила только после обеда. А нужно было еще убрать весь дом - разноцветные нитки валялись даже на кухне. Уже вечером она заглянула в зеркало и увидела свое бледное уставшее лицо с красными глазами. Она так подурнела от этих шести дней взаперти!

Вадим приехал утренним поездом, она встретила его на вокзале, они отправились сначала в мастерскую, где он распаковал новые кисти, краски, холсты, рамки, что привез из Питера. Пообедав в ресторане, пошли домой. Таня, едва вошли в квартиру, сказала:

- Я приготовила тебе подарок!



Она принесла джемпер, но он, едва посмотрев на него, уже потянулся к ней соскучившимися руками, губами.

- Потом посмотрю!

Потом посмотрел, примерил даже на голое тело.

- Посмотри, какой сатир с волосатыми ногами! - прохаживался перед ней Вадим в новом джемпере, вызывая игривый Танин смех

Таня знала эту его манеру говорить о человеческом теле – даже о своем – отстраненно. Сначала это казалось ей цинизмом, потом она привыкла. И сама рассуждала иногда у его этюда с «обнаженкой» - так художники называют обнаженную натуру: «Какой тяжелый зад у этой натурщицы. Она некрасивая».

- Тань, ну что за оценка - «красивая-некрасивая»! Это же не модель для подиума, - отзывался из глубины мастерской муж. - Это рожавшая сильная женщина. Вот посмотри, - он подходил к своей работе и мерил пальцами пропорции тела изображенной им же самим натурщицы. Крепкие тяжеловатые ягодицы, бедра такие же - широковатые, непропорциональные на первый взгляд. Ноги крепкие, вынашивать ребенка легко таким бабам. Вот кого она мне напоминает: каменную скифскую бабу - символ плодородия и материнства. Они умели вынашивать и рожать детей без акушерок и роддомов. И делали это как бы между прочим, часто и всю жизнь. Иначе скифы не выжили бы в постоянных войнах. Поэтому и понастроили памятников этим бабам по стенам.

- А действительно, мужчинам - скифам нет ни одного памятника! - восклицала Таня.

- Ой, да ладно вам! - спохватывался Вадим. - Вы бабы – все равно пустота, вам нужно только рожать. А у нас, мужиков, есть жезла жизни. Вот такая смешная вроде форма - трубка. А в ей заключен секрет жизни, – ерничая, но при этом вполне серьезно говорил он. В таком же отстраненном тоне, как о чужом теле, рассуждал о величии своей «жезлы жизни», о целесообразности и продуманности места «жезлы» на мужском теле. Дурачась, закутывал жезлу в бороду, призывал представить себя оскопленным и, горячась, утверждал, что вся Танина любовь исчезла бы без следа, не будь у него этой самой жезлы жизни.

-Нет, не исчезла бы! Моя любовь не совсем уж ниже пояса, – злилась Таня. Но представить мужа без «жезлы жизни» не бралась.

- Да хватит врать, - не слушал он ее. - Пока моя «жезла» со мной, и ты со мной. Знаю я тебя.

Потом он снял джемпер. И больше уже почему-то никогда в жизни не надел его. Хотя сказал, что красиво получилось. Да и она видеть не могла этот джемпер. Тошнило ее от него. И от «Северянки» тоже. Сразу вспоминались те шесть дней добровольного заточения. Через год она разбирала шкаф, нашла джемпер и решила подарить его одному хорошему человеку: другу семьи, энтузиасту, пушкинисту. Пушкинист обрадовался, и однажды Таня увидела его в этом самом джемпере по телевизору.

А с Вадимом они разошлись года через два. Таня ушла.

Мария Сидорова (Мирный) ВОЛОГОДСКИЕ ПРОСЁЛКИ

Как начала писать и когда? Лет с двенадцати решила стать журналистом. Писала стишки про любовь – сейчас с улыбкой их, смешные, вспоминаю.

Отец сказал однажды (не иначе – ему попались на глаза мои опусы), что если суждено мне стать писателем, то я стану им безо всяких литературных институтов – Максим Горький же пробился. Тогда я поехала в ВГПИ на филфак, а сейчас, печатая эту фразу, думаю: какой папа молодец! И масштаб сравнения потрясает – не с каким-нибудь Васей Пупкиным – с самим основоположником советской литературы!))) Ну, это шутка.

В институте параллельно окончила факультет общественных профессий по специальности «журналистика». Хотя не ахти какая школа, но я учиться вообще люблю и рада малейшей возможности. Там же – в качестве практики – мы ходили брать интервью, учились писать очерки. Пишу, можно сказать, всю сознательную жизнь. Публикуюсь в серьезных изданиях с 1999 года – до этого не делала попыток, потому что школа съедала всё время. А тут решила: пора! – оставила себе в школе минимум часов и занялась литературой.





«ЛЮБОВЬЮ, ГРЯЗЬЮ ИЛЬ КОЛЕСАМИ»

Оно, конечно, романтики с виду - никакой.

Вот был бы девятнадцатый век, да томно вздыхающий княжеский сынок, да бал какой-нибудь – совсем другое дело! Или свечи там, канделябры безумной красоты и формы... Чтоб уж совсем добить читателя.

Да все это на фоне строгой классической музыки. Настраивающей, так сказать, на трагический финал.

Ни-че-го подобного, дамы и господа! А имеет место быть глухая, пьяная, нищая вологодская деревня, парнишка лет шестнадцати, по деревенским меркам – мужик, за взрослого вкальвает, а при этом еще и в школу в девятый класс бегаёт за несколько километров, пешком, каждый день туда-сюда.

Высок, широкоплеч, смирен не по фактуре – слова не вытянешь. Волосы пепельные, мягкие, вьются слегка, колечки такие нежные – ну да в деревне красоты этой оценить некому. Глаза – серые, задумчивые. Взгляд все время сосредоточен на чем-то, нездешний взгляд, это да, это было. А больше – ничего. Парень как парень. И золото кружев с манжет юного романтика не сыплется в интересные моменты его биографии, потому – манжет нет, а есть ватник, он же фуфаячка, шибко популярная в этих широтах одёжка.

А сценой последнего акта его жизненной драмы сделал Господь баньку на задах огорода. Влюбился парень. Решился наконец в кино Её пригласить. По вологодским захолустным меркам это почти что о помолвке объявить. Приоделся и пошел. В соседнюю деревню. Брюки парадные единственные в сапоги заправив – октябрь, грязь непролазная. Позвал. Отказала.

Отправился домой. Километра три шел в обнимку с бедой сероглазый романтик. А дошел – ружье отцово взял, и в баньку. Сапог один снял, носок снял, чтоб палец освободить - на курок нажать. Сел на лавку - и ... Никто не понял – зачем? Что толкнуло? Одна, быть может, матушка знала, сердцем чуяла – мог он так... Но матушке в те горькие дни не до разъяснений было. Маленькая, заброшенная почти, дикой травой заросшая вполовину, стала деревушка местом, где свершилась трагедия вселенского одиночества – беспредельного, черного, отчаянного. Возмутились, пришли в смятение небесные силы, схлестнулись в вековой схватке вихревые потоки. Смяли, в прах растерли нежный побег любви, проклюнувшийся в мальчишеском сердце. Похоронили парня у самой кладбищенской ограды – не стали за черту выносить, пожалели – мухи не обидел за свою недлинную жизнь. Через два года рядом появился еще один холмик. Матушка соединилась со своим единственным сыном.

ПАРЕНКА

- ...У нас в деревне троё кулачили-то. Нероботи были все. Химка всем заправляла, главная активиска у их была, вот и говорит Оленькину парню: жониссе на мне, дак не буду вас кулачить. А не жониссе – всех вас вывезём и дом отнимём. Через три дня по домам пойдём. А парень-от хорошей быв, работяшшой...И деушка у ево была тожо, Лида, хорошая экая, красивая. Славутница, оне осенью хотили свадьбу играть...Ну вот,пришов он домой, отцу-то рассказав, тот ничово не говорит. Думали ночь, думали – куда дёваще...Четверо робят у их, да на ноги только ставать стали. Велев ему отец идти к Химке...

- Неужели женился?

- Жонивсе... Всю жись с ей прожив. А Лида так замуж и не выхаживала. Одна жила. Он, люди сказывали, тогда ночью-то ходив к ей, прошшенья просив. Поплакала, бывало. Да и он плакал.

- Неужели Бог эту Химку не наказал? Ведь две же жизни сломала. Ведь у этих двоих дети могли бы родиться. Значит, всё не так пошло.



- У Химки-то деток не было.
 - Видно, наказал-таки Бог... А где она теперь? Жива?
 - Живёт. Тут где-то, в городе... У сестры. Бабы сказывали. Я-то ие не видала много годов. Она ведь у нас из дому икону большую унесла, когда мы из деревни-то уехали. Потом уж я узнала это всё. Ну да Бог ей судья... Лучше не споминать. Как спомянешь все, дак и думаешь: как я это и вынесла...

- А вас как раскулачивали?

- Нас не кулачили – нас верхушили. Средняками признали. Отец товда уж умёр. Мама с нами с троими осталасе. Она не знала ничего – вдруг лишь ночью кресная к нам бежит. Заколотилась в ворота тихонько. Мама пустила её. Она говорит:

- Завтра к вам верхушить придут. Давай хоть мешок муки закопаём. Как робят-то кормить будёшь, ведь всё увезут. Закопали оне на дворе мешок-от, сверху соломы натресли. Не нашли, ковды искали-то. Дак мама нам довго лепёшки из тые муки пекла. К ноче печь затоплеёт, это чтобы нехто не пришов, напекёт дня на три – мы и едим.

А верхушить пришли – мама ревит, мы ревим, оне и на сарай, и на двор, и в онбар. Всё, всё выгребли. У мамы бьв в онбаре сусечек паренки – сахару-то не видали мы, не знали, дак репы нам вместо сахару напарила. И паренку отнели, унесли мешочик. Я, помню, ревлю, (шесть годов мне было), уж больно обидно-то мне, бежу за ими да кричу: отдайте паренку! отдайте паренку. Какоё! Унесли... Всёт я эту паренку жалею.

ПРОСТИТЕ НАС

Дом - огромный. Старинной северной постройки. Бревна посерели от времени.

Войдя внутрь, я вижу, что дом не достроен. Внутри пустое пространство. Только слева широкая лестница на второй этаж. Поднимаюсь по ней. Вниз смотреть жутковато. Вместо пола второго этажа - несколько половиц в рядок вдоль бревенчатой стены, чтоб пройти на кухню (только она да смежная с ней маленькая комнатка приспособлены для жилья). Какое-то подобие перилец отделяет этот странный настил от пустоты. Смотришь с лестницы – не по себе становится именно потому, что зрелище человеческому глазу непривычное, противоестественное.

Не успел хозяин ничего. Начал строиться с размахом, да война помешала. Ушел на фронт в сорок первом и не вернулся. Осталась жена Настасья и двое сыновей - Феофан и Галактион, по-деревенски Фиешка да Галашка. Всегда удивляли меня наши деревенские имена – звучные и необычные. Основательно жили наши деды и прадеды! Хранили традиции и чувствовали красоту. Разве думали они, что все развалится?

...В мои три года Настасья казалась мне бабушкой. Наверно, так она и выглядела - женщины в наших вологодских деревнях рано стареют. Детское воспоминание – сидит Настасья на табуретке, ноги за перекладину нижнюю засунула, дремлет, да вдруг как пова-а-алится медленно! Бабы, и она вместе с ними, долго смеялись потом. Маленькая, добрая, щедрая - ведь ничего, ничего у нее в доме не было, постель, набитая соломой, на полу лежала - как привечала она нас, маленьких, и любили же мы к ней ходить - кипяточку на травках попить, любовью согреться, преснушек Настасьиных поесть.

Потом меня увезли. Приехала в родную деревню лет через десять - и не узнала её. Даже горочка, по которой поднимались мы обычно к своему дому, стала ниже. Я смотрела и удивлялась: как же мы по ней на велосипеде-то трехколесном разгоняться умудрялись? Деревня тихая, замершая. Зашла к Настасье. Посидели, поговорили. Так хорошо мне было - тепло, спокойно. Веяло от Настасьи добротой беспредельной - в первозданном смысле этого слова... Напоила меня Настасья чаем с черным хлебушком. Да так она бережно этот хлебушек резала... И дала я себе слово приехать сюда еще раз и привезти ей хотя бы сладостей к чаю, хотя бы баранок да сухарей. Пусть простится мне наивность моего намерения за его чистоту. Приехала - годы спустя. Бабушка Настасья была слепа. Галашки - так и звали его, почти сорокалетнего, в деревне - не оказалось дома. Ушел в магазин за реку, за хлебом и водкой. А бабушка сидела на лавочке у окна и на ощупь резала ножиком какое-то серое вареное мясо - мелкими кубиками. Она не вспомнила меня. Она никого уже не помнила и говорила путано. Знала только, что Галаша ушел в магазин, а Фиеша живет хорошо. В комнатенке ничего не изменилось. Та же нищета, та же пустота, тот же запах - чистый, деревенский - запах опрятности, дерева, сена.

Хотелось плакать и просить прощения.



Ирина Фещенко-Скворцова (Португалия) ПОРТУГАЛЬСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Чарует небо

Ранняя весна. По ночам - ещё заморозки, а мимоза потихоньку распускается. По пути на работу каждый день прохожу мимо цветущего дерева – рукой подать, через забор. Ветви почти задевают по лицу. Никто не ломает – чужое.

Больше всего меня здесь, в Португалии, чарует небо. Может быть, потому что мало имела возможностей поехать по стране, а небо есть везде. Оно здесь совсем другое, очень изменчивое. Похоже на океан. Особенно когда, вот как сейчас, по нему летят голуби. Впечатление такое, что это колышутся в неглубокой прибрежной воде открытые перламутровые раковинки: то сверкнут в свете проходящего сквозь воду солнца, то опять сливаются с водой.

Здесь я впервые увидела так близко аистов, они гнездятся на соснах и в эвкалиптовых рощах. Порой пролетают над головой, почти можно разобрать, что несут в клюве птенцам. Белые ибисы (*Bubulcus ibis*) без опаски ходят по пастбищу, совсем близко от проходящих за изгородью людей.

А ещё я впервые увидела здесь очень забавный полёт мелких птичек. Я пока не знаю, что это за пичуги, но не воробьи. Местные жители не знают их названия, они часто не знают названий деревьев, растущих у них в саду, не интересуются. Птички летали маленькой стайкой, перелетали с места на место, порой очень низко над землёй. Когда я пригляделась, с удивлением заметила: они не летят, а скачут, будто кузнечики. Прижимают к телу крыльшки, превращаясь в маленький комочек, а потом резко выбрасывают их в стороны. Вот какие штуки можно проделывать, если у тебя есть крылья! Муж смеётся надо мной: как же, мол, ты раньше не обращала внимания, мелкие пичужки и у нас так же играют иногда.

Да, не было времени смотреть, часто ли я попадала на природу? А наша vila Benavente, «vila» - можно перевести как посёлок, деревня, - он тихий и уютный, природа как-то органически вплетается в старые улочки его окраин. Находится он в центральной части страны, в пятидесяти километрах к востоку от столицы Lisboa. Это более равнинная часть по сравнению с севером и югом, наверное, поэтому это единственный район, где выращивают рис. Залитые водой рисовые поля видишь из окна автобуса.

Мы живём рядом с небольшим хвойным лесом. Горожанка, вечно сидящая за пишущей машинкой, потом за компьютером, я была обделена общением с природой, что компенсировала, превращая свой дом в живой уголок. Здесь, стыдно сказать, впервые увидела – нет, скорее, это впервые проникло в моё сознание: несколько минут, в течение которых заходящее солнце придаёт пышной кроне деревьев совершенно иной оттенок, как бы последним мазком оживляя картину. И как было тревожно и грустно, какие мысли приходили, когда эти два больших кедра вместе со многими другими деревьями обвели по стволу жёлтыми кольцами краски. Новый хозяин земельного участка решил строить коттеджи, и примерно половину деревьев спилили. Они стояли так, с кольцами, ещё почти месяц, обречённые, но такие живые и красивые!

Под крышей, где шепчутся осы,
где мягким и меркнувшим светом
не наших, раскидистых сосен
повеет. А рыжий их отсвет
ложится на листья, на лица.
И жизнь, как положено, длится.
И вечер, и утро, и осень.

В Benavente очень много растений. Они везде: вдоль трассы, на крыльчке каждого коттеджа, на каждом балконе, на земле возле маленьких домиков – старых построек. Деревья, среди которых много различных пальм, цветущие кусты, агава с широкими, отороченными жёлтой полосой длинными листьями... Здесь впервые увидела цветущее алоэ: цветы на длинной цветоножке по форме напоминают «свечи» каштана, но тёмно-красные. В районах, где только дома старой постройки, где живут больше старики, видела заросли дикорастущих кактусов - опунций. Посадки эвкалиптов тянутся вдоль главной трассы на Лиссабон. Эти удивительные деревья, как змеи, сбрасывают кожу – кору. Поэтому имеют довольно неряшливый, причудливый вид с этими лоскутами сползающей коры. А на пробковом дубе кора аккуратно срезана человеком для своих нужд. К счастью, видимо, он от этого не сильно страдает: кора отрастает заново. Долго меня удивляло дерево, напоминающее нашу ель: оно часто имеет такие



ровные ветви, будто сделаны искусственно. Совершенно симметрично и почти горизонтально через равные промежутки от ствола отходит розетка ветвей. И хвоя какая-то вся перевитая, декоративная. Долго искала книги о растениях и животных Португалии. Те, что находила, были предназначены узким специалистам (например о птицах): определитель. И, конечно, книги очень дорогие. Наконец нашла и купила что-то вроде энциклопедии садовых растений. Там только фото и названия. Нашла своё загадочное дерево: оказалось, это араукария (Araucária de Norfolk), австралийское дерево. Здесь вообще много завезённых из разных стран, даже частей света растений. Климат Португалии благоприятен для таких гостей. Много цветущих высоких кустарников, среди них чудной, тоже австралиец, *Limra - gartafas* - чистильщик бутылок. У него ветка как бы насквозь протыкает особое образование, похожее на шишку. На концах ветвей эти «шишки» сперва зелёные, и удивительно видеть, как вдруг из них вылезают крупные, ярко-малиновые, похожие на ёршик для мытья бутылок цветы. После цветения «шишка» затвердевает, становится коричневой. Очень привлекательно выглядит в садах покрытая позолотой по светлой зелени туя (*Cipreste- Tuia-macarrão*), на этот раз - японочка. Сейчас, слышала, на севере высаживают берёзу. Думаю, приживётся.

Сады расцвечены шариками апельсинов, их зачастую не собирают, так и опадают потом сами. С ними связано одно поверье, каких всегда достаточно у каждого народа. Здесь считается, что апельсины ни в коем случае нельзя есть на ночь. Существует даже поговорка в стихотворной форме, на русский переводится так: утром – золото, днём – серебро, а ночью – убивает. Другое такое поверье: многие с опаской относятся к кефиру и самодельному творогу.

В этом году была суровая для Португалии зима. Ночью заморозки, вплоть до замерзания воды в кране. Очень редкие дожди, практически их отсутствие. Обычно же зимой – большая влажность, частые обильные дожди. Это была моя вторая зима – в первую мы пережили настоящий потоп, когда вода едва не ворвалась в дом, а во многих домах, где порог находился на уровне улицы, так и случилось.

Этой зимой погибло много растений. У меня замёрз цветок всего за две ночи на улице: болела гриппом, оба с мужем забыли занести цветы в дом. Погибли у многих растения, видимо, много лет уже растущие в садике перед домом. Местные жители не делают из этого трагедии: выживет - хорошо, нет – «гуд бай». Собаки и кошки часто гибнут под колёсами сумасшедших авто. Южная лень приводит к тому, что собачки с длинной шерстью, требующей ухода, даже очаровательные йоркширы, часто имеют весьма неряшливый вид. Но, конечно, встречаешь и отлично ухоженных крупных собак: овчарок, лабрадоров, ротвейлеров. В разговоре с одной женщиной я объяснила, как можно помочь давно живущей у неё птичке, кенару, избавиться от наростов на лапках и длинных загнутых когтей. Она была несколько растеряна, т.к. и не подозревала о необходимости такого ухода. Потом спросила: и тогда он снова будет петь? На что я, естественно, не смогла ответить утвердительно. Она удивилась: а зачем же тогда это делать?

Давно заинтриговало меня животное, имеющее местное название «сакарабу» (*Saca-rabos*). Даже стишок смешной родился об этом зверьке.

У меня в лесу гнездо, по-птичьи,
Так бы жить да наживать добра бы,
Только слышу ночью крики дичи
На зубах у хищной сакарабы.

Не пугай естественным отбором:
Жизни вам живой за ним не видно!
Это кролик закричал от боли,
Маленький, напуганный, невинный.

Мне до крови душу покарябал,
Я жестокость не стерплю такую.
Заходи, соседка-сакараба,
За вином о жизни потолкуем.

Я так вначале поняла по описаниям местных жителей, что это небольшой зверёк из семейства кошачьих, с собаку средних размеров. Наконец нашла в одной из библиотечных книг: оказалось, это мангуста. Вот как звучат другие имена «сакарабу»: *manguso, mangusto*. Вот ведь какие случаются казусы.

Пишу и не знаю, будут ли кому интересны мои заметки. Наверное, есть более интересные описания природы Португалии. Но каждый первый взгляд, думается, интересен уже тем, что он – свежий, не



«замысленный». И всё-таки, скорее всего, я пишу эти заметки для самой себя. А разве этого мало? Главное, чтобы было полезно и приятно хоть одному человеку, не правда ли?

БЫК

Бык носится взад-вперёд, взрывая специально насыпанный для него на камни мостовой песок. На губах уже пена. Нет, на песке нет крови, это так, безобидные шутки. Кто-то трясёт перед быком тряпичной куклой, кто-то размахивает куском картона.

Резкий поворот, бросок – копыта забрасывают песком глаза зрителей. На заборе вырос живой лес: никому не хочется попасть на рога. Самые проворные просто отскакивают подальше. Куда уж ему угнаться, слишком много раздражителей. Бросок, ещё бросок... Бык явно не понимает, что он им всем сделал, чего они от него хотят. Он пыгается защититься, восстановить справедливость единственно доступным его пониманию способом: он нападает на обидчиков. Снова и снова... Нет, что вы, никакой крови, безобидные шутки. Вот кто-то ухватил его за хвост. Недалеко дежурит машина скорой помощи: всякое бывает.

Бык ведь такой сильный, дразнить сильного почётно. Так демонстрируется ловкость, храбрость. Что ему, быку, сделается? Посердится и перестанет. Через день говорят: умер бык. Отчего? Было слишком жарко...

Через сколько булавочных (и не только) уколов проходим мы за свою жизнь? Человек выносливее быка. И что мы все друг другу сделали? Зачем при каждом удобном (кому?) случае стремимся показать своё превосходство, кто – совсем открыто и примитивно, кто – утончённо, а значит, более жестоко? Почему радуемся, одержав хоть в чём-то, хоть маленькую, но ПОБЕДУ над ДРУГИМ?

Думается, и самый добрый человек с трудом подавляет поганые мыслишки: я чище, добрее других. Помните, мир держится на семи праведниках. Но если один из них хоть раз подумает о себе как о праведнике, он тут же перестанет им быть.

Пройти через унижение для воспитания в себе человечности...

Сколько об этом писали? Страшное это испытание, как некоторые древние инициации. Пройти через это и остаться – вернее, стать – человеком, а не превратиться в зверя. В быка с налитыми кровью глазами, который готов мстить всем без разбору. Мстить, скорее всего, неповинным. Потому что мучители чаще остаются вне сферы досягаемости.

Как размыты грани между человеческими чувствами, как неточны названия человеческих порывов, поступков, качеств, придуманные людьми. Пройти через унижение – значит, унизиться? Стать униженным, низким? Но только таким путём возможно восхождение, вознесение: с креста на престол Духа.

Унижение. Внешнее: тебя пытаются унижить другие. Внутреннее: ты унижаешь себя сам. Но если тебя унижают, а ты неповинен ни в чём, не заслуживаешь этого унижения – их попытки бесплодны. А твоя заслуга – кротость, терпение. И насколько больнее, а значит, полезнее, если ты осознаешь свою низость (?), вину, грех и мучаешься этим, жесточе всех обвиняя себя сам. Вот когда кровью отмываются одежды. Белые одежды святых...

Юлия Сударева (Вологда) БУДУ СЛУШАТЬ МУЗЫКУ И ДОЖДЬ

Иногда мне кажется, что я никогда не буду спать. Я буду только сидеть за компьютером, и думать о нем, и будет идти дождь, холодный дождь, и я буду плакать... А он будет лежать, и капли дождя будут его убаюкивать, и он не будет думать обо мне. Я буду только нажимать кнопки на телефоне и на компьютере, буду слушать его любимые песни и снова плакать. Но мы когда-нибудь встретимся, и будет солнце, яркое и теплое, и дождя не будет, вообще не будет никогда. Будем только я, и он, и лучи солнца...

Я все-таки засыпаю перед монитором... Проснусь только утром, увижу его образ во сне и посмотрю любимые новости, которые сейчас меня не интересуют, мне неинтересны события в мире, я буду нервничать и ждать прогноза погоды... дождь и облака... зонтик, капельки и туча полюбили то место на карте страны, где живу я. Улыбчивая журналистка сообщает о том, что это надолго... Она меня раздражает, раздражает ее стильный костюм серого цвета – такого же, как и мелкий дождь за окном; ее строгие очки и шикарная прическа. Я кидаю пульт от телевизора в стену, а она продолжает улыбаться. Когда она выйдет на улицу, ее блестящее светлые кудри разовьются, а на очках появятся капельки, из-за



них ей будет ничего не видно и она обязательно ступит в лужу и испачкает костюм, я знаю, обязательно ступит и испачкает. Она не заслуживает этого, но я злюсь; когда-нибудь я мысленно попрошу у нее прощения, но не сейчас...

Сейчас я включу его любимую песню, а свой диск просто выкину и никогда о нем не вспомню, иногда буду ходить, и напевать когда-то обожаемые мною песни, но я не буду любить их так, как раньше, теперь я буду любить только его песни, которые мы слушали вместе. Я выйду на улицу, положу плеер в карман, буду идти, просто идти без цели и без смысла, буду слушать его песни, теперь уже наши песни.

У меня нет такого зонтика, как на карте во время прогноза погоды, и я быстро промокну. На улице будет мало людей, но найдется какой-нибудь молодой человек, похожий на мальчика с картинки, которую я видела в глянцево-м журнале, он обязательно спросит, как куда-нибудь пройти или, в крайнем случае, сколько сейчас времени; потом захочет узнать мой номер телефона. Молодой человек будет в тысячу раз красивее его, но я люблю только его. Первый раз я сказала себе, что люблю его. Ему я говорила это много раз, но призналась сама себе впервые... Рука непроизвольно потянулась за телефоном, я вижу знакомые слова: «Я тебя люблю, только ты плохая». Я никогда не удалю эту эсэмэску.

Может, я и вправду плохая, но не заслуживаю всех мучений и переживаний, которые накопились в моей груди; нет, они не такие, как обычно, которые остро ранят и заставляют тебя краснеть и беспричинно кидаться в истерику, они другие... очень тяжелые... тупая боль, да это боль, разочарование и ощущение неизбежности момента, я и вправду не в состоянии изменить реальность. Думаете - ну и что такого, любовь прошла, в жизни такое часто бывает... Нет, она не прошла, она ушла... И ушла надолго, боюсь произносить эти слова, но ... на шесть месяцев.

Вспомнить сегодняшний день... молодой человек, на которого я накричала прямо на улице, журналистка - я ничего не говорила, но сколько я подумала плохого в ее адрес - и мама, на звонки которой я не отвечаю с утра, как она переживает... Когда грустно мне - грустно всем вокруг меня, так нельзя делать... сейчас грустит и погода. На счет раз - два-три я улыбнусь, и все будет по-другому. Нет, дождь так и идет, но зато при виде меня перестала плакать маленькая девочка, помахала мне рукой и согласилась с мамой идти к бабушке. Ее мама тоже ответила мне улыбкой. Даже насквозь промокнувшей мне стало тепло... я верю и знаю, что когда-нибудь обязательно будет солнце...

Когда я приду домой, я обязательно расскажу...

ВСЕГДА ЛЕТО

Глаза мои не отрываясь смотрят на афишу. На ней ярко-красные буквы «Чемпионат России по летнему полиатлону. Участвуют сборные команды регионов России».

Вот и прошли еще одни соревнования, я уже дома. Сяду на мягкой и теплой кровати рядом со мной мама... Еще неделю назад мне не хотелось видеть ни ее, ни кровати, ни всех домашних прелестей. Не зря говорят, что в разлуке еще больше начинаешь ценить то, к чему ты, казалось бы, привык, те мелочи, которые ты не замечал. Особенно задумываешься о своих друзьях и родителях...

Мама меня о чем-то спрашивает, я, не замечая ее вопросов, просто сижу, смотрю на все это и радуюсь. Почему? Не знаю. Показываю ей свою медаль, грамоту. Награждается Сударева Юлия, занявшая II место в Чемпионате России... Неужели это про меня?

-Как дела, как настроение, как ты себя чувствуешь?

-Все хорошо.

-Как доехали?

-Хорошо

-Будешь кушать?

-Хорошо

-Чем сейчас будешь заниматься?

-Хорошо...

Полиатлон - это вид спорта. Пятиборье, включающее в себя такие дисциплины, как стрельба, плавание, метание гранаты, бег на короткую дистанцию (60 м) и бег на выносливость (1000 м). Т. к. на улице очень холодно, соревнования проводились в закрытом помещении и метание гранаты пришлось отменить.

Шесть дней назад я собирала вещи с одной только мыслью: «Завтра меня ждет Калуга». И совсем забыла про то, что еще предстоит заехать в Москву (путь в Калугу лежит через Москву), может, поэтому, она меня не так желанно встретила. Итак, в 4:00 в поезде Котлас-Москва (именно на нем мы добились



до Москвы) было заметно некоторое оживление, пассажиры умывались, завтракали, собирали вещи. Я практически не спала всю ночь. Волнение перед соревнованиями? Когда я уехала, в Вологде начался наисильнейший снегопад. Мартовский, белый, хлопьями падающий снег засыпал все дороги и вызвал тем самым множество различных происшествий. Может, меня и тревожила погода дома, но как только я представляла предстоящие старты, внутри все замирало. Так вот и провела всю ночь, время от времени переводя дыхание и искажая различные бытовые ситуации...вдруг у меня развяжутся шнурки на кроссовках или на старте слетят плавательные очки...

В 5:00, в то время когда мои одноклассники спали или думали о предстоящих зачетах и контрольных, мы (наша команда) с большими тяжелыми сумками в холодной и голодной Москве ждали открытия метро. Одно радует – мысли об учебе остались в Вологде. Сейчас смотрю на ленту медали (она оформлена в цвета российского флага) и вспоминаю Москву. Красные от ветра щеки, синие от холода губы и побелевшие от тяжелых сумок руки. С утра, и правда, было прохладно. В 5:30 дети с улыбкой ехали на эскалаторе и был слышен шум первого поезда. Но на этом все не закончилось.

Около 6:00 я уже была на Киевском вокзале, где, кстати, снимался видеоклип, популярной группы «Звери». Подхожу к расписанию поездов и, то ли от усталости, то ли от волнения, в голове только строчки из песни: «Напитки покрепче, слова покороче...». Ни о чем, кроме этой песни, в данный момент я думать не могла, настолько измучила меня ночь в поезде. Именно на Киевском вокзале я и провела еще полтора часа в ожидании, какого-либо транспорта. Это была электричка. Мне удалось поспать примерно два часа, после утомительной ночи в поезде эти два часа были первым, что порадовало меня за последнее время.

Вот я и в Калуге. Вы думаете, на этом мой путь закончился? Нет. Соревнования проходили в спорткомплексе «Анненки» (пригород Калуги). Последние полчаса пути – и мы уже в гостинице. Свежий воздух, пушистые сосны, весеннее солнышко (прошу заметить, никакого снегопада), тир, манеж, бассейн и много-много спортсменов (в соревнованиях приняли участие около 150 человек), все это приподнимает настроение.

Но, как всегда, не могло обойтись без происшествий. На этот раз в дороге повредился прицел винтовки и нам прямо с поезда пришлось бежать в тир и ее пристреливать. За час мы справились с этим. И на следующий день в первом виде соревнований - стрельбе, набрав 91 очко из 100 возможных, я была первой. Следующая дисциплина соревнований - бег на 60 м, что дается мне сложнее всего. Но, несмотря на это, после плавания мне удалось с последних позиций подняться на второе место (в возрастной категории 14 -15 лет), где я и осталась после кросса. Плаванием я занимаюсь уже около 8 лет, больше чем половину своей жизни, и поэтому не только показала первый результат в этом виде соревновательной программы, но и отыграла потерянные очки. Вообще на плавательной и на беговой дорожке все по-другому... мне больше нравится вода. Вода бывает разная: и зеленая – не люблю этот цвет – и голубая, прозрачная, как в Калуге. День рождения у меня в марте, когда на улице все тает и появляется много воды для меня - Рыбы.

Соревнования – это не только большая физическая, но и психологическая нагрузка, поэтому без поддержки не обойтись. В этом мне помогала команда и, конечно, тренер. Нашего тренера, Агафонова Ивана Юрьевича, тоже можно поздравить, Чекалюк Глеб стал первым мастером спорта по летнему полиатлону в Вологодской области. Сосков Иван не только выполнил норматив кандидата в мастера спорта по полиатлону и первый разряд по плаванию, но и занял третье место (в возрастной категории 14-15 лет); Сосновскому Николаю тринадцать лет, а он выполнил первый разряд по полиатлону. Правда, в тринадцать была уже кандидатом в мастера спорта...

Однако самое главное - это не разряды и места, ведь все эти люди не просто безликая команда, а настоящие друзья, пусть даже на несколько дней, но все равно настоящие, понимающие... Однажды проговорили всю ночь о том, что волнует каждого: любовь, общение, не затрагивая ни звезды, ни вечность... Мы все – в дурацкой гостинице с жесткими кроватями, неудобными подушками, но это была гармония. Для меня полиатлон – это не только страх и напряжение, а еще и единство духа...

Как много воспоминаний возникло у меня при виде афиши! Сейчас она меня радует, а когда-то висела на дверях манежа и пугала окружающих своим громким содержанием...«Чемпионат России по летнему полиатлону»... А чуть позже, когда я приехала в Вологду, первое, что сделала, упала в огромный сугроб около моего подъезда, перед этим удивившись: ведь еще неделю назад его не было! Я подумала: как бы ее не память, ведь ключи от квартиры, которым я не могла найти применения уже целых семь дней, в тот момент, когда они мне действительно понадобились, лежали на дне той самой сумки, где был мой сувенир с красными буквами...



Елизавета Чегодаева (Москва-Вологда) ГРОЗА

Куда ни глянь – гроза в глаза...
(«АлисА»)

Был уже вечер. Мы сидели с Никитой в огороде на скамейке и слушали плеер. Говорили, как всегда, о пустяках и о важном. Молчали, слушая музыку.

Но вдруг резко стало темно – как-то уж слишком темно для десяти вечера – мы огляделись и увидели, что с запада на деревню надвинулась туча. А взглянув в противоположную сторону, я увидела над рекой туман, священный туман... И тут во мне что-то замкнуло, перемкнуло, меня понесло. Я захотела идти на реку, где когда-то было моё детство – и Никитино тоже, где мы бродили по воде... Что-то забормотала о тумане, реке, ночи и выскользнула за калитку. Удивлённый Никита пошёл за мной. Небо темнело словно урывками, не знаю, как описать, но будто над миром каждую минуту выключался ряд лампочек. Темнее... темнее... Это было ощутимо, зримо, цвета не перетекали один в другой, а ложились пластами друг на друга – тёмный пласт, ещё темнее... Эта странная игра цвета и света совсем меня завела, и я двинулась к реке, Никита, недоумевая, поспешил следом. О чём-то говорили по дороге, кажется, Никита пытался меня образумить: «Елизавета Владимировна, уже поздно», но я была невменяема, что-то отвечала и лихорадочно смеялась. Мы подошли к берегу, и я спустилась вниз, к реке, Никита тоже спустился. Там он совсем встревожился за меня и сказал: «Нам лучше пойти домой, вон какая гроза идёт». У реки меня отпустило, вернее, стреножило – я не знала, куда идти дальше, не бросаться же в предгрозовую воду! И я покорно поднялась наверх.

Никита пошёл к себе, не стал меня провожать, но, в конце концов, он уже тащился со мной сюда! И его взгляд на прощанье – смущённо-виновато-извинительный, с искрой весёлости и удивления.

И я побежала к дому, потому что срыв мой прошёл, и я осталась одна посреди пустого поля! Главной мыслью было – чтобы родители не узнали, что меня перед самой грозой унесло на реку! Мама дико, до обморока боится грозы, она бы просто сошла с ума от ужаса! А что касается прямой опасности для меня, то её не могло быть – здесь, в деревне, на *моей* земле...

И я бежала у дома Тины, и молнии посыпались из грозового облака, и когда я уже взбегала на хутор, одна из них вспыхнула прямо передо мной, прямо мне глаза, ослепила, закрыла мир, взорвалась во мне! Но я бежала дальше, и гроза изумилась такому нахальству, и молнии мелькали вокруг меня, но ни одна из них меня не задела!

Повторяю, главным было – чтобы мой силуэт в окружении молний не заметил никто в доме! Так и получилось. Закапал дождь, и я влетела в сени, а оттуда в избу. Мама вышла из спальни и спросила, где я была. Я соврала, что спряталась от дождя в шалашке. Маму объяснение вполне удовлетворило, и она ушла спать. И я тоже легла спать, потому что устала от всех событий этой недели в целом и сегодняшнего дня в частности... и от грозы тоже...

Она надвигалась с юго-запада. Вот потемнело небо. Вот затрепетали берёзы под тревожным ветром. Вот покатались по воздуху безжалостно сорванные с них листья. По дороге запоздало промчалась голубая бумажка, одинокая во вдруг наступившей тишине.

И хлынул ливень. В воздухе резко запахло мокрой травой. Коровы вскинулись и потрусили под серым потоком за забор в поисках убежища. Небо вмиг стало однотонным, бесформенно-серым. Зажурчала вода, льющаяся в ванну.

Гром бушевал. Изредка молния вспыхивала в серой монотонности. Листья уносились с деревьев. Остаточные светлые облака на востоке тускнели с каждой минутой. Белые занавески бились над моей головой. Сырой грибной запах. Шальной крик мальчишек. Зелёная трава с рыжими клочками. Пикник отменяется...

Гром тряс небо. Лишь ели, стерегущие хутор, недвижимо зеленели. Всё остальное – в дымке.

Гром прокатился по небу уже прямо надо мной. Капли с крыши в противовес непрерывно льющимся струям дождя медленно капали перед окном.

Всё. Теперь всё небо ровного серо-голубого цвета. С юго-запада напоздаёт белая акварель, но гроза пока не сдаёт своих позиций. Гром отступает на северо-восток, по диагонали. Небо – растянутое серое плотно, и то в одном, то в другом месте в него врежется кулак грозы.

Лес светлеет, обретает краски. Нахальная муха, не дождавшись конца дождя, тычется в оконное стекло. Слышно, как последние капли глядят и без того мокрые листья. Короткие минуты после дождя, когда всё окрашивается в свой истинный цвет. Буйные травы, гордящиеся своей зеленью, примяты, прибиты к земле, и на ветру стыдливо вздрагивают их жёлтые увядшие стебли, обнажённые дождём.



Сквозь серое дерево забора вдруг пробиваются коричневые краски. И только неизменные ели – наши стражи – хранят свой малахит, не потускневший под мягкими струями дождя.

Галина Щекина (Вологда) РОМАН С СОСНОЙ (из повести «ОР»)

А еще была на взгорке сосна.

Высокая, мощная, со стволом в два обхвата, уходящим куда-то в поднебесье. Вверху, в ее бесконечной кроне, жили птицы и облака. На взгорке было удобно запалить костерок да и просто посидеть, посмотреть сверху на шумящую и бьющуюся о камни воду. Налетал сердитый порывный ветруган, трепал рубаху и подрамник за спиной, точно дразнил пришлого человека Тимошу. Но трепал он не сильно, не обидно, а так, будто дразнясь. Ветер на взгорке был всегда.

В этот раз Тимоша появился на взгорке чисто машинально, ему сюда и не надобно было, просто ноги как-то привели. Зазябнув от ветругана или от усталости, он хлопнул себя по карманам, достал спички, кусочек серой бумаги (картон жалко), поискал прутиков. Не было ни веток, ни прутиков, точно подмели – задрал голову вверх. Пытаться достать сосновую лапку с земли было глупо.

- Матушка сосна, - пробормотал Тимоша, - дай чего на костерок, а? Закоубну совсем.

И так покорно шею склонил. Минут несколько шумела сосна над разиней. Вверх забраться трудно, да и устал тоже... Очередной налет ветругана бросил к ногам Тимоши несколько веточек и... обгорелую, довольно толстую ветку.

- Спасибо, матушка сосна! – засмеялся Тимоша, запалил тут же костерок. – Ну до чего же слышит она все!

На реке перед ним ревели буруны, жгутами свиваясь вокруг трех островов с пышными зелеными шапками. Вода его по-прежнему заколдовывала, тянула, не отвести глаз. Поверх нее еще бежали металлические молнии, посверкивали... Такое он никогда не пытался писать... Надо бы попробовать... И опять стал вглядываться в крону... Когда глаза попривыкли к темной хвостой сумятице, в переплетенье веток обозначились не только горелые ветви, но и поленья.

«Ну, совсем! – побежала яростная мысль. – Совсем с катушек посьехали. Пожгли костер, поели, попили и давай кидать все вверх! - Подошел к стволу, погладил его. – Как только не сожгли они тебя, матушка сосна. Неблагодарные. Бездарные! Дашь им огня, дашь им тепла. Дашь им питья – нет, надо все загубить кругом. Как же мы похожи с тобой, простаки. Да, матушка?»

Ответом был еще один ворох веток, к Тимошиной радости неописуемой. А там еще зависла закопченная кастрюля! Она опасно качалась прямо у него над головой. Ее просто так ветром не сдует. Тут надо очень провиниться, чтобы ахнуло тебе по голове. Но костер-то трещал, подмигивал. Все было родственное, уютное. Весь лес и поляны, все озера и речки были домом ему. Деревья принимали Тимошу за брата. Вот этот разговор с матушкой сосной - доказательство. И то, что кастрюлина по кумполу на стукнула – тоже.

Но чем ответить ей, обогревательнице мира?

Так у него обозначилась мысль написать матушку сосну.

Два раза он пришел к ней на закате. Как на свидании, охаживал, бродил вокруг, бормотал глупости. Дайся, дайся мне, мы оба старые, мы поняли, что такое душой любить, а не телом. Ты жалеешь меня, я тебя. В тебя вон веревка вросла, как в меня моя девочка. И куда бы она ни делась, она останется тут, в ребрах. И как бы я далеко не уехал, она во мне, припекает меня сбоку, как тебя припекает солнышко. Да мы же одинаковые, матушка сосна... Мы с тобой ничего не забываем...

Сосна качала гигантскими лапами, согласно шумела. Такой теперь подход стал у Тимофея Тескова – ласковые просьбы, как к женщине. Женская суть природы, верил он, все равно аукнется.

Сосна не давалась. Но роман с нею не кончался, он накалялся, углублялся, был близок к разрешению.

И вот один раз по дороге на реку Тимофей рано утром подошел ко взгорку и ахнул внутренне.

Вся палитра красок разлилась по небу. Внизу сгушалась синькою река, гудя, она опутывала черные камни, и точно от них она темнела у берега. А дальше, на разливе, синь отдавала свой холод, вбирая прозрачное небо. Но даже само небо захватывало дух разностью пламенеющих горизонтальных полос: сперва нежно-желтое горячело – это просилось из сна выходящее солнце, – потом небо незаметно светлело, идя кверху, и затем непостижимое, слепящее белое сияние чуть отдавало сиренью. И на этом богатом фоне контурно и гордо, как на атласном приданом, вставала матушка сосна, царица земли, напоминающая церковь. Она не перечеркивала небо, но соединяла его с темной землей. Она не была плотной тенью, но просвечивала через лапник и речною водой, ее льдистым шелестом, и дышащим небом, и птичьим щебетом. И каждая ее простертая ветвь темнела к центру самой себя и светлела по



краю. А тень от всей огромной сосны милостиво проливалась в сторону Тимоши. Ну, вот и ответ! Значит, утром надо ее писать, когда она кажется молодой и могущественной. Ишь она, женщина. Тоже не хочет глянуться ни старой, ни сморщенной.

Все понял Тимоша.

Несколько утр с трех часов ночи он был на взгорке. Набрасывал этюд, а когда разгорался день, уходил в другое место. Но тайные уголки леса и другие поляны он писал устало, все силы забирала сосна. Когда, наконец, он пришел на взгорок и начал писать сосну не глядя, ему стало смешно. Может, хватит? Этюдов наработал довольно, уже пошли как будто повторы. Когда человек, забывшись, повторяет одно и то же слово и не замечает этого. «Давай, давай открывайся, матушка сосна, ну давай же...» Она и открылась, и ее гордая женская суть, смягченная его наивным языческим поклонением, вдруг стала проста и понятна. И он, услышанный, улыбался устало.

Ему потом говорили, что это все уже было у Толстого, что там разгорался и расцветал дуб, символизируя возрождение души. Но автор, опуская голову, не слушал насмешников. В том - то и дело, что иллюстрация, думал он. Болконский там был главной темой. А у меня главная - она.

НЕ УНЕСТИ

Тимоша был фанатиком своего дела. Но он помог Юле вырыть ямы для саженцев, которые она выписала поздно, но все же надеялась, что прирастут. По две площади новой смородины и новой яблони, которая тени не дает. Как не дает? А так: она растет одной жердиной, на которой висят плоды. Колоновидная такая яблоня, вот как здорово. Но только смолоду она неустойчивая на ветру, надо крепить... Помог ей некоторые опытные гряды засадить. На удивление, все принималось очень быстро. Ходили слухи о том, что это старый графский сад, что холмы кругом не от природы, насыпные, что место волшебное, и Тимоша почему-то верил. Он к лавке когда за хлебом и крупой ходил, то услышал, что холмы дают другую температуру в саду, там раньше тает снег. И будто бы незамерзающий ключ где-то поблизости.

Только они с Юлей посадили все это хозяйство в саду, как полили страшные дожди. Что ж, это тоже было правильно. Ничто не возмущало Тимошу - он видел, что природа старается для него, значит, надо только понять, как ей следовать. «Господи, - молился он в предрассветном сумраке, - иже еси на небесех...»

Он хотел понять, что он должен делать. Что он хотел, давно было ясно. Но здесь он обжигающим дуновением познал, что есть необходимость не только своя, личная, но и другая, сверху.

Тимоша вставал рано, топил печку, пил чай, садился читать и писать. Он завел несколько тетрадок, куда записывал все увиденные выставки. Ему было жалко, что нельзя всю выставку унести с собой, а буклеты стоят так дорого. Это у него был такой самоучитель, чтобы лучше понимать других художников. Он исписывал тетради крупным красивым почерком, каким подписывал директрисе Ворсонофии грамоты и аттестаты, но иногда увлекался и заходил в дебри. Если бы кто отследил в различных «Книгах отзывов» этот глазастый почерк, так наверняка удивился бы.

После двухдневного ливня Тимоша пошел в окрестные леса посмотреть грибов. Ничего не попадалось ему, после обеда от туч быстро потемнело вокруг, целлофановый дождевик громко хрустел, когда кусты и елки чиркали по нему. Тимоше стало не по себе. Казалось, кто-то пробегал в зарослях, а кто тут мог пробегать? Ежик какой-нибудь. Кабаны как будто не водились. Тимоша с досадой пинал поганки и думал: «Здесь давно все вытоптано!»

...И была у Тимоши знакомая сосна на поляне - не та, что на взгорке у реки, а другая - дерзкая, высокомерная, с необычайно ярким стволом и густошей, нетронутой кроной. Речная сосна была почтенного возраста, серо-желтый ствол больше обхвата - и одна на огромном берегу. А эта молодая, красноствольная - она выходила вперед всей лесной братии, словно решала, впустит ли она в лес Тимошу. Она стояла царицей на этой светлой поляне, и остальные деревья почтительно толпились позади. Поэтому он тоже слегка робел и всегда отдавал поясной поклон ей. Она шумела согласно - и тогда он входил в лес. А поскольку для Тимоши каждое дерево была похоже на реальную женщину, то он даже оторопел... Ему показалось, что это Марьяна гордо стоит на поляне и укоряет. В чем? Он понять не мог, но слышал этот укор за сотни верст. Он здесь не ради мелких плотских дел! Он пришел зачерпнуть из чаши небесной, и ему нельзя отступить. Понятно, дел невпроворот в городе, но если он бросит сейчас, в городе этого не вернуть будет. Да и Толику обещал, что придет и поймет это место. Ну как же теперь, все бросить, что ли?

Осторожно поклонившись, Тимоша вошел в лес. Изредка видел сыроеги, но то была мелочь. Ему хотелось что-то другое обнаружить. Какую-то исключительность!



Внезапно послышались резкие голоса, мат. В идиллических кущах это было слишком. Тимоша присел от неожиданности, потом, чувствуя, что от неустойчивости будет шевелиться и хрустеть еще хуже, лег плашмя на пружинистую хвойную землю. Они шли, видимо, к пристани, собираясь там то ли закупить что-то по дешевке, то ли встретить человека с товарами. Они ругались по-черному, он даже морщился.

- Ори больше ... Хотел бы всем объявляться, что несу?

- Сам ты ... ты там... слишком. Из-за тебя...

- Тут кто-то ломился, я слышал ...

- Ты и ломился... напился не в тему...

Тимоша морщился, тоскливо озирался по сторонам. «Какой я жалкий... - подумал он с удивлением. - Валяюсь как хорек, а земля и рада, заслоняет меня, хранит. К ней только наклониться, она сразу тебя готова обнять, в себя впустить... Как женщина».

Тимоша сам не понял, почему так боялся он, дюжий богатырь, разрядник, каких-то мелкогравчатых пьянчуг. Он бы встал, пошел на них как танк, и все бы! Они б струхнули сразу. Но он не хотел разборок. Он чуял, что они озлятся, раз тайно пробираются, и в этой пьяной злобе что угодно покрошат. А он сюда не болтаться приехал, он сюда надолго. Ему надо набраться сил, чтобы долго и хорошо писать. А не гибнуть от случайного ножа в сумерках страны. Беззаботный Тимоша как будто обрел щит от глупостей жизни...

«Прости меня, землюшка, - доверчиво думал Тимоша, - спаси и защити от дураков. Господи отче... Одари милостью твоею... чем можешь». И прочитал про себя все молитвы, которые знал. И эти ребята-обалдуи, так же бессильно ругаясь, наскоро помочившись чуть ли не на него, с его кустом рядом, схватили свои сумки и ринулись ломиться дальше. Тимоша услышал удаляющееся ломотье, подождал еще и стал подыматься.

И - что такое?! Вокруг себя увидел желтые горки маслят. Стоя на четвереньках, он срезал и срезал грибки, налитанные дождем, хрусткие, не червивые. Поролоновые шляпки их сочились влагой и смолистым бездонным запахом хвои. Здесь такие ранние грибы! Может, и правда - здесь теплее, благодатнее, быстрее все? Он уже набил все квадратное ведро, весь пакет, но все еще не мог встать с четверенек. Снял с головы кулек, отвязал его от накидки и его весь заполнил. А когда поднялся, взвалил все на себя - грибов вокруг не ubyло. Что же делать? И с детским отчаянием понял - это дано на один раз, больше он это место не найдет, как ни старайся. Который раз изумясь - кто-то слышит его молитвы. Не всегда, но иногда слышит.

Подарок чаши небесной не исчез по дороге, тяжесть резала руки. Он задыхался от слабости, забыв, что ничего не ел несколько дней. Или это чаша небесная дала ему еду, чтобы он вспомнил и ел. Ведь он теперь живет как птица, не думая о корме своем.

Он, как ни далеко, пошел сразу к тетке Евстолии, они вместе почистили грибы. Она поставила их варить в ведре. Потом натрамбовала в банку, ливнула уксуса - так сохранней будет. И дала в баночке, а остатнее опустила в погреб - "придешь ни то".

Тетка Евстолия все жаловалась на детей, которые не пишут письма, но она все равно знает, что они разводятся. Догадывается. От этого она скорбит, что некому оставить дом. «А зачем оставлять? Им, может, не надо, как Лильке моей, - удивлялся Тимоша. - Сами живите». Поздно совсем пришел в свою избушку, скоро заснул от густоющей грибной похлебки. Что и за грибы такие маслята, ровно свинины поел... Кто-то с топотом пробежал мимо избы так быстро, что во сне Тимоша услышал, но не успел испугаться толком. В дальней комнате серчал сверчок. В окошко кухни смотрела большая ясная луна.

...На другой день Тимоша по-настоящему оценил природный подарок. Набросал сначала несколько семеек маслят, и все не получалось. Трава выходила живой, сосны тоже, но грибы - вовсе не грибы, а некие такие лепешки, будто бы куча оладьев. Повздыхав, он обратился к бархатной бумаге и - о, чудо чудное! - там грибы получились живее, завлажнели, запоблескивали коричневым. Это опять включалась память земли, в которую он вжимался, как маленький. И он вторично испытал радость безумной находки, и хохотал, обхватив себя за плечи и за туловище.

Но как же рассказать о том, что эти маслята не просто пища? Не просто материальное, тяжелое, вкусное, что оттягивает руки, а то, чем ответила небесная чаша? На одном этюде случайно вышло чрезмерное наслоение красок, пастозность большая, как раз вокруг семейки маслят. Потому что там камень, рядом сосенка, ну, крохотная, совсем малыш детсадовский. И уже потом грибы. И налипло столько краски, второпях накидал. Свет ушел, все утонуло в глине...



У него вечно все всегда слишком... Тимоша стал краску счищать, вокруг грибов посветлело и... Ура, он понял. Надо, чтоб не только темные они, как в жизни, но чтобы и светились как бы. Он подбавил охры, белил, сделал так, чтобы свет струился не прямо, во все стороны, а как бы из-под шляпок. Скользя края шляпок блеснули остро и мокро. Маленькие настольные лампы, они бросали отсветы на траву, а трава опутывала их. Тут нельзя писать отдельно, тут явно видно – все подернуто смутной изморосью. И на душе от этой студеной измороси незаметно потеплело, потеплело...

Значит, не просто олады. А такой неземной подарок земному человеку. Да неужели же там слышат, что Тимоша просит? Да неужели возможно такое, чтоб тебе небо само отозвалось? «Натюрморт с маслятами» стал потом одним из самых любимых сюжетов, как и памятный натюрморт «Сияние клубники». Тоже как бы еда, но еда как манна небесная. Такое подразумевалось не есть, а – причащаться...



С. Толстая

ТОЧКА ЗРЕНИЯ (дискуссия в ЖЖ)

Ольга Липовская
(Санкт-Петербург)

ГЛЫБА И СОНЕЧКА

Лев Толстой не любил детей, ни своих, ни чужих. Не любил он также свою жену, своих крестьян, Православную церковь, Господа Бога, Ивана Тургенева (правда, потом они помирились на старости лет). Особенно он не любил женщин, хотя и думал, что любил. Впрочем, не будем лукавить, женщин-то он любил, но КАК, вот в чем вопрос. Еще он любил лошадей, собак, охотиться, хорошо поесть, выпить (в молодости), сыграть в винт и в шахматы, а также побеседовать о литературе и о своем месте в нем.

«В сентябрьский день 1862 года, когда 18-летняя дочь кремлевского врача Сонечка Берс стала графиней Толстой, женой известного тогда уже русского писателя, она, разумеется, не предугадывала необычности своей судьбы. Она тогда не знала, да и не могла знать, что ей суждено и трудное, и высокое назначение, что у нее есть *не только обязанности* перед настоящей жизнью своего мужа, *но и долг* перед будущими поколениями, перед культурой» (курсив мой – О.Л.). Такой вердикт вынесен Софье Андреевне Толстой во вступительной статье к двухтомному изданию ее дневников литературоведом С.А.Розановой, такую роль предписало ей общество. Короче, Сонечка попала.

Отсюда стартует ее долгая дорога долга, ответственности и душевных и физических страданий, закончившаяся под замерзшими окнами дома на станции Астапово, где Матерый Человечище (МЧ), Зеркало Русской Революции (ЗРР), Величайший Гуманист Всего Человечества (ВГВЧ) и Глыба закончил свое существование в ноябре 1910 года. Дорога длиной в 48 лет.

В кратком изложении все было примерно так. Еще до свадьбы жених, движимый искренним желанием полностью открыться своей будущей супруге, дал ей прочесть свои дневники, откуда не ведавшая греха девушка, воспитанная по всем правилам приличия, узнала о бурной и полной страстей жизни своего ухажера. Она, в свою очередь, отказавшись дать свои дневники, предложила ему написанную ею повесть. Жених ее никак не откомментировал – писательство было его прерогативой. (Ее часто будут мучить потом ревнивые воспоминания о любовных откровениях мужа из его прошлой жизни).

Уже в ноябре этого же года в дневниках Софьи Андреевны появляется упоминание о первой беременности, и дальше беременности и роды следуют друг за другом с завидной регулярностью. О плотском удовлетворении от вирильной активности мужа не упоминается ни разу. Скорее наоборот: «Лева все больше и больше от меня отвлекается. У него играет большую роль физическая сторона любви. Это ужасно – у меня никакой, напротив» (26.09.1863). Беременности жены вызывают у него неприязненное чувство, и он всячески избегает ее под предлогом занятий по хозяйству. Кормление детей часто доставляет ей боль, и она нанимает кормилицу, за что Левочка очень на нее сердится. Вообще с первых же дней брака резкие охлаждения и суровость мужа, его импульсивность, смена настроений ежедневно держат молодую жену в напряжении.



От этой холодности, упреков и придинок у Софьи развивается и постоянно поддерживается низкая самооценка. «Левочку я боюсь. Он так стал часто замечать все, что во мне дурно. Я начинаю думать, что во мне очень мало хорошего». «У меня второй день лихорадка. Перед Левочкой чувствую себя как чумная собака. Но я не мешаю ему, потому что он сам не обращает на меня внимания», - пишет Соня еще в марте 1865 года. Левочке, впрочем, все еще не чужды человеческие слабости, и он флиртует с женой нового управляющего – Марией Ивановной, молодой и интересной нигилисткой. К супруге в этот период (1866 год) он «делается холоден ... до крайности».

Семейная жизнь идет своим чередом: Софья Андреевна нянчит и лечит болеющих по очереди и скопом, детей, занимается их обучением, шьет одежду и белье для всей семьи, следит за домом и хозяйством усадьбы (Левочка оказался к этому непригоден), ухаживает за больным мужем, следит за его диетой, переписывает рукописи (у Левочки плохой почерк), по несколько раз переписывает корректуры (Левочка очень придиричив, и правит корректуры многократно), решает все вопросы с издательствами и цензурой. Лев Николаевич пишет, мыслит, творит, ездит на охоту с любимыми собаками, травит зайцев, лисиц, бьет бекасов и вальдшнепов. Софья Андреевна просит мужа принять участие в воспитании детей, и это вызывает у него раздражение: «самая страстная мысль его о том, чтобы уйти от семьи», - выкрикивает он в гневе во время ссоры. Ее держит чувство долга: «Зачем я все-таки делаю все? Я не знаю; думаю, что так надо».

Сразу же после рождения самой младшей дочери Саши в 1884 году МЧ резко поворачивается к христианству и становится ВГВЧ. Любопытно, что непосредственно этому событию предшествовала жестокая сцена: у Сони начались схватки, и она спустилась к нему с этим сообщением. Левочка был мрачен и зол (вероятно, приступ ревности, которые случались у него часто, и, увы, без повода). На просьбы жены простить ее перед лицом возможной смерти от родов и уверения в своей невинности, «он поглядел, вдруг повернув голову, пристально <на меня>, но ни одного доброго слова <...> не сказал. ... через час родилась Саша. Я отдала ее кормилице. Я не могла тогда кормить ребенка, когда Лев Николаевич вдруг сдал мне все дела, когда я сразу должна была нести и труд материнский, и труд мужской. Какое это было тяжелое время! И это был поворот к *христианству*! За это христианство – *мученичество*, конечно, приняла я, а не он». (Воспоминания, «Дневники», 18.06.1897)

Старшие сыновья – прошло 25 лет брака – живут своей мужской жизнью в Москве, некоторые из них, повторяя сценарий гусарской молодости отца. Софья Андреевна тоскует: «Думаю о старших мальчиках, как будто они отдалены ужасно, и мне это больно. Отчего отцам не *больно* бывает все, что касается детей. И за что женщинам и *эта* тяжесть в жизни? Только путает жизнь». (26.10.1886).

Описание жизни в дневниках Софьи Андреевны – ее собственной и Льва Николаевича, – как и описание жизни ЗРР многочисленными биографами, чудовищно разнятся в оценке содержания, смысла, значимости труда обоих. Сама Софья Андреевна порой разделяет эти смыслы и долг свой описывает как обыденность, а писательство мужа – как нечто значительное, великое. Но постепенно назревает критический момент, переломная стадия в их отношениях.

В 1891 году в собрании сочинений Толстого была напечатана «Крейцера соната», и это – ключевое событие в отношениях Сонечки и Глыбы. С этого момента она начинает понимать все больше и больше истинную натуру своего мужа: его непомерное тщеславие, ханжество, человеческую черствость и отсутствие реальной любви к людям, и особенно к женщинам, к ней самой. «Не знаю, как и почему связали «Крейцерову сонату» с нашей замужней жизнью, но это факт, и <...> все пожалели меня. Да что искать в других – я сама в сердце своем почувствовала, что эта повесть направлена в меня, что она сразу нанесла мне рану, унизила меня в глазах всего мира и разрушила последнюю любовь между нами». (12.02.1891). Этим произведением Глыба *сказал вслух*, то, что думал, то, что поверял до того своим дневникам. Между тем именно она по его настоянию едет в Петербург и добивается у Государя разрешения на публикацию «Крейцеровой сонаты». «И неверна «Крейцера соната» во всем, что касается женщины в ее молодых годах. У молодой женщины нет этой половой страсти, особенно у женщины рожающей и кормящей. Ведь она женщина-то только в два года раз!» (23.03.1891).

Это произведение, насквозь пронизанное женоненавистничеством, особенно противоречиво выглядит на фоне «поворота к христианству». С этого поворота в доме стали появляться «темные» люди – так называет их Софья Андреевна, а порой и сам Матерый Человечище: последователи «учения Толстого», молокане, духоборы, раскольники разных сортов и представители российской интеллигенции. Появляется и главный герой будущей развязки этой истории – Владимир Григорьевич Чертков, чертоподобное alter ego Геня. Их присутствие в доме Софьи Андреевны не переносит, но вынуждена покорно сносить и обслуживать. Оно, это присутствие, является материальным воплощением ханжества Льва Николаевича. Вообще-то Геня чаще ассоциировался у меня с другим известным классическим прообразом ханжества – мольеровским Тартюфом, а его поведение, морализаторская позиция – с синдромом «подпитого алкоголика». Помнится, у Анны Ахматовой в воспоминаниях Лидии Чуковской есть отсылка к характеристике МЧ одним из его крестьян: «мусорный был старик». И насильственно морочащий свою натуру – обжоры, сладострастника, ревнивец, любителя удовольствий – Геня, позволявший – таки себе всяческие слабости и побряжки, упорно натягивал вериги на все остальное человечество, особенно сурово истязая при этом самого близкого ему человека – Софью Андреевну.



В дневниковых записях с этого времени все чаще встречаются критические рассуждения о позиции Толстого, он постепенно перестает быть «Левочкой», и становится просто Л.Н., или Львом Николаевичем. «Лев Николаевич всегда и везде пишет и говорит о любви, о служении богу и людям. Читаю и слушаю это всегда с недоумением. С утра и до поздней ночи вся жизнь Льва Николаевича проходит безо всякого личного отношения и участия к людям. Встает, пьет кофе, гуляет или купается утром, никого не повидав, садится писать; едет на велосипеде или опять купаться, или просто так; обедает, или идет вниз читать или на lawn-tennis. Вечер проводит у себя в комнате, после ужина только немного посидит с нами, читая газеты или разглядывая разные иллюстрации. И день за день идет эта правильная, эгоистическая жизнь без любви, без участия к семье, к интересам, радостям, горестям близких ему людей». (04.09.1897).

В феврале 1895 года умирает Ванечка, семилетний любимый сын Софьи Андреевны. В течение двух лет она не пишет дневника. После смерти любимого сына, в образовавшейся двухлетней лакуне дневниковых записей у Софьи Андреевны появляется духовная и творческая близость с композитором С.И.Танеевым. Это был лакомый кусок для ищущего оправдания своему ханжеству Глыбы. Он сурово плющил ее увлечение музыкой (она много играет на фортепиано, читает о музыке и композиторах), гневался на ее походы в концерты, мрачнел при визитах Танеева в дом, хулил музыку в целом на все корки. Софья Андреевна в эти годы именно в музыке нашла радость, отдохновение, утешение от тяжелой утраты сына, о чем много говорится в дневниках 1897-99 годов. Это был самый светлый период в ее совместной жизни с МЧ и самое свободное состояние души. «А Льва Николаевича я развенчала как кумира» (08.06.1897).

Публикация «Крейцеровой сонаты» сняла запрет с табуированной темы сексуальных отношений Сонечки и Глыбы. Она все чаще задумывается над тем, что, собственно связывало ее мужа с нею. «Левочка необыкновенно мил, весел и ласков. И все это, увы! все *от одной и той же причины* (здесь курсив мой – О.Л.). Если бы те, кто с благоговением читали «Крейцерову сонату», заглянули на минуту в ту любовную жизнь, которой живет Левочка и при одной которой он бывает весел и добр, - то как свергли бы они свое божество с того пьедестала, на который его поставили! А я люблю его такого, нормального, слабого в привычках и доброго. Не надо быть животным, но не надо быть насильно тем проповедником истин, которых не вмещаешь в себе». (21.03.1891).

Заглянув в окно супружеской спальни через страницы ее дневника, мы видим горькую, удручающую картину физиологических отправления Великого Гуманиста, осуществляемых над женщиной, так и не познавшей, в сущности, радостей сексуальности. Картину, увы, не оригинальную: «...как бы физически он ни отталкивал меня своими привычками неопрятности, *невоздержания в дурных наклонностях чисто физических*, мне достаточно было его богатого внутреннего содержания, чтобы всю жизнь любить его, а на остальное *закрывать глаза*». (02.10.1897). (Здесь курсив мой – О.Л.). Только после удовлетворения плотской страсти Глыба испытывал добрые чувства к супруге. «Если б кто знал, как тяжелы вечные подъемы и попытки любви, которая, не получая другого удовлетворения, кроме плотского, болезненно изнашивается от этих подъемов ...» (18.04.1892). «И все это *физическое*, и вот та тайна нашего разлада. Его страстность завладевает и мной, а я не хочу *этого*, я сентиментально мечтала и стремилась всю жизнь к отношениям идеальным, к общению всякому, но не *тому*». (27.07.1891). «Дописала сегодня в дневниках Левочки до места, где он говорит: «*Любви нет, есть плотская потребность сообщения и разумная потребность в подруге жизни*». Да, если б я это его убеждение прочла 29 лет тому назад, я ни за что не вышла бы за него замуж. День провела обычно: учила Мишу, возилась с Ванечкой <...> Учила Сашу «Отче наш», переписывала мало» (14.12.1890). Вот это, без перехода обыденное описание традиционного женского сценария – вечная жертва на ложе любви, в семейной работе, в беспрестанном труде, без какой-либо благодарности и признания, заставляет задуматься над страшным феноменом: откуда такой разрыв, противоречие в восприятии обществом Толстого как фигуры гениальной, культурного гуру, и Софьи Андреевны как *просто жены*, теновой фигуры за постаментом гения?

Между тем и в поведении МЧ наблюдаются симптомы высвобождения, после того как «сакральные истины» произнесены. Он все больше сближается с Чертковым, все дальше отходя от *зависимости* от своей жены. Он выбирает более привычную, более присущую ему позицию зависимости – *гомосоциальной* связи с миром мужских ценностей. «Свято место», не пустующее никогда, занимает господин черт – Чертков начинает играть все большую роль в жизни, деяниях и устремлениях Гения. Гомосоциальность, обусловленная и выстроенная патриархатной культурой система отношений, в которой женщина, исходя из христианского учения, из Ветхого Завета, из институтов мужской власти, *практически не человек*, особенно близка нашему герою. В гомосоциальной схеме, в отличие от гомосексуальной, женщина присутствует, но как объект, как функция, отверстие для отправления естественных потребностей, исключенная, однако, из всех остальных сфер – духовной, социальной, интеллектуальной. В этой патриархатной – повторяю, патриархатной, доминирующей культуре – титул гуманиста и спасителя «человечества» естественнейшим образом не включает в «человечество» женщину. Вот, батеньки, вам и ответ на то, как создаются «культурные гуру».

И Софья Андреевна осознает это, понимая также, что «женский сценарий» ее жизни отыгран и будет отыгрываться до конца: «Муж мой мне не друг; он был временами, и особенно в старости мне *страстным любовником*. Но я с ним всю жизнь была одинока. Он не гуляет со мной, потому что любит в одиночестве



обдумывать свое *писание*. Он не интересовался *моими* детьми – ему было это и трудно, и скучно. ... Я же покорно и молчаливо прожила с ним всю жизнь – ровную, спокойную, бессодержательную и *безличную*. ... Всякому своя судьба. Моя судьба была быть *служебным элементом* мужа-писателя». (25.07.1897) (Здесь курсив мой - О.Л.). Обладая непомерным чувством ответственности, она в принципе не могла отказаться от исполнения женской судьбы, даже испытав глубочайшее разочарование в конце их совместной жизни. «Говорил сегодня Лев Ник., что идеал христианства есть безбрачие и полное целомудрие <...> что кроме того, что человек животное, у него есть разум, <...> и человек должен быть одухотворен и не заботиться о продолжении рода человеческого <...> И это было бы хорошо, если б Л.Н. был монах, аскет и жил бы в безбрачии. А между тем *по вале мужа* я от него родила шестнадцать раз: живых тринадцать детей и трех *неблагополучных*. (28.10.1910) (Здесь курсив мой - О.Л.).

Окончательный выбор МЧ в пользу Черткова маркирует его *слабость и комплексы*, обозначаемые в патриархальной культуре как *регалии власти*. Лев Николаевич, судя по воспоминаниям людей, знавших его в молодости, был очень высокомерен, любил выделиться из окружения, казаться особенным. Он любил противоречить собеседникам, ниспровергать кумиров (любопытна в этом смысле их вражда с И.С.Тургеневым, завершившаяся гомосоциальным примирением много лет спустя. Ивана Сергеевича раздражали инфантильные и агрессивные потуги Толстого «выпендриться») любой ценой. Мэтр российской словесности не желал признавать литературных способностей новичка, а новичка это злило. Впрочем, они в конце концов поделили поляну и слились в дружеском *bruderschafte*), претендовать на знание («выспих истин»). Его разрыв с Православной Церковью означает *всего лишь* потугу претендовать на ее место, на замещение оной его собственной «моральной» позицией, на базе инфантильного мужского желания быть *самым главным*, по-нынешнему, *крутым*. Не надо быть физиономистом, чтобы увидеть в этом костистом, широком русопятом лице с глубоко посаженными глазами амбидиозного, бесчувственного и непопулярного ученика в классе, с которым не дружат, но признают как выделяющегося персонажа.

Интимность гомосоциальной близости с Чертковым подкрепляется фактом отторжения Софьи Андреевны от дневников мужа, они переходят во владение к ненавистному сопернику. Много лет переписывание этих дневников давало Сонечке ощущение хоть какой-то близости к мужу. Отыгрывая женский сценарий, она хотя бы в этом видела смысл и значимость своей жизни. «Несколько раз он говорил мне, что ему неприятно, что я их переписываю, а я себе думала: «Ну и терпи, что неприятно, если жил так безобразно». «Сегодня же он ... начал говорить, что я ему делаю больно, ... что он хотел даже уничтожить эти дневники...»(12.02.91). Дневники, разумеется, не были и не могли быть уничтожены. Тщеславие ВГВЧ не позволило бы никогда этого сделать. Ровно так же как и ханжеское воздержание отца Сергия понудило его отрубить (что бы вы думали?) палец. Палец-то в чем провинился?

Слияние в экстазе двух персонажей, двух половинок одной сугубо ханжеской позиции – Черткова и Толстого – естественным образом завершает отыгрывание женского сценария Сонечки. Процесс развивается по накатанным рельсам (ставшим могилой Анны Карениной, еще одной жертвы *геноцида* – т.е. уничтожения женщин нашего гения). Левочка и Вовочка подпитывают друг друга восторгами отречения от плоти, отказом от денег и собственности, *духовным*, все более тесным сближением (у Черткова, впрочем, в это время многотысячное имение, с которым он не расстанется). Софья Андреевна (вполне обоснованно) мучается ревностью, поскольку десятки лет, отданные мужу, оказываются напрасными, а другого сценария, кроме женского, у нее в запасе не осталось. И поздние сожаления не могут ничего уже изменить. «Думала сегодня: отчего женщины не бывают гениальны? Нет ни писателей, ни живописцев, ни музыкальных композиторов. Оттого, что вся страсть, все способности энергической женщины уходят на семью, на любовь, на мужа, - а главное, на детей. Все прочие способности атрофируются, не развиваются, остаются в зачатке. Когда деторождение и воспитание кончается, то просыпаются художественные потребности, - но все уже опоздано, ничего нельзя в себе развить». (12.06.1898).

Лев Николаевич все дальше усугубляет свой «поворот к христианству» - желает отказаться от прав на собственные труды, дабы не иметь отношений с деньгами, забывая о существовании целого выводка детей и внуков, которым надо жить и кормиться. Ссорится с Софьей Андреевной по этому поводу, обвиняя ее в корысти и алчности, не забывая покушаться отдельный вегетарианский обед. «Вегетарианство внесло осложнение двойного обеда, лишних расходов и лишнего труда людям. Проповеди любви, добра внесли равнодушие к семье и вторжение всякого сброда в нашу семейную жизнь. Отречение (словесное) от благ земных вносит осуждение и критику». (1-2.01.1895). Одновременно Л.Н. постоянно требует у жены денег, на помощь голодающим например. Но именно она организует сбор пожертвований и, вместе с детьми, – создание общественных столовых. Левочка пишет статью «О голоде». «Если б кто знал, как мало в нем нежной, истинной доброты и как много деланной *по принципу, а не по сердцу*» (26.01.91).

Женский сценарий, однако, неумолим. Высокая ответственность и чувство долга – характеристики сценария – не оставляют бедной Сонечке выбора. «Я спрашивала себя сегодня, отчего я так тягочусь работой переписывания для Льва Николаевича? Ведь это *несомненно* нужно. И я нашла ответ. Всякая работа требует интереса, насколько хорошо она сделана и как и когда она будет окончена. Я пью что-нибудь, и вижу результат, меня интересует процесс работы, насколько скоро, хорошо или дурно я это делаю. Я учу – я вижу успехи; я играю сама – я двигаюсь, вдруг пойму новое, открою красоты. <...> В переписывании же в десятый раз одной и той же статьи ничего нет. Сделать



хорошо тут ничего нельзя. Окончания не предвидишь никогда; все переставляется, и вновь, и вновь перетасовывается все одно и то же» (17.08.1897).

Ее собственная жизнь, как это прочитывается в дневниках, помимо бесконечного реестра о многочисленных болезнях детей и в основном супруга, домашних обязанностях, клистирах, растираниях и диетах Глыбы, ссорах о *материальном и духовном* (читатели поняли, кому чего причитается), заполнена наслаждением природой, размышлениями о прочитанном, музыкой, и отголосками девичьих мечтаний о свободе, увы, уже теперь невозможной. Выбор свободы для женщины, впрочем, тогда уже существовал, но Софья Андреевна к нему опоздала. Муж ей очень с этим помог. «Вчера вечером меня поразил разговор Л.Н. о женском вопросе. Он и вчера, и всегда против свободы и так называемой *равноправности* женщины, вчера же он вдруг сказал, что у женщины, каким бы делом она ни занималась: учительством, медициной, искусством – у ней одна цель: половая любовь. Как она ее добьется, так все ее занятия летят прахом». (18.02.1898). Таким вот макаром наша Глыба переводил стрелки с пальца отца Сергея на *греховность* женской натуры.

Вот теперь пора уж разобраться с глубинными, подсознательными мотивами нашего героя. Оставляя за кадром его писательские способности, не отрицая их, ибо плодovitый зануда с дидактической стойкой способен-таки сочинить дюжину оригинальных оборотов (которые можно выудить из Полного собрания сочинений – ПСС – в 90 (!) томах – ничего не упустил, кропотливый наш), имеет смысл поразмыслить над тем, что *позволило* Глыбе стать собственно Глыбой, Матерым Человечищем и Зеркалом Русской Революции. Ведь, если подумать, человек он был никудышний. Прежде всего – зануда, тщеславный, впрочем. В молодости страшно восхищался (сиречь завидовал) легкости пера АСа Пушкина, но, по вполне понятным причинам, как он-и ас писать не мог и не смог бы – душа деревянная. Однако скупаемая тщеславием душа жаждала мирового признания. Отсюда не оригинальный и известный всем прием – выделиться из толпы. Немало прыщавых юношей шли этой стезей, но Левушка (как вы помните – зануда), был основателен и последователен в своих притязаниях. Деяниями своими: носить мужицкую фланелевую рубашку с наборным пояском, шить сапоги (страшно, видимо, гордился этим умением), соху по полю протянуть, а тем более писаниями – о любви к *людям*, о любви вообще – удачно вписался он в контекст русской истории.

Он попал в нужное место и в нужное время. Ибо граф в крестьянской рубашке (спитой руками используемой жены), пижон, в сущности, был весьма востребован в среде ханжествующей российской интеллигенции того времени, носившей ту же самую поддевку ханжества. Амбиции, являющиеся, в сущности, реализацией комплексов, на этой благодатной почве смогли воплотиться в проповедничество – можно было в тот момент учить мир ум-разуму, ибо перелом веков был, если помните, обилён поисками гуманистических обоснований для существования человечества, а наступление технологического прогресса, начавшееся в те времена, еще только вступило в стадию отрефлексирования мыслителями, деятелями и писателями того времени. И Левочка отлично вписался в контекст, изрекая одновременно, что «если женщина не христианка – она страшный зверь». (цит. Высказывания Л.Н.Т. из Дневников, 27.06.1898). Это тоже оказалось удачной позицией на тот момент, когда суфражистки, равноправки и эмансипе нависли угрожающей тенью над сытыми гомосоциальными ханжами евразийской культуры.

А что же бедная Сонечка? Ей суждено было вместить в себя всю мерзость и грязь, отходы производства нашего героя. Судьба ее, как судьба любой женщины, за спиной «гения» остается непризнанной жертвой в мире *условных* ценностей. В мире, где женское противопоставлено мужскому. Безусловно, в той системе ценностей весовая категория Сонечки не могла перетянуть на весах истории 90 томов ПСС. В моей системе их вполне уравнивают 2 тома «Дневников».

Конечно же, будучи способным к рефлексии, осознавая постоянно в вытесненном уголке подсознания свою *зависимость*, Лев Николаевич унижал и отталкивал ее за то, что вынужден был принимать ее услуги, удовлетворять свою сексуальность с ее помощью, принимать от нее растирания, клистиры и лекарства. «Гению нужно создать мирную, веселую, удобную обстановку, *гения* надо накормить, умыться, одеть, надо переписать его произведения бесчисленное число раз, надо его любить, не дать поводов для ревности, чтоб он был спокоен, надо вскормить и воспитать бесчисленных детей, которых гений родит, но с которыми ему возиться и скучно и нет времени, так как ему надо общаться с Эпиктетами, Сократами, Буддами и т.п., и надо самому стремиться быть ими.

И когда близкие домашнего очага, отдав молодость, силы, красоту – *все* на служение этих гениев, тогда их упрекают, что они не довольно *понимали гениев*, а сами гении и спасибо никогда не скажут...» (12.03.1901).

С годами Левочка становится все более желчным и противным. Проведя несколько месяцев в Крыму во время болезни и вернувшись обихожённым множеством врачей, он всячески хулит врачей и медицину. (Во время болезни трепетно соблюдал режим принятия лекарств, диету, предписания врачей – страшно боялся умереть). Весь этот период дневники Софьи Андреевны пестрят перечислением симптомов недомогания и процедур, его температурного графика, отмечаемого днем и ночью. Дальше, впад в старческий инфантилизм, он сочиняет злобные произведения против соперницы Церкви, вкладывая *истины* в уста чертей. Вот она, амбиция, вот оно – стремление ниспровергать кумиры. Софья Андреевна все еще наивно воспринимает его действия всерьез: «И я горячо, с волнением высказала свое негодование. Если мысли, вложенные в эту легенду (легенда «Разрушение Ада и восстановление его»- 1892 г.) справедливы, то к чему нужно было наряжаться в дьявола с ушами, хвостами и черными телами? Не лучше ли



семидесятилетнему старцу, к которому прислушивается весь мир, говорить словами апостола Иоанна, который в дряхлом состоянии, не будучи в силах говорить, твердил одно: «Дети, любите друг друга!». (25.11.1902).

Маразм усугубляется. Он, дав наконец-то волю истинным чувствам, раздражается и кричит на жену при посторонних, обнажает клыки ненависти в набирающих обороты семейных ссорах. Усугубляется и гомосоциальная составляющая его мировоззрения. Чертков из секретаря и последователя становится «идолом». Развивается «любовная» интрига по геометрии треугольника. Сонечка ревнует Левочку к Черткову, Чертков – разлучник и искуситель, попутно Тартюф, мимоходом поддребает к себе дневники Левочки, стареющий и дряхлеющий Левочка чувствует себя с Чертковым в большей безопасности и доверяется ему безраздельно. В этом феерическом сценарии присутствуют тайные встречи, скрывааемые беседы, обман, интрига, и финальное крешендо.

Крешендо! Усталый, старый маразматический гуманист, ой, пардон - Великое Зеркало Русской Глыбы Матерого Человечища, - освобожденный, наконец-то маразмом от ханжества и рефлексии, совершает по-настоящему искренний и геройский поступок (я не шучу!). Он уходит из дома! Он наконец-то признается – этим самым действием во всех своих пороках – ханжества и сладострастия, навязанного ему той системой ценностей и той культурой, в которой он не только жил, но, в отличие от чуждой этой гомосоциальной культуре Сонечки, в которую он, барсик, верил!!! Он отринул эти мерзкие вериги животного супружества. Он покати в «последний путь», окруженный сонмом слапавых последователей, нечесаных и немьгтых посконных почитателей в толстовках (некоему подобию нынешних голубых и красных шарфиков «Зенитовцев» и «Спартаконцев»), которые «искренне» волновались за смерть – не за жизнь – гуру. Ибо о жизни речь не шла. Не шла уже давно.. Речь шла, если честно, о высекаемой в камне «фигуре Истины», фигуре «Гения», изначально заявленной в «Детстве», «Отрочестве», «Юности», первых шагах Великого Писателя (ВП). Поэтому нужно было им всем присутствовать именно при Смерти. Чтобы приобщиться. Жаль, что даже смерть не несет в себе характера вечности. Всего лишь светское мероприятие. И тут Левочка оплошал. Он надеялся, что красивый «уход» создаст ему вечную славу. По мне же, паскуднее ухода не было. Упоминания о его кончине в описании многих биографов стыдливо замалчивают детали отлучения Сонечки от его смертного одра. Он прогнал ее при огромном стечении народа - в проблесках затухающего сознания последним его порывом была ненависть, неспособность примириться и простить (что бы ни было там прощать).

На станции Астапово, где слег он последней смертной болезнью, вокруг него толпилось много «темных», чужих, посторонних. И «темные», посторонние подсуетились, чтобы смерть «гения» *состоялась* так, как они сочли нужным. С песнопениями, старцами, религиозной истерикой и прочей белибердой. Дальше – тишина.

Оставлю, впрочем, последнее слово за Софьей Андреевной. (Дневники, 6.02.1898). «Боже мой! Боже мой! Прожили всю жизнь вместе; всю любовь, всю молодость я отдала Л.Н. Результат нашей жизни, что я боюсь его! Боюсь, не быв ни в чем пред ним виноватой! <...> Уже то, что он в дневниках своих последовательно и умно чернил меня, короткими ехидными птрихами очерчивая одни только мои слабые стороны, доказывает, как умно он себе делает венец мученика, а мне бич Ксантипы! Господи! Ты нас один рассудишь!» Судите сами, дамы ... впрочем, и господа.



Литература:

С. А. Толстая. Дневники в двух томах. Москва, «Художественная литература», 1978.

Н.А. Апостолов. Живой Толстой. Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. СПб, «Лениздат», 1991.

Л. Н. Толстой. Избранное. Исповедь. Дневники 1985-1905. «Тайный» дневник 1908 года. «Дневник для одного себя». Ростов-на-Дону, «Феникс», 1998. (В статье не цитируется).

ОТКЛИКИ

Наталья Воронцова-Юрьева (Москва)

НЕТАЛАНТЛИВА И СКУЧНА

Да, можно пожалеть бедную Соню. Но - сама виновата. Он был честен с ней - он еще до свадьбы дал ей прочесть свой дневник. Зачем? Чтобы она получила право выбора - выходить за него или не выходить. Она вышла... Будучи совершенно не тем человеком - не той личностью! способной принять этот дневник и принять именно такого человека. Она



прочитала - испытала ужас и вышла замуж! Дура? Дура. Но и дура с амбициями. Вышла-то не за абы кого - за известного писателя. Для того и вышла. То есть изначально свои амбиции она тешила за счет не себя, но мужа.

Секс у Льва Николаича, видимо, был достаточно раскован. Другая бы радовалась. А она стонет. Почему? Потому что на самом деле ее интересует клистирная трубка, а не анальные развлечения. Или не обязательно анальные - любые другие. Да хоть тот же минет, извините. А ей это не надо. Ей надо - раздвинула ноги, десять секунд соития, а потом нежность до гроба. Разные люди. Он - талантлив. Она - нет. Ибо асексуальные люди неспособны к талантам. И не надо врать, что все ее таланты ушли в детей и в обслуживание гения - талантов у нее просто не было.

Итак, я уже изложила свою точку зрения, почему С.А. дура. Хотя она и не совсем дура. Вот и дневник вела - ныла и жаловалась. Видать, понимала, что и ее дневник пригодится, что и о ней будут еще долго говорить. Строго говоря, она - таки въехала в бессмертие на чужом горбу. На что же она жаловалась? Что муж не интересуется детьми? Повальная картина. 13 детей - это обычный семейный детский сад. И чтобы им интересоваться, нужно быть либо матерью (инстинкт), либо прирожденным воспитателем (талант). Неинтерес к собственным детям - сплошь и рядом, обычная картина, а вовсе не криминал. Что еще? Писал про нравственность, а сам ей не следовал, т.е. не любил людей? Откуда вы все это знаете? А сами любите? Или ханжите? Так вот в этом вопросе всегда очень много ханжества - очень много. Любить и одного человека - великий труд, а уж людей... невозможный труд. Это ноль. Любить можно конкретную личность. Любить людей - это любить никого, безликое определение. В чем же тяжесть ее жизни? В том, что не гулял с ней, не бродил по садовым дорожкам? Так ему было с ней скучно. Почему он должен мучить себя? Не нравится - меняй свою жизнь, а не ной. Ему было с ней катастрофически скучно. Вы об этом подумали? Всю жизнь проторчать рядом с женщиной, которая тебе тошнотно скучна - это же каторга. Неталантливая, нытик, амбициозная за чужой счет, манипуляторша - и еще какая! - сколько раз она угрожала ему покончить с собой, выпив склянку с морфином (Каренину вспомнили? Это его жена.). И он бегал за ней и ублажал ее - только бы осталась жива. Мерзость какая.

Даже и в сексе - от нее никакой радости, никакой отдачи (опять вспоминайте Каренину - ее первое совокупление с Вронским: как она ему мастерски праздник жизни-то испоганила! это надо уметь). Говорите, нет про секс в статье? Есть! Вот цитата из ее дневника в контексте статьи: «Заглянув в окно супружеской спальни через страницы ее дневника, мы видим горькую, удручающую картину физиологических отправления Великого Гуманиста, осуществляемых над женщиной, так и не познавшей, в сущности, радостей сексуальности. Картину, увы, не оригинальную: «...как бы физически он ни отталкивал меня своими привычками неопрятности, невоздержания в дурных наклонностях чисто физических, мне достаточно было его богатого внутреннего содержания, чтобы всю жизнь любить его, а на остальное закрывать глаза».

Что это за неопрятность и невоздержанность в наклонностях чисто физических, да еще дурных? Может, он, упаси бог, при свете хотел? Или утром? Или позу поменять? Ну скажите пожалуйста - какая она чистая, светлая натура, ей, видите ли, было бы достаточно его богатого внутреннего содержания! Ну так это ТЕБЕ - достаточно. А ему - нет. ЕМУ - недостаточно. И вот за эту свою сексуальную неразвитость ты и гнобишь его на страницах своего дневника, позволяя себе наглость называть его желания неопрятностью, невоздержанием и дурными наклонностями?!

Татьяна Масс (Франция)

ПРИЧИНА НЕ В ЖЕНЕ

Мне было интересно посмотреть на Толстого с другой стороны, потому что, не читав дневников Софьи Андреевны, я имею интуитивный образ ее мужа - здесь мы говорим с точки зрения женщины, как-то немного совпадающий с описанным высокомерным гуром своего времени. Притом считаю его Глыбой в нашей литературе без всякого сомнения. Наивный вопрос: уменьшился бы его талант, если бы он согрел жизнь преданной ему жены? Зачем так всех изводить своей гениальностью? (Легче любить все человечество, чем одного человека - прав Достоевский!) Самодурство и гордыня - не всегда неперемные спутники гениальности. Тот же Пушкин, весь в долгах, оплачивающий наряды Натальи Николаевны из парижских салонов...

Выходит, что если бы Софья Толстая была раскованной в сексе, то их отношения были бы принципиально другие? Я не думаю - таких людей не проймешь такими штучками. Он бы её тогда презирал за её "развратность" Короче, если хочется кого-то считать ниже себя, найдется за что презирать. Причина не в жене Толстого, а в нем самом. Его внутренние проблемы проявились не в его книгах - как мы сейчас пишем, в инете: такие все прелестницы, душки всепонимающие, а кто сегодня орал на своего ребенка, или подрезал, рискуя чужими жизнями, на своих авто?

Поэтому интересны свидетельства жены Толстого, и не надо падать в обморок оттого, что гениальный писатель был несовершенно. А кто сказал, что это одно и то же? Кто сильнее - обстоятельства или человек? Диалектический ответ: то человек, то обстоятельства. Мы не знаем, была ли жена Толстого слабой - она была по*-другому



воспитана. Может быть, ее сила проявлялась не так, как мы проявляем ее сегодня: развод, раздел счета в банке и проч.

Давайте не вырывать ее жизнь из контекста - это было бы грубо. Как сказал кто-то, текст, вырванный из контекста, приобретает другой полтекст. Было бы тоньше рассматривать ее как личность своего времени и воспитания.

Татьяна Соболева (Москва)

ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ

«– И что же Вера? Это терпит?»

– А куда ей деваться? Ведь она... жена гения!» (К/ф «Дневник его жены»)

Предупреждаю, что речь пойдет не о жене Бунина, а о жене Толстого (хотя обе хороши). Кому интересно – вот ссылка на статью, которая послужила поводом к написанию этого поста: <http://oratoria.livejournal.com/98855.html?view=467239>. Кому неинтересно – поясню: в статье говорилось о том, что Толстой тиранил свою жену, плевать хотел на семью, был никудышным хозяином и, как следствие, бездарным писателем.

В целом – ничего нового (для меня, по крайней мере). Всё те же желчь и ярость в адрес Толстого, всё те же попреки из разряда «на себя бы посмотрел!». Судя по всему, автор статьи (феминистка) полагает, что окончательно разделалась с «Глыбой» и «Матерым Человечищем». Бывает.

Не знаю, как вам, а мне за свою жизнь не раз приходилось встречаться с тоскливыми, нудными и «правильными» людьми типа Софьи Андреевны Толстой. Которые априори считают, что им всё время кто-то чего-то должен. Которые стонут и жалуются на свое непосильное бремя, но при этом ничем не захотят делиться полномочиями, мало того – намеренно взваливают на себя еще больший груз т.н. «ответственности». Ибо «ответственность» за других – есть власть над ними. Пока в кармане лежат ключи от каждого закутка графской усадьбы – всё под контролем. В том числе – и сам граф.

Да, Софья Андреевна 16 раз рожала. Да, «ношение, кормление и воспитание детей – страшный труд» (Л.Н. Толстой). Страшный? Да, потому что С.А. сделала его таким в глазах мужа. Тяжелое, но *обычное* дело для женщин той эпохи она превратила в беспросветный кошмар. И выражение на лице умершей княгини Болконской («Ах! Что вы со мной сделали?») – тоже оттуда, из этого опыта. Ибо ВО ВСЁМ априори виноват только муж: во всех мучениях токсикоза, родов и неладах с кормлением. Просто потому, что ВСЁ БЕСИТ! Но, пройдя через этот опыт один раз, графиня Толстая не остановилась. И упрек: «Я тут тебе детей нарожала, а ты!..» пройдет красной нитью через все ее дневники.

Вот и до детей добрались... Ну, если всё так тяжело, мучительно и страшно, то не лучше ли взять тайм-аут? Тем более, что секс с мужем, по словам графини, ее никак не прельщал. Ну не нравится тебе делать ЭТО – не делай! Ведь ты уже знаешь, что от ЭТОГО бывают дети, не правда ли? И не надо говорить про условности того века: кто не хотел иметь много детей, тот их и не имел. Уж в дворянских-то семьях – по-любому. У женщины, как известно, найдется 1000 и один способ, чтобы избежать выполнения «супружеского долга» – и эти способы придуманы не сейчас.

Нет! Она *хотела* быть жертвой – и не просто жертвой, а жертвой ГЕНИЯ. Потому как (что бы там ни говорилось в статье феминистки) Софья Александровна прекрасно понимала, с кем имеет дело. И знала, что отблеск *его* славы неминуемо упадет на нее, что ее имя останется в веках. Потому и ревновала мужа к его окружению – и, по сути, была в этом вопросе права: в историю попали все, кто общался с Толстым. Даже «мусорные» крестьяне.

Интересно, почему в упомянутой выше статье не говорится о том, что Толстой вынужден был сделать тайник, в котором прятал свой настоящий дневник от жены? Дневник, который она так упорно и маниакально желала переписывать – якобы для потомков. А в действительности – для ревностного контроля за каждой мыслью, каждым словом, каждым чихом и, извините, пуком мужа.

С теми же упорством и маниакальностью она вела и свой дневник: тоже для потомков. Чтоб знали и помнили о ее жертве. Только об этой жертве ее никто не просил. Это был *ее* выбор и *ее* крест, на который она всю жизнь жаловалась, но никогда, ни при каких обстоятельствах не пожелала бы с ним расстаться. Ибо только этот крест и делал графиню – в ее собственных глазах – хоть сколько-нибудь значительной.

А теперь о том, в чем виноват Толстой (ибо он тоже виноват). Он виноват в том, что женился на Сонечке, хотя при первом знакомстве счел ее туповатой и малоинтересной. Он виноват в том, что позволил ей психологически слипнуться с ним и забрать всю «матчасть» в свои руки. Он виноват в том, что его внутренняя приватная территория в конце концов оказалась малюсеньким пятачком. Он виноват в том, что его жизнь стала адом.



Елена Потапова (Калифорния)
МУЖСКОЙ МИР

Мужчины доминируют в мире, и спорить с этим - значит кривить душой. Я не говорю о современной мусульманской культуре как статистическом факторе. В нашей, нормальной, западной цивилизации женщина борется за свои права, а мужчина ими просто пользуется. Власть имущий не испытывает потребности в грозном размахивании кулаками, ему незачем.

Чему нас учат с детства? Да-да, образование - это очень важно. Но главное, дочка - это личное счастье. Представление о мире формируется и вырисовывается в нашем сердце таким, каким оно выгодно мужчине, через призму мужского восприятия. Хорошая женщина - это послушная женщина. Счастливая женщина - это мудрая женщина. Можно сколько угодно вопить о половом равенстве и правах рожиц, но сам факт наличия феминизма говорит о том, что баланса нет.

Лучше всего ситуацию описывает эпизод "Sex And the City", в котором одна из героинь устраивается на работу и в ходе интервью сталкивается с мужским шовинизмом работодателя, отказывающегося принять ее на престижную должность по половому признаку. Она ведет себя по-мужски, храбрится, гордо вылетает из офиса, доходит до лифта и, зайдя в него, горько плачет от обиды (никто не видит, можно). Естественно, в итоге ее берут и работодатель мотивирует свой выбор поощрительным "вы вели себя как мужчина". Мир строится на мужском принципе агрессии, и успешные, самоуверенные женщины должны играть по мужским правилам. Я не знаю, какая комбинация факторов из поколения в поколение склеивает цивилизацию по образу и подобию гражданина с яйцами, но факт остается фактом.

Что навело меня на мысли о феминизме? Естественно, родной муж, который на протяжении последних двух лет является для меня неизменным источником новых познаний о мире. Муж - замшелый половой шовинист и носитель двойного стандарта. Он не стремится к объективности, веря в то, что хорошее - это хорошее для него, а плохое - это то, что для него плохо. Он не разделяет моего принципа "не делай другим того, чего не хочешь по отношению к себе", но по отношению, собственно, к себе, рассчитывает только на самое лучшее. Женщины вполне устраивают его в роли декорации - и то, как лично меня угораздило самостийно взгромоздиться на трон, остается для меня загадкой. Возможно, я оказалась там потому, что ничьим присутствием в жизни не дорожу настолько, чтобы сознательно ломать себя, а возможно, и вероятнее всего, это чистая случайность. Но, усадив меня на трон, он таки меня построил! Родный супруг постоянно и, пожалуй, даже не нарочно заставляет меня играть по своим правилам, я матерюсь, но продолжаю играть.

Когда дядя Вася из деревни говорит: "Все бабы дуры", дядю Васю можно проинигнорировать. Когда то же самое говорит образованный человек с тонкой душевной организацией, при этом имея это в виду, он задевает мое самолюбие. Но тот факт, что мое самолюбие задето, говорит о том, утверждение требует защиты. Потому как назови лично меня кто-нибудь душой, меня бы это рассмешило или разозлило - в зависимости от ситуации, - но не поколебало моего представления о себе. А женщины в целом - да, по непонятным причинам находятся в психологической жопе, на втором плане, и против лома нет приема. Исключения только подтверждают правило. Но что-то здесь нечисто. Что, что, что?

Частный случай. Вот, например, когда я работала программистом, я не раз сталкивалась с тем, что изначальное отношение ко мне было несколько снисходительным (и что интересно, именно со стороны программистов, равных мне по уровню. Действительно "мудрейшие" вели себя без гонора). Я бесилась, потому что голова-то у меня, слава Богу, варит, и для того, чтобы занять равный статус, мне приходилось "наезжать" - то есть заниматься занудным битьем себя кулаками в грудь с боевыми возгласами самца орангутанга (умничать, постоянно указывать им на их ошибки и предлагать помощь в их исправлении). Стала бы я это делать вне Дарвина - да упаси Боже, мне это надо? Я бы тихо-о-о-онечко, вежливо подошла к человеку, напоровшему в коде, и извиняющимся голосом, чтобы не обидеть, сказала бы ему про ошибку. Или, например, идет дизайн чего-нить. Я говорю: "А вот, по-моему, если сделать так, как Вы предлагаете, при сочетании таких-то условий случится ерунда-с". Умные мальчики машут ручками, не страшно, говорят, мы все знаем лучше всех. Я думаю, ну, мож, я дура, ладно. И когда через пару месяцев ерунда все же происходит как раз по этому сценарию и все начинают носиться как сумасшедшие и искать ошибку, оказывается, что все-таки душой была не я. Вся дискриминация происходит в башке.

Это относится абсолютно ко всем людям, но у одних способность противостоять тому, кто заставляет страдать, развита больше, у других меньше. И общество имеет большое значение тоже. Если - это в крайнем случае - можно женщину камнями забить, хрен будешь права качать, жить-то хочется. А подавить можно абсолютно кого угодно - лишить человеческого лица, индивидуальности, способности сопротивляться, веры в себя. Люди-то не все из железа сделаны. А в тогдашнем обществе, когда муж - типа лучший друг, советник и господин, женщине еще сложнее было доказать свою индивидуальную ценность, чем сейчас. Современное общество тоже построено хитро - по мужским законам, и можно сколько угодно драть глотку в защиту женщин, но сам факт, что требуется драть глотку,



уже о чем-то говорит. И винить можно пятна на солнце, физическое превосходство или ход исторического развития - но чувство собственной ма-а-а-ленькой второстепенности у большинства (если не у всех) женщин в крови. Не в мозгах, нет - но в крови. Впрочем, все те ценности или потребности, которые делают женщину зависимой с молодых лет, у мужчин просыпаются, когда они стареют, - кого раньше, у кого позже (естественно, это большое обобщение).

Ирина Василькова - Наталья Воронцова-Юрьева
ОНА СТРЕМИЛАСЬ К ЛЮБВИ И ПОНИМАНИЮ

И.В.

Ну, тогда и я встряну - не столь красноречиво, но тезисно.

1. Виноватым не может быть кто-то один.

2. Нет женщин асексуальных, есть мужчины, которые не дают им эту сексуальность проявить. Как? А, например, безразличной холодностью во время процесса - что не способствует раскрепощению. К тому же тут появляются "якоря", когда процесс ассоциируется с психологическим унижением.

3. Женщина, вымотанная беременностями и младенцами, в отсутствии всяческой психологической поддержки от мужа - ни на что не способна в силу просто усталости (в основном психологической).

4. В любом учебнике по сексологии сказано, что у мужчин и женщин сексуальные потребности разные. Умный человек должен учитывать разницу. Хочешь, чтобы она учитывала твои потребности, - учитывай и ее. Например, то, что "женщина любит ушами". Если оскорблять ее (а оскорблять можно и холодным молчанием) - ничего не получится.

5. Взрослый и опытный мужик - и восемнадцатилетнее, не ведающее ни о чем дитя! Ответственность на том, кто умнее.

6. Судя по ее дневнику, она искренне стремилась к любви и взаимопониманию, он от этого - бежал.

7. Если судить с позиций христианского брака, а не только радостей секса, она права на все сто.

Н. Воронцова

"1. Виноватым не может быть кто-то один". Может и должен. Во всех своих бедах я виновата сама - только я. Больше никто. Другой предлагает - но беру (соглашаясь, принимаю, не протестую и т.п.) всегда только я сама.

"2. Нет женщин асексуальных, есть мужчины, которые не дают им эту сексуальность проявить. Как? А, например, безразличной холодностью во время процесса - что не способствует раскрепощению. К тому же тут появляются "якоря", когда процесс ассоциируется с психологическим унижением". Согласна - бывает, что не дают проявить. А то и просто уродуют психику женщины - и даже нарочно, такое тоже бывает. Тут вы правы на сто процентов. И все-таки сексуальность - если она есть - никуда не может уйти, она может сжаться, скривиться в ту или иную сторону, и больше того - она вся, целиком может уйти в творчество! И вот такая неудовлетворенная мужичиной женщина может выдавать творческие шедевры. Как и удовлетворенная тоже. Но сексуальность тем не менее

есть.

"3. Женщина, вымотанная беременностями и младенцами, в отсутствии всяческой психологической поддержки от мужа - ни на что не способна в силу просто усталости (в основном, психологической)".

Тоже согласна. Только вопрос: почему ее нет, этой поддержки? Почему у одних есть, а у других нет? И дальше

вопрос: почему есть женщины, которые, также лишённые этой самой психологической поддержки, тем не менее представляют собой не ноюще-скулящее существо, а интересную, яркую личность? Несмотря ни на что. А?

Были выходы всегда, в любое время. Вспомните "Идиот" - Аглая пошла в революционерки.

Выход есть всегда! Для тех, кто хочет найти выход. И исторические контексты, личности своего времени тут ни при чем. Не ислам все-таки. Россия. Кто сильнее - человек или обстоятельства? Есть такая поговорка в АА: не можешь изменить обстоятельства - измени свое отношение к ним. А вы полистайте ее дневник - где творчество? о чем она писала? о клистирах и температурных графиках! кто ее заставлял не думать о другом? писать в дневнике о другом? никто. "7. Если судить с позиций христианского брака, а не только радостей секса, она права на все сто". А что такое христианский брак? Союз сердец? Так это огромная внутренняя работа. И нытье не имеет к ней никакого отношения. Насильно в союз сердец не загонишь. И меньше всего к этой работе имеет отношение Софья Андреевна. Но у вас и шестой пункт интересный: "6. Судя по ее дневнику, она искренне стремилась к любви и взаимопониманию, он от этого - бежал". А вот цитаты из ее дневника: "Мне кажется, я когда-нибудь себя хвачу от ревности. Влюблён как никогда". И просто баба, толстая, белая - ужасно. Я с таким удовольствием смотрела на кинжал, ружья. Один удар - легко. Пока нет ребёнка. (С. А. Толстая "Дневник", 1862 год.) "Я сегодня видела такой неприятный сон. Пришли к нам в какой-то огромный сад наши ясенские деревенские девушки и бабы, а одеты они все как барыни. Выходит откуда-то одна за другой, последняя вышла. В черном шелковом платье. Я с ней заговорила, и такая меня злость взяла, что я откуда-то достала её ребенка и стала рвать его на клочки. И ноги, голову - все оторвала, а сама в страшном бешенстве..." (С. А. Толстая, "Дневник") Христианские чувства, ничего не скажешь.



И.В.

Наташа, если бы Вы не писали, а воспитывали кучу детей - Вы бы говорили по-другому. Каждый судит только на основании собственного жизненного опыта - разве нет? Суша теория...

Н. В.

Я пришла к выводу, что это одно и то же. Любая работа - это одно и то же. Либо есть любовь к своей работе - и тогда она пусть и тяжела (любая настоящая работа тяжела), но интересна и радостна, либо любви к своей работе нет - и тогда нытье и злоба. Это не теория. Это мой жизненный опыт. Когда-то мне было очень скучно воспитывать сына. Я его любила, а вот понимать его, чувствовать - скучно, не поговоришь ведь с маленьким про Гомера. И вот книжка Елены Макаровой меня спасла - она научила меня интересу к ребенку! Она научила меня, что интерес к ребенку - это работа, что это такая же книга, которую я пишу, только вместо букв - жизнь.

И. В.

Я тоже с Макаровой начинала. Из интереса к ребенку работу сменила на школьную. Психологическое образование получила. А чем кончилось - даже говорить не хочется. Так что, Наташа, иллюзии собственной правоты тоже рассеиваются когда-то.

Мария - «ИМХО»

Статья интересная, но слишком пристрастная. Если кратко, то я скорее с г-жой Воронцовой. Может, дело в том, что я сама как человек и откровенная, и любящая, чтобы секса было побольше

Так что, во-первых, считаю, что Соня знала, на что шла: дневник читала, о том, что выходит замуж не за чиновника или помещика, а за известного писателя - знала. Ее честно предупредили, так что нужно было не ужасаться, но выходить замуж, а задуматься

Во-вторых, конечно, человеку, которого регулярно имеют, а удовольствия от этого ему нет, плохо, но поверьте, тому, кому приходится партнера раскручивать на секс и в лучшем случае видеть при этом равнодушную или перекошенную физию партнера... Чаще слышать "голова болит" и "не сегодня, Жозефина" тоже ничуть не лучше. Понимаю, что, в отличие от современности, Соня не могла оценить себя и жениха, но Лев-то сделал что мог - дневник показал.

В-третьих, судя по статье, была Соня из породы мучениц, а я таких людей не очень-то люблю. Они умудряются набирать больше обязанностей (причем для них самих неприятных) чем все окружающие, вместе взятые, а потом показательно страдают. И попробуй начни с ними разбираться, как сделать их жизнь легче.... Ух, только чертовой эгоисткой прослыть.

К этому же пункту о том, что Соня, мол, молодец и не сломалась... ИМХО это ей (также как и Льву) не в плюс, а в минус - живут два человека и не разбегаются, а радости нет - ну и что тут хорошего? И не надо про эпоху - было полно жен, которые жили отдельной жизнью от мужей (в детях, любовниках, охоте, благотворительности, балах и т.п. - мало ли у людей интересов-то). Пример см. у Воронцовой - если не нравится переписывать вещи мужа, то зачем страдать, что переписку отняли? В ней самой противоречий достаточно.

Н.Усанова:

ТЕМА, ЗАТРОНУТАЯ В «ГЛЫБЕ И СОНЕЧКЕ»

...Глыба и Сонечка. Гений и женщина. Мучитель и жертва. Ольга Липовская рассматривает проблему противостояния стабильно с двух сторон. А корни проблемы состоят из гораздо большего количества отростков. Если стремиться докопаться до них, мы обнаружим ещё и противостояние на уровне одной личности, а не двух: Лев Толстой – Глыба.

Попробуйте взять собрание сочинений Толстого и взвалить его себе на плечи. Ну, нет под рукой собрания сочинений, так возьмите хотя бы все тома «Войны и мира». И – носите, носите. Тяжело, да? За пять минут тяжело стало. А духовный вес этих книг раз этак в сто превышает материальный. Спрашивается, каково было Льву Толстому всю жизнь таскать эту тяжесть в себе? И он, и Сонечка едва ли не всю жизнь пребывали в некомфортном состоянии беременности и родов. Он рожал произведения, она – детей. Это были одинаково несчастные люди.

В работе Липовской основным источником послужили дневники Софьи. Если бы привести цитаты из дневников Толстого, они были бы также наполнены страданиями. Разница Геня и Сонечки только в источнике страданий. Здесь позволите немного заступиться за Глыбу. Сонечка хотя бы ясно знала, от кого исходит её боль. Глыба не знал... Точнее, понимал, что от таланта, но ведь талант – вещь абстрактная, на него можно злиться, но, скажем, поругаться с ним и отвести душу нельзя: талант в гении нематериален. Не будешь же ссориться с бумажными страницами собственных книжек, на которых талант отразился... Всё равно что обижаться на зеркало. Постоянная жуткая рефлексия. Естественно, она проецировалась на Сонечку. А Сонечка была другим человеком, Толстой не находил в ней себя, да и не мог найти. Он страдал. Она страдала.



И не в том дело, что она женщина, а женщин на Руси извечно обижали. Если бы Автором «Войны и мира» была женщина, её муж страдал бы не меньше, чем страдала Сонечка (конечно, не от частых родов, но от постоянного непреодолимого несходства). Вопрос тут не гендерный, а духовный.

А вывод напрашивается следующий: человек, опутивший в себе язву таланта, должен либо нечеловеческим усилием всю жизнь держать себя в ежовых рукавицах, либо, что само по себе лучше, – сознательно остаться в изначальном полном одиночестве, не привязывать к себе никого и себя ни к кому. Одиночество – болезнь заразная, талант – врождённое отклонение от нормы, то бишь дефект...

А. Дудкин (Вологодская обл):

ОКО ЗА ОКО?

Эссе О. Липовской слишком уж предвзятое и одностороннее. Она доказывает (по-моему, успешно) на примере Льва Николаевича давно доказанное, но от этого не ставшее верным утверждение: все мужики сволочи. Ничего нового ни в аргументации, ни в характеристиках Л.Н. Напрасный труд, напрасный гнев, вызывающий лишь усмешку-ухмылку. А Софью Андреевну, конечно же, жалко. Женщина мудрая, так как смиренная. Как тысячи и тысячи русских крестьянок. Достойна и любви, и уважения, и слёз сочувствия.

Всё, что я читал о феминистках, убеждает меня только в том, что феминистки – не женщины. Мужики они. Очень умные мужики, самые умные женщины. Борются с мужским миром по-мужски. С помощью всяких там партий, политики, гражданского общества, прав человека и прочей чуши, изобретённой мужчинами. То есть по-ветхозаветному. Око за око... Со стороны (мне) всё это кажется какой-то патологией, извращением. Сейчас очень много женщин начальниц (да и в современной литературе «русские писательницы играют решающую роль»). Больше, я думаю, чем мужчин. У нас вот: директор совхоза, директор школы, глава администрации, большинство депутатов – бабы. Мужики у нас вообще не командуют! Ну и что? Что-нибудь стало – нет, не лучше – по-другому? Как считали «я начальник – ты дурак, ты начальник – я дурак», так и продолжают считать. Как раньше пользовались грубой силой в своей деятельности, так и продолжают ею пользоваться. Все эти гендерные преобразования приводят лишь к тому, что становится больше мужественных, мужеподобных женщин и безответственных, пассивных мужчин. Хотя, возможно, и наоборот: пассивность и безответственность мужчин привели к гендерным преобразованиям.

ВГЛУБЬ. КРИТИКА И ЭССЕ

Антон Чёрный

ЗАПЕЧАТАНЫ УСТА

Silentium Ильи Тюрина

Заметки, лежащие перед вами, были начаты около пяти лет назад как нечто вроде читательского дневника, путевого журнала моих блужданий по запутанным тропинкам книги Ильи Тюрин «Письмо». В ходе этого поэтического путешествия ваш покорный слуга стал замечать знакомые места, делать зарубки, даже пытался создать карту. И, в конечном счете, в дебрях тюринских ямбов и хореев, изъезженных ухабами многочисленных стиховых переносов, мне стали мерещиться меты, подсказки, оставленные самим лесничим, покинувшим свой лес ради лучших купц. Возвращаясь к книге в течение этих лет, я каждый раз дорисовывал новое ответвление в лесной дорожке, ведущей путника к одной цели-мысли: необходимости, даже неизбежности *молчания* автора-лесничего, прекратившего всяческие «насаждения» за полтора года до собственной гибели. К неизбежности увядания леса, лишенного свежей поросли.

Поскольку разные части этих заметок разделены порой значительными промежутками времени, я не избежал некоторого стилистического эклектизма, но решил оставить все в нынешнем виде единственно для сохранения живого характера их возникновения. Пусть в них ощущается время, которое «*Печальной жизни не созвучно, А только с нею неразлучно*»...

1

Я начну с любви. С нее, собственно, и собирался начать. С неоформленного автором в один цельный блок, но очевидного читателю цикла любовных стихов к Е.С.¹

О любви читать легко: вот мужчина, вот женщина, вот некие чувства в наличии меж ними. Протискиваются эмоции сквозь бумагу, и кажется, сейчас по старинке заладишь: «Идейно-художественное своеобразие этого стихотворения...». Ан нет, становится трудно...

Трудно читать о любви. Духовный эксгибиционизм поэта издревле приобретал в этой теме крайние формы: не просто дух оголен, здесь даже больше – вот пред тобою мякоть души, прикоснись. И страшно коснуться. И тянется рука.

Вот – первое наше прикосновение: стихотворение «Е.С.» от 24 мая 1996 года². Вообще же одноименных ему у Тюрин еще шесть. Так что связывание в одно целое автором даже как будто а priori предполагалось. Но мы вернемся к этому опусу:

¹ Все тексты цит. по изд.: Тюрин И.Н. Письмо: Сборник поэзии и прозы. Составители И. Медведева и Н. Тюрин. – М.: Художественная литература, 2000. – 302 с.

² С.21



*«Да будет мне позволено признать,
На дне эпохи мучимому жаждой,
Что телу твоему, Им через «ять»
Написанному, - не возникнуть дважды».*

Здесь сходу хочется признать основную нотою неповторимость любимого «фла», но более симптоматичным для автора, как это мы и узнаем в дальнейшем, является сам процесс *возникновения путем слова*. Сотворенье в подражание Иоанновому первому дню. Слово здесь предстает не только творящей силой, но выступает как духовное бытие тела во всей полноте своего библейского всевластия. Оно само своей структурой маркирует уникальное. И здесь же обнаруживается двойственность его: Слово «Им написанное» и слово человеке не подлежат сравнению. Если «Его» Слово творит, человеке лишь лепечет, создает иллюзию сотворенья. Потому и спешит автор оградиться тишиной:

*«... Смолчавшая в ответ,
Она царит, где я...»*

И здесь-то сталкиваемся мы впервые с тем, что впоследствии окончательно расстроит все мое намерение писать исключительно о любовной лирике Тюрина: с желанием его писать не столько о словах любви, сколько о их отсутствии, а тем далее о благе отсутствия слова как такового, о тщете его.

Здесь начинается долгий поход *лирического героя* (о, как я ненавижу этот термин!) в безмолвие. И в следующем же стихотворении к Е.С., «Через год»³, - новый шаг:

*«Смотри, смотри! Я сызнова простил
Себя. Но это лишь способность речи
Поверить в то, что, может, упростив
Свершившееся, - мы отыщем нечто
В грядущем...»*

Речь наводит туман на прошлое, манит, кривит чертовым зеркалом, и вот уже не кажется очевидным свершенное недавно. Слову отданы на откуп утекшие дни: только в нем они могут продлить свое бытие, пусть и в искаженной, вывернутой форме. Маска слов скрывает истинную сущность, исчезнувшую в толще времени, но во благо ли это?

Ответа не дает нам и следующее стихотворение цикла «Е.С.» от 26 ноября 1996 года⁴:

*«Как назову? Хоть по первой строке, если хочется.
Не принимай за стихи: это только прием...»*

Слово унижено его создателем до уровня жалкой игрушки, инструмента, способного творить только шум, то есть самое себя. И в следующих за этими строками иллюзия слова по отношению к жизни усиливается, оно предстает *наджизненным, бытующим* вне:

*«Стихотворение ждет. И пока оно кончится -
Кто бы мне высчитал, сколько мы лет проживем».*

Противоборство слова-прошлого, слова-сна с реальностью выходит на первый план. И здесь *внежизненность* слова горько осознается как *безжизненность*.

Молчанье становится верным Санчо Пансой влюбленного, безмолвствующего не оттого, что нечего сказать, но поскольку *незачем*. Об этом - настоящий гимн, или, словами автора, «памятник молчуну» - очередное «Е.С.» от 17 января 1997 года⁵. Не видя смысла разбирать на цитаты этот весьма важный для нас текст, приведу его полностью:

Е. С.

*Как ты чуяла тишину, исходившую из моих
Удивленных речей или бывшую вместо них!
Как могла сочетать этот слух с глухотой, с нуждой
Дирижера прервать мое соло, сказав: «Ну, что,
Так и будем молчать?» Я смолкал, и осколки слов
Возвращались на кухню. И у четырех углов
Появлялась возможность им вторить - но и они
Скоро тихли, заметив, что вновь говорят одни.
У молчания не было тем, и я думаю: как узка
Тропка для толмача - за отсутствием языка,
И какой же проспект мы оставим для семьи*

³ С.30

⁴ С.38

⁵ С.55



*Приблизительных смыслов безмолвия, для семи
Дней недели, прошедших той осенью, - чей парад
Завещал мне лишь боль, как оставленный транспарант.
Как ты трогательно ничего не хотела знать
О молчании. И я был счастлив, когда ты (знать,
Неспроста) отплывала на тесный балкон - курить,
Ибо видел, что больше не в силах тебя смирить.
Как я все же ценил твою смелость! Никто до тебя не смог
Оценить эту форму любви, не приняв комок
Безотчетного в горле - за комплексы или стыд.
Я признателен тем, что я верен тебе. Простит
Или нет мне мой разум, но и до сих пор, храня
Эту верность, я тверд - и никто не узнал меня
Так, как ты: за столом, где слова еще ни к чему
И в беседе мешается чайник, как памятник молчуну.*

Безмолвие здесь исследуется, буквально препарируется, как вещь, – прием не единичный для творчества Тюриня. Вспомнить хотя бы его «Элегию потери»⁶, кстати, созданную спустя всего три дня после вышеприведенного текста:

*«Потеря есть материя. Она
Сама предмет, поскольку вызывает
Из памяти предметы, высылая
Шкапулку существительных од дна.
Потеря сохраняет вещество
Потерянного, выдавая вместо
Лишь некий ключ – а не пустое место...»*

Тема материальности нематериального, бытия пустого места, таким образом, поднимает образ молчания на новую высоту: у отсутствующих слов нет тем, они неподвластны «толмачу», они – все слова всех языков и ни одно из них одновременно. Заключая в себе столь много, они даже могут стать особой «формой любви». Но укориной молчуну остается вопрос вопросов: достоин ли «комочек безотчетного в горле» того, чтобы быть выраженным? Ведь, обретя форму, он перестанет быть собою, обретет новое существование, не подозревая, что так и остался, в сущности, неловко высказанным «комком». Разве безжизненность лучше отсутствия жизни?

Борхес в новелле «Круги руин» описывает мага, создающего во сне усилием мысли нового человека. В конце концов фантом выходит на белый свет, а вскоре после этого маг с ужасом осознает, что он тоже лишь призрак, созданный чьей-то мыслью. Таким же видится Слово, Логос в стихах Тюриня: всесильным созданием, порожденным кем-то и порождающим призраков.

В «Е.С.» от 4 марта 1997⁷ вновь стихотворчество заменяет поэту реальную речь. «Петушки короткие крылья» поэзии дают слуху собеседницы, («не знавшему избытья»), замену словесного шума. И хотя на фоне остальных стихов этого времени данный опус едва ли выглядит зрелым, в нем есть еще одна важная мысль, дополняющая отношение поэта к слову: способность последнего умножать ложь:

*«Нас Творец не учил диалогу,
Презируя двойное вранье...»*

Шумовая иллюзия, создаваемая словесностью и помноженная на двух собеседников, только еще больше обесценивает саму себя. Ничтожество слова, по сравнению с Его Словом, здесь снова очевидно, и инерция обобщений снова уносит к мотиву безгласия и молчания как к единственному выходу для того, кто хочет сказать, имея для этого не Слово, а всего лишь слово.

2

Двухчастное стихотворение от 12-13 марта 1997 года, по первой строке именуемое «Я говорю десницей, а не ртом...»⁸, дает нам много пищи для общей картины усталости от слова, складывающейся все более с каждым продвижением вглубь тюринской книги.

*«Я говорю десницей, а не ртом,
И более молчу, чем говорю,
Поскольку в слове только обертон
Небывшего с улыбкой повторю...»*

⁶ С.56

⁷ С.78

⁸ С.79-80



«Обертон небывшего» - это новая метафора бестелесного слова, заключающего в себе лишь искаженное прошлое. Во фразе «с улыбкой» кроется еще одна особенность тюринской поэтики: осознанность выбора в пользу абсурда слова, непротivление ему. Как окажется в дальнейшем, непротivление это не будет бесконечным. В первых двух строках этого катрена выстраивается и своеобразная иерархия: реальность – письменность – речь. Выбор в пользу «десницы», как менее удаленной от бытия, здесь совершенно практический, и это подтверждает, в частности, то олимпийское спокойствие, с которым тюринский лиргерой обыкновенно декларирует собственное молчунство: «... более молчу, чем говорю». В этом ни трагедии, ни катастрофы, ни единой эмоции – лишь констатация.

Вторая часть стихотворения дает весьма витиеватое объяснение безмолвию:

*«Как часто радость и вино
Усугубляют горе наше;
Как стыдно в основанье чаши
Нам видеть вновь пустое дно,
Поскольку эта пустота
Печальной жизни не созвучна,
А только с нею неразлучна –
И запечатаны уста».*

Отсутствие предмета, потеря как вещь – все это маски молчания, объясняемого как неизбежный конец слова: «радость и вино» ведут только к «пустому дну». И логика становится кристально прозрачной: проскочить нелепую попытку высказаться, сразу признать невозможность это сделать, «запечатать уста» раньше, чем придется их открыть.

Порядком отойдя от любовной темы, мы все же не выпускаем из рук Ариаднину нить молчунства и вскоре вновь наталкиваемся на продолжение темы – гимн «деснице», озаглавленный «Паркер (мои чернила)»⁹.

Превосходство письменного слова над устным, уже затронутое в предыдущем стихотворении, здесь обретает почти демонические облики. Здесь не просто «Пальцы просятся к перу, перо к бумаге», здесь перо – проводник, волшебный помощник поэта.

*«Даст Бог дождя, даст ночи - я приму
И на себя частицу океана;
Даст горя, Паркер, - и в густую тьму
Мы вступим вместе, как в дурные страны»*

Это «Мы вступим вместе...», это очеловечивание характерно для того периода творчества Тюрина, который можно условно назвать «примиренческим»: молчание его пока ограничено уходом в письменность, в поэзию, осознаваемую чуть ли не как грех, но грех осознанный и неизбежный, избавляющий от греха устного слова. Паркер-Харон не зря берется в проводники: именно он должен сопроводить поэта «до пищикато Парки».

В этом гимне интересна не только ироничная патетика в отношении собственного пера, но и кроющаяся перед ним опаска:

*«И я, как Ив Кусто, в твои глубины
Всего на четверть обнаружил путь,
Даст Бог - я опущусь до половины».*

Мистический смысл этого опасения раскрывается в предпоследнем четверостишии, когда перо, вступив со своим хозяином «в дурные страны», все же действует отдельно от него. Несопоставление себя с собственным творчеством – еще одна ипостась «греха речи». Но маленький бесенок-Паркер принужден будет умолкнуть вслед за хозяином:

*«Ты знаешь их. Ты мне переведешь
Их крики и шипящие рассказы,
Пока и сам за мной не перейдешь
На тот язык, что за пределом фразы».*

Именно уверенность в существовании этого божественного «языка, что за пределом фразы», языка, сотворившего возлюбленное «тфлю», заставляет поэта столь настойчиво повторять максимум о тщете слова письменного, и тем паче устного.

В «Паркере» при ближайшем рассмотрении можно даже почувствовать не обозначенную явно полемику со знаменитым «Столom» Цветаевой. Ее гимн противопоставляет духовный мир – дверь, порталом в который становится стол, – миру вещей. Тюрин же мыслит этот «потусторонний мир» продолжением здешнего, его отражением, обреченным на проигрыш в достоверности.

⁹ С.82



Вообще словесные обозначения людей и предметов весьма пристально разглядываются поэтом. Инициалы, стоящие заглавием во многих его любовных стихах (здесь мы снова возвращаемся на потерянную было дорожку) даже сами становятся персонажем – в стихотворении «Е.С.» от 24 апреля 1997 года¹⁰:

*«Я берусь за бумагу и ставлю две буквы, которым
Стаклько горя принес, что они перевесят язык...»*

Снова уста запечатаны, имя сокрыто, дабы не попасть ему в «обертон небывшего», и только две буквы отвечают за все. Эта экономность в именах связана с уникальностью предмета описания (снова возвращаемся к «Телу твоему, Им через «ять»// Написанному, - не возникнуть дважды»). Слово – лишь обозначение зыбкой материи, меняющейся каждую секунду, его кривое отражение. Вещество здесь проходит через горнило семиотического треугольника, базовой логической конструкции, включающей в себя три компонента – денотат, концепт и имя:



Здесь «денотат» – обозначаемая материя. «Концепт» – отражение материи в сознании говорящего. «Имя» же – и есть слово, отражение отражения, испорченный телефон, гулким эхом доносящий до слушателя-читателя образ утраченного денотата. Лаконизм в назывании, несмотря на всю свою неизобразительность, призван смягчить, свести к минимуму возможные искажения концепта, возникающие при его передаче.

Невозможность передать денотат лежит и в основе рассуждений Тюринга о «правде» в стихотворении «Как будто правда создает стихи!...» от 10 мая 1997 года¹¹. Первичность вещества прямо постулируется в следующих строках:

*«Вот правда: два стола и стул меж ними,
Да время перед девятью ночными
Часами сна - лежи и стереги
Родные тени стула, двух столов...»*

И, конечно же, не преминул автор подчеркнуть и вторичность «именного», словесного уровня:

*«И ничего от этого (ни даже
Бездушия) в квадрате новых слов».*

В слове не оказывается не только вещества, но даже «ничего от этого». Таким образом, конфликт слова и бытия, выраженный в иерархии «вещь – письмо – речь», находит обострение: уже и письменному слову отказывается в приблизительной передаче смысла, а значит, в самом смысле существования.

Переходя к стихотворению «В мгновенной и чуткой отваге...»¹², мы находим еще один мотив, связанный с путем безмолвия, который окажется позднее чуть ли не решающим в творчестве Тюринга: насильственность поэзии. Слова текут будто бы без воли автора:

*«Я ощупью лезу к бумаге
И не узнаю белизны».*

Это начало путешествия лиргероя, отпускающего буквы на гибель в лоно белого листа. При этом сам процесс протекает в какой-то тяжелой бессознательности:

«И буквы выходят из пальцев...»

*«Ручной и заемный мой трепет,
Как смерть, не имеет причин».*

Если связывать картину воедино, Харон-Паркер здесь не сопровождает автора – он его ведет, как и подобает истинному перевозчику Леты. Влекомый буквами, лиргерой теряет способность сопротивляться и вновь покорно устремляется в кривозеркалье слов.

¹⁰ С.85

¹¹ С.91

¹² С.91-92



До того момента, когда И. Тюрин принял решение больше не писать стихи, нас встретят на пути еще два стихотворения к Е.С.: «Любовь»¹³ и «Е.С.»¹⁴, оба написаны примерно в одно время, 16-17 и 18 июня 1997 года, и разрабатывают чисто любовные темы, не касаясь интересующего нас предмета.

3

На этом месте – небольшая остановка. Собственно разрешением конфликта со словом станут два последних стихотворения Ильи Тюриня: «Если кто по дружбе спросит...» и «Финал». Однако прежде чем перейти к этим, безусловно, знаковым для наших наблюдений текстам, хотелось бы отдельно коснуться небольшого тюринского эссе, удивительным образом встраивающегося в маршрут нашего лирического путешествия.

Этот добротный указательный столб на «пути безмолвия» – статья Тюриня «Молчание Тютчева и молчание Мандельштама»¹⁵, датируемая маем 1997 года, то есть как раз тем периодом времени, когда в его творчестве наиболее отчетливо стала выкристаллизовываться *усталость от слова*.

Статья занимает всего две с небольшим странички, но само пристальное внимание, с которым поэт отнесся к этой теме, для нас, прошедших долгий путь наблюдений за перипетиями мотива молчания и безмолвия в его творчестве, говорит о многом. Во-первых, знакомство Тюриня с «Silentium!» Тютчева и «Silentium» Мандельштама само по себе примечательно.

Во-вторых, он сопоставляет оба произведения с жаром исследователя, натолкнувшегося на излюбленную тему: «...авторы обоих опытов никогда у специалистов не стояли в одном ряду. Таким образом, ситуация, противоречащая всему, с чем приходится сталкиваться в литературе, – времени, читателю и литературоведу, уникальна. Смее утверждать, что она уникальна еще по одной причине: она моделирует историю возникновения второго стихотворения».

Мы же, со своей стороны, благодаря этой уникальной подсказке можем подставить в логический ряд «Тютчев – Мандельштам» третье звено: самого Тюриня. И обоснованность такой подстановки вовсе не кажется нам сомнительной. Напротив, мотивы, проявившиеся у него в формах завуалированных и сложных, даны обоими классиками прямо и конкретно. Это и тютчевское «Мысль изреченная – есть ложь» и «Лишь жить в себе самом умей – Есть целый мир в душе твоей»; и, конечно, более близкое Тюрину мандельштамовское:

*«Да обретут мои уста
Первоначальную немоту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!»*

Два эти стиха, хоть и разделены во времени, в трактовке Тюриня представляют собою диалог двух классиков: призыв к молчанию («Silentium!») – повелительное наклонение) и ответ на этот призыв («Silentium» – изъявительное наклонение). О временных границах диалога он говорит следующее: «...между первым опытом и вторым прошло такое время, что за этот срок автор первого успел состариться и умереть, а автор второго родиться и вырасти»¹⁶.

Поразительно, но то же самое можно сказать и о его собственном ответе Мандельштаму и Тютчеву: между вторым и третьим молчанием снова втиснулись несколько галдящих поколений. Но если, как сделал вывод Тюрин, Тютчев призывает к молчанию, а Мандельштам в ответ умолкает, то сам автор статьи решил поступить с собственным творчеством куда кардинальнее – замолчать совсем. Не писать, не плодить словеса, которым никогда не приблизиться к Слову. В словесном описании немоты он отмечает «неловкость положения (минимум дважды в истории некто вынужден говорить о молчании вслух)»¹⁷. А затем присоединяется к «дерзости Мандельштама», вкладывая в его уста предполагаемые слова: «И здесь Мандельштам почти дерзок с Тютчевым. Он говорит: «Повелительное наклонение – прежде всего знак утупенной вами секунды. Я наблюдаю молчание как участник, а вы – только как исследователь»¹⁸. Избегая «неловкости положения», Тюрин предпочитает не говорить о молчании, но участвовать в нем: молчать, не писать, не быть как поэтический субъект. Поэтому финальная фраза статьи, как мне кажется, есть не что иное как в опосредованной форме даваемый самим автором символический обет: «Мандельштам выполняет требование Тютчева молчать с пользой для себя».

4

Тютчевская тема появляется у Тюриня еще раз, и в самом неожиданном месте. Субъективность слова, невозможность передачи с его помощью реального смысла, перерождения реальности в слове становится одной из центральных и самых трагических проблем, поднимаемых пьесой «Шекспир»¹⁹. Хронологическое сопоставление также подтверждает нашу догадку: пьеса написана 1-2 июня 1997 года, то есть сразу вскоре после статьи о молчании (май того же года).

Перефразированное изречение Тютчева «Другому как понять тебя?» появляется в первых же строках монолога Актера, следующего сразу за вступительным сонетом:

¹³ С.99

¹⁴ С.100

¹⁵ С.197-199

¹⁶ С.197

¹⁷ С.198

¹⁸ С.199

¹⁹ С.118



*«Здесь много сказано. Но как прозреть
В себе мне сказанное про другого?»*

Подчеркиваем, что речь идет именно о «сказанном». То есть драматургический мимесис понимается опять же в его связи со словесной природой литературы. Далее в монологе актер говорит именно об этом: эмоция, прошедшая сквозь передачу текстом, должна быть оформлена его средствами с такой тонкостью, чтобы практически повторить оригинал, то есть денотат:

*«Допустим, сесть или закрыть глаза
В конвульсиях, войти и выйти вон –
Роль позволительная для актера,
Коль он молчать при том исправно будет.
Но если он сопроводит речами
Все это – не умрет ли за него,
Не сядет ли, не выйдет, не войдет ли
Другой, ему неведомый? И он,
Для жизни чуждой дав в аренду тело,
В ее конце не будет ли повинен,
Как дом, где преступление совершилось,
Прохожими в злодействе обвинен?»*

В «Шекспире» словесная форма, в которую облакает свои мысли и чувства сочинитель Эдви, символически убегают от своего хозяина, став добычей плагиатора Шекспира. Слова отрываются не только от реальности, но и от собственного творца.

Нужно также отметить, что «Шекспир» вполне прозрачно культурологически отсылает нас к средневековой традиции, трактовавшей лицедейство и светскую словесность как занятие греховное, почти бесовское. Это добавляет еще один штрих в складывающуюся картину осознания и бессилия автора перед «словесным грехом».

5

Наконец, можно заключить, что мы, хотя бы пунктирно, обрисовали то разноцветье мотивов молчания и тишины словес, которое присутствует не только в цикле стихотворений, посвященных Е.С., но и произведениях, оставшихся за его пределами. И теперь, обобщив вышесказанное, можем приступить к кульминационному моменту творчества наблюдаемого поэта – моменту, когда поэт умолк.

История литературы уже знает примеры, когда литератор сознательно отказывался от творчества, как, например, Артур Рембо, на определенном этапе своей жизни променявший музу на коммерцию. Должен сказать, что мотивы, которые заставляют человека добровольно отказаться от писания стихов, меня как практикующего стихотворца всегда чрезвычайно интересовали. Поэтому я утверждаю, что тот самый миг, когда Илья Тюрин поставил последнюю точку в своем стихотворении и навсегда оставил перо, – есть самый загадочный и захватывающий момент во всей его творческой судьбе.

Он ушел из жизни в августе 1999 года. Последнее стихотворение написал полутора годами раньше – 17 февраля 1998-го. Называется оно вполне прозрачно – «Финал»²⁰. Оно не только ставит точку в творчестве Тюриня, но и полемизирует с его же, написанным четырьмя месяцами раньше, предпоследним стихотворением «Если кто по дружбе спросит...»²¹.

Начнем мы хронологически – с предпоследнего. Основная мысль его может быть выражена тремя выдержками:

*«Если кто по дружбе спросит:
Точно ль бросил я стихи, -
Отвечайте: разве бросят
Кукарекать петухи?»*

.....

*Пусть поймут: нельзя оставить
То, что не было трудом,
И другому предоставить
То, что есть и так в другом*

.....

*Как бы ни казался скушен
Путь к родному маяку, -
Сизый гребешок послушен
Своему «кукареку».*

За самоиронией в этом опусе кроется и основной абсурд тюринского творчества: его необязательность, неценность для самого автора. Видимо, ко времени написания этого предпоследнего стихотворения внутренний

²⁰ С.109

²¹ С.108



конфликт поэта на почве осмысления роли и цели стихописания достиг своего апогея, так что творчество это стало представляться ему чем-то даже насильным, происходящим почти против его воли, против смысла.

Абстрагированность поэзии вытесняется к этому времени из жизни Ильи тягой к конкретному практическому занятию – медицине:

*«Всеведенье и нижнее белье
Взамен души глядят из-под халата».*

(«В дурном углу, под лампой золотой...», 11-13 августа 1997 г.²²)

После «Если кто по дружбе спросит...» Тюрин не писал стихов до самого февраля 1998 года. К этому времени решение прекратить писать, видимо, уже окончательно созрело, и «Финал» задумывался как красивый последний аккорд. Полагаю, нелишним будет привести его здесь полностью:

ФИНАЛ

*Семнадцать лет, как черная пластинка,
Я пред толпой кружился и звучал,
Но, вышедши живым из поединка,
Давно стихами рук не отягчал.*

*Мне дороги они как поле боя.
Теперь другие дни: в моем бору
Я за простой топор отдам любое
Из слов, что неподвластны топору.*

*Подняв десницу, я готов сейчас же
Отречься от гусиного пера.
И больше не марать бумагу в саже,
Которая была ко мне добра.*

*Я здесь один: никто не может слышать,
Как я скажу проклятому нутру,
Что выберу ему среди излишеств
Покрасочней застольную игру.*

(17 февраля 1998 года)

Тогда решение Ильи, человека с гуманитарным складом ума, поступать в медицинский вуз, отречение от стихов показалось его близким неожиданным. Однако, на мой взгляд, поступок этот был абсолютно логически вытекающим из всего его предыдущего творчества.